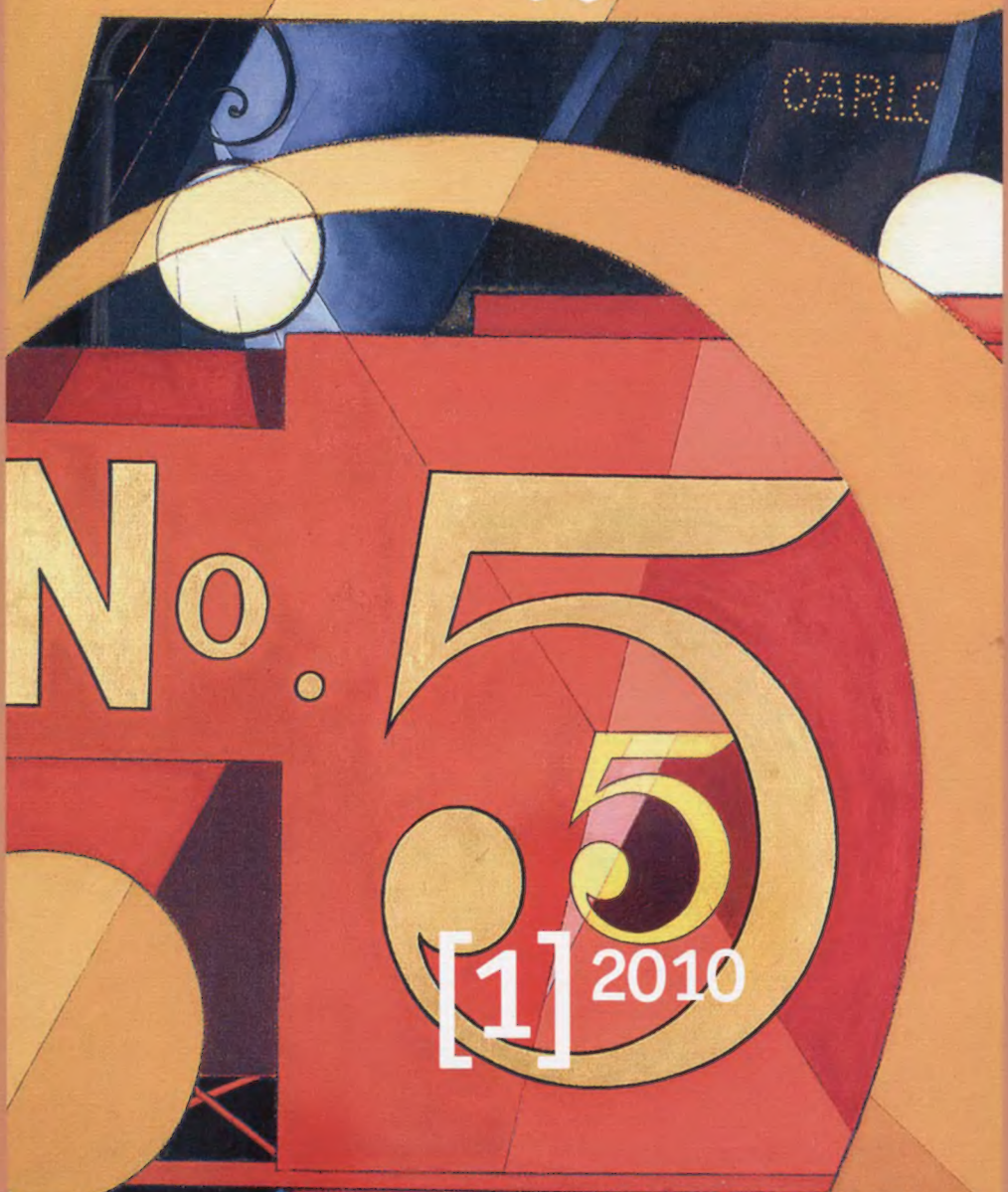
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



№ 5

[1] 2010

НАМ — ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ!

в номере: ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ
ГЕРТА МЮЛЛЕР, ВИСЛАВА ШИМБОРСКАЯ, ЭУДЖЕНИО МОНТАЛЕ,
а также ВЛАДИМИР НАБОКОВ в переписке с ЭДМУНДОМ УИЛСОНОМ

Основан в 1955 году

Нам — 55

Нам 55. Много это или мало? Человек в пятьдесят пять лет может быть молод, и не второй, а первой молодостью. А может быть стар, даже дряхл.

А литературный журнал? С одной стороны, пятьдесят пять лет – возраст – тем более в наше быстротечное, переменчивое время – солидный. С другой, что такое пятьдесят пять лет в сравнении с лондонской "Таймс", основанной в 1785 году, или с нашим американским коллегой "толстым" журналом "Харперс", которому уже перевалило за сто пятьдесят?

А как ощущаем себя мы сами? Вот и человеку, говорят, столько лет, насколько он себя чувствует. А кем чувствуем себя мы? Старыми или молодыми? И очень старыми и совсем еще молодыми.

Старыми, потому что немало успели. Пятилетним младенцем в 1960 году журнал впервые напечатал по-русски Тенесси Уильямса, "Над пропастью во ржи" Сэлинджера, стихи Элюара и Превера. Пятнадцатилетним подростком – Джона Ле Карре и Карела Чапека. Двадцатилетним юношей – Жоржи Амаду, Джеймса Болдуина, Жоржа Брассенса. Молодым человеком – Федерико Гарсиа Лорку, Эммануэля Роблеса, Йордана Радичкова. Сорокалетним мужчиной во цвете лет – Питера Акройда, "Жестяной барабан" Гюнтера Грасса, "Маятник Фуко" Умберто Эко, рассказы Борхеса и Камю. Наконец, мужчиной средних лет – "Улисса" Джойса, Кэнзабуро Оэ, Карлоса Фуэнтеса.

"Впервые по-русски". Что может быть притягательней для любителя и ценителя зарубежной литературы, чем эти два слова? Но "впервые" и "по-русски" – еще мало. Надо, чтобы впервые напечатанное "жгло сердца людей", как это было у нас с Фаулзом и Эко, Маркесом и Грассом, Кундерой и Эстерхази. А чтобы "жгло", надо, чтобы перевод читался по-русски. Чтобы не приходилось спотыкаться на каждом слове, что, увы, сегодня в выпускаемой переводной литературе бывает нередко.

Молодыми, потому что сделать предстоит не меньше сделанного. Открывать новые имена. Новые переводческие таланты. Исследовать еще неисследованные литературные континенты, которым посвящены наши специальные номера. Продолжать радовать наших верных читателей, которые, даже оказавшись в других широтах, не забывают про "Иностранку". Заполнять лакуны, которых в нашем постижении зарубежных литератур осталось еще немало. Развивать школу художественного перевода, которая от изобилия развлекательных, пустых книг и неопытных переводчиков сегодня хиреет на глазах. Наша школа многого добилась, но ведь и спрос поэтому с нее велик.

Велик спрос и с нас. Главное же, и впредь оставаться верным нашему давнему девизу: "Лучшие писатели – в лучших переводах". Будем ему верны – и журнал будет жить, невзирая на кризисы и растущую с каждым днем конкуренцию отечественных издателей.

В этом юбилейном номере читателя ждет встреча с крупнейшими прозаиками и поэтами настоящего и прошлого. С лауреатами Нобелевской премии Вислава Шимборская, Эудженио Монтале, Герта Мюллер. И с "просто" великими писателями, как наш соотечественник Владимир Набоков.

"Иностранной литературе" – 55 лет. Будем же и дальше "успевать на пятерки".

Александр Ливергант

[1]
2010

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

НАМ – 55

3 Герта Мюллер *Рассказы из сборника "Низины"*. Перевод с немецкого Марка Белорусца

12 Вислава Шимборская *Здесь*. Книга стихов. Перевод с польского Асара Эппеля

29 Георгий Господинов *Естественный роман*. Роман. Перевод с болгарского Марии Ширяевой

Эпистолярий

80 *"Хороший писатель – это в первую очередь волшебник..."* Из переписки Владимира Набокова и Эдмунда Уилсона. Эдмунд Уилсон *Визит в Итаку*. Владимир Набоков *Письмо в "Нью-Йорк таймс бук ревью"*. Составление и перевод с английского А. Ливерганта. Вступительная статья и комментарии Н. Мельникова

Из классики XX века

250 Эудженио Монтале *Четыре рассказа*. Перевод с итальянского и вступление Евгения Солоновича

Литературное наследие

265 Гюстав Флобер *Философские новеллы*. Перевод с французского и вступление Галины Модиной

Трибуна переводчика

274 *"Собачья цепь на дубе том"*. Интервью с Владимиром Бошняком. Беседует Е. Калашникова

Авторы номера

284

© "Иностранная литература", 2010

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

О. Д. Дробот
заместитель главного редактора

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская
заведующая отделом критики и публицистики

Общественный редакционный совет:

С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Г. М. Дашевский
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
А. В. Михеев
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный совет:

Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ
Милорад Павич
Умберто Эко

Редакция :

Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
А. Ю. Лешневская
Е. М. Мамардашвили
И. В. Мокин
К. Я. Старосельская
М. Н. Томашевская
Л. Г. Харлап
А. Ю. Шередега

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Фонда Первого Президента России Б. Н. Ельцина

Герта Мюллер

Нобелевская премия 2009 года

Рассказы из сборника “*Низины*”

Перевод с немецкого Марка Белорусца

Надгробная речь

На станции родственники бежали в клубах пара рядом с поездом. На каждом шагу совершали машущие движения высоко поднятые руки.

В поезде возле окна стоял молодой человек. Опущенная рама доставала ему до плеч. Лицо застыло. Перед грудью он держал букет белых растрепанных цветов.

Молодая женщина вынесла со станции унылого ребенка. У женщины был горб на спине.

Поезд шел на войну.

Я выключила телевизор.

Отец лежал в гробу посреди комнаты. На стенах висело столько фотографий, что стен не было видно.

На одной фотографии — отец вполовину ниже стула, за который держится.

© Carl Hanser Verlag München 2009
© Марк Белорусец. Перевод, 2010

Он стоит в платьице, на кривых ножках пухлые складки. У него лысая, грушевидной формы голова.

На другой фотографии отец — жених. Видна лишь половина его груди. Другая половина — букет белых растрепанных цветов в руках у матери. Их головы так близко друг от друга, что мочки ушей соприкасаются.

Еще на одной — отец стоит прямой, как свеча, перед каким-то забором. Под его высокими ботинками — снег. Снег такой белый, что отец будто стоит в пустоте. Рука поднята над головой в приветствии. На воротнике мундира — руны.

На фотографии рядом — у отца на плече мотыга, за спиной торчит к небу кукурузный стебель. На голове отца шляпа. Шляпа отбрасывает широкую тень и закрывает ему лицо.

На следующей фотографии отец сидит за рулем грузовика. В кузове коровы и быки. Каждую неделю отец возил скот на бойню в город. У отца узкое, с жесткими линиями лицо.

На всех фотографиях отец замер с прерванным жестом. На всех фотографиях отец словно не знает, как быть дальше. Но он всегда знал, как быть дальше. Оттого эти фотографии лживы. В комнате холодно от его лживых фотографий, от всех его лживых обличий. Я хочу встать со стула, но платье примерзло к дереву. Платье — черное и прозрачное. Стоит мне шевельнуться — оно шуршит. Но я встала и притронулась к лицу отца. Оно было холодным, холодней, чем разные предметы в комнате. А на улице — лето. Мухи на лету роняют личинки. Деревня протянулась вдоль широкой песчаной дороги. Дорога — коричневая и горячая. Слюда обжигает глаза.

Кладбище каменисто, на могилах большие камни. Поглядев под ноги, я увидела, что подошвы моей обуви направлены вверх. Я все время наступала на шнурки. Толстые и длинные, они лежат за задниками, концы их свились вместе.

Два пошатывающихся человечка снимают гроб с катафалка, затем опускают его на двух потертых веревках в могилу. Гроб раскачивается. Их руки и веревки всё удлиняются. Несмотря на сухую погоду, в могиле стоит вода.

— У твоего отца на совести много убитых, — сказал один из подвыпивших человечков.

Я ответила:

— Он был на войне. За двадцать пять убитых его наградили. У него много наград.

— На свекольном поле он изнасиловал женщину, — не умолкал человечек. — Вместе с еще четырьмя солдатами. Твой отец засунул ей свеклу между ногами. Когда мы уходили, у нее текла кровь. Она была русская. После мы много недель называли любое оружие свеклой.

— Стояла поздняя осень, — прибавил он, — свекольная ботва от холода почернела и свернулась.

Потом он принес тяжелый камень на гроб.

Другой подвыпивший человечек продолжил:

— Уже в новом году мы отправились в одном немецком городке в оперу. Певица визжала, точно как та русская. Друг за другом мы вышли из зала. Твой отец оставался до конца. После он много недель именовал все песни свеклой и всех женщин — тоже.

Человечек пьет шнапс. В животе у него булькает.

— У меня в животе столько шнапса, сколько грунтовой воды в здешних могилах, — сказал человечек.

Потом он принес тяжелый камень на гроб.

Возле белого креста из мрамора — кладбищенский оратор. Он подходит ко мне. Руки опущены в карманы, в петлице пиджака — бархатистая роза. Роза с кулак величиной. Оратор, приблизившись, вытащил руку из кармана. Пальцы у него стиснуты в кулак. Он пытается распрямить их и не может. От боли его взгляд становится тяжелым, он тихо плачет.

— С земляками на войне нельзя было никак поладить, — пояснил оратор. — Они не подчиняются приказам.

Потом он принес тяжелый камень на гроб.

Теперь возле меня встал толстяк — с головой, как шланг, но без лица.

— Твой отец спал с моей женой, многие годы, — сообщил толстяк, — угрожал мне, пьяный, и украл мои деньги.

Он садится на камень.

За ним является сморщенная высохшая баба. Она плюет мне под ноги и говорит: "Тьфу".

По другую сторону могилы собрались мертвецы. Я оглядываю себя и пугаюсь, потому что у меня видна грудь. Меня бьет озноб.

Их глаза направлены на меня. Глаза пустые. Лишь колючие зрачки из-под век. У мужчин — винтовки за плечами, женщины громыхают четками. Оратор теребит свою розу, обрывает кроваво-красный лепесток и ест.

Вот оратор кивнул мне. Знаю, что сейчас я должна произнести речь. Все взгляды обращены на меня.

В голову ничего не приходит. Глаза через горло лезут мне на лоб. Я подношу руку ко рту и прокусываю себе пальцы. С тыльной стороны кисти заметны следы зубов. Зубам горячо. Кровь с углов рта стекает мне на плечи.

Ветер отрывает рукав моего платья. Раздуваясь, рукав чернеет в воздухе.

Один из тех прислоняет свою палку к камню. Он прицеливается из винтовки и сбивает рукав. Рукав полон крови, когда опускается передо мной. Собрание мертвецов взрывается аплодисментами.

Рука у меня голая. Я чувствую, как она на воздухе каменеет.

Оратор подал знак. Аплодисменты смолкают.

— Мы гордимся нашим сообществом. Сноровка нас уберегла от гибели. И мы не позволим нас поносить, — заявляет он. — Не допустим клеветы и инсинуаций. Именем нашей немецкой общины ты приговариваешься к смерти.

Все направляют на меня винтовки. В моей голове — оглушительный грохот.

Я падаю, но не достигаю земли. И остаюсь в воздухе, лежа наискось над их головами. Тихо толкаю дверь.

Моя мать все убрала из комнат.

В комнате, где находился гроб с мертвецом, стоит теперь длинный стол. Это стол со скотобойни. На нем пустая белая тарелка и ваза, в ней — растрепанные белые цветы.

Мать одета в черное прозрачное платье. В руке большой нож. Она подходит к зеркалу и отрезает этим ножом свою толстую седую косу. На обеих руках она несет ее к столу, кладет одним концом в тарелку и говорит:

— Отныне я буду всю жизнь ходить в черном.

Конец косы мать поджигает. Коса протянулась через стол и горит, как бикфордов шнур. Огонь лижет ее и пожирает.

— В России они меня остригли, — жалуется она. — По их словам, это было самое легкое наказание. Я шаталась от голода. По ночам забиралась на свекольное поле. У сторожа имелось ружье. Он бы меня убил, если б заметил. Но по полю ни шороха. Стояла поздняя осень, свекольная ботва от холода почернела и свернулась.

Матери я уже не вижу. Коса еще горит. Комната наполнена дымом.

— Они тебя убили, — говорит моя мать.

Мы больше друг друга не видим, так дымно в комнате. Я слышу вблизи ее шаги. На ощупь протягиваю к ней руки.

Вдруг ее костлявая рука зарывается мне в волосы. Она трясет мою голову. Я кричу.

Открываю глаза. Комната кружится. Я лежу, замкнутая в шаре из белых растрепанных цветов.

После возникает ощущение, что бетонная коробка дома опрокидывается и содержимое вываливается прямо на землю.

Звонит будильник. Субботнее утро, полшестого.

Мужчина со спичечным коробком

КАЖДЫЙ вечер деревня сгорает. Сначала выгорают облака.

Каждое лето прихватывает с собой чей-нибудь сарай. И всегда в воскресенье; пока люди танцуют и играют в карты, сараи догорают. Сперва наползают сумерки, выгибаясь, как толстая кишка, вдоль улиц. Потом в самом низу, под соломой и сухим быльем, начинает тлеть. Но известно это лишь одному, мужчине со спичечным коробком, что несет свою ненависть за кукурузные поля, за картофельную ботву. Там, на огороде, он, щуплым подростком, таскал мешки и мотыжил свеклу. Там, в доме, он спал в хлеву. Там называла его батраком ровесница с гладкими белокурыми косами, она зимою ела апельсины и брызгала ему в лицо соком пахучей корки. Теперь он идет через кукурузу, шелестящую у него за спиной, и сам верит, будто он — ветер.

Тот толстяк на улице все еще провожает его своими маленькими жесткими глазками и садится за другой столик в буфете, но через плечо то и дело заглядывает ему в лицо.

Теперь пламя бьется во все стороны, оно выгибается, развевая свои горячие алые юбки, и вздымается ввысь к черепице на крыше. Уже и на деревенском небе проблескивает жар.

"Огонь", — кричит один, потом двое, потом все выкрикивают то же слово, и деревню на холме шатает. Отовсюду несутся люди с ведрами.

С празднований прибывает пожарная команда с красным насосом на колесах, он размахивает среди деревьев вытянутой сипящей рукой. Раскаленная громадина сарая трещит, а вокруг все сверкает и струится. Потом, разламываясь, рушатся с грохотом стропила. Цистерна нагрелась, а лица становятся красными и черными и отекают от страха.

Стою во дворе, ноги приросли к горлу. Нет у меня ничего, кроме этого сдавленного горла. И моя гортань скачет через заборы.

Огонь клещами терзает меня. Когда он подходит совсем близко, мои ноги превращаются в черное обугленное дерево.

Подожгла я, и только собаки это знают. Каждую ночь они пробегают через мой сон. Говорят, что не выдадут, но залают до смерти.

Мужчины, стремглав, бросились к нам во двор. Молоко вылили в огород и взяли ведра. Они позвали с собой моего отца, потянули за руку. "Идем, — сказали они, — ты тоже в пожарной команде, и у тебя есть нарядная фуражка и темно-красная форма. Отец подхватил своим ртом их крик и побе-

жал следом. Глазами он подхватил их ужас. Прямо перед ним бежала по булыжнику его красивая форма. На каждом шагу нарядная фуражка пожирала клок густых волос.

Горячий пот течет у меня по лбу, под веками красная волна жжет зрительный нерв.

Я во весь дух мчусь по траве. Туда, где стоит глазеющая толпа.

И останавливаюсь.

На затылке ощущаю их пронизывающие взгляды.

И все время со мной рядом мужчина со спичечным коробком.

Его локоть возле моей руки. Твердый и острый локоть.

С подошв у него отваливаются комья огородной грязи.

Никто больше не глядит на меня. Они всего лишь спины и задники, завязки передников и концы платков.

И все молчат.

Они и сегодня молчат, однако меня они отторгают.

А в воскресенье он выигрывает партию в карты. И танцует он отлично, мужчина со спичечным коробком.

Немецкий пробор и немецкие усы

ОДИН приятель вернулся недавно из близлежащей деревни. Хотел там навестить родителей. Он рассказал, что в деревне целый день смеркается, но ни дня не настает, ни ночи. Нет ни утренних сумерек, ни вечерних. У людей сумерки на лицах.

Никого он не узнавал, хоть много лет прожил в этой деревне. У всех одинаковые серые лица. Он пробирался мимо тех лиц, здоровался и не получал ответа. Наталкивался беспрерывно на стены и заборы. Порой случалось идти через дома, стоящие поперек дороги. Двери за ним, хрипя, захлопывались. Когда дверей впереди не оказывалось, он знал, что снова очутился на улице. Люди разговаривали, но их язык был ему непонятен. Он не мог даже распознать, далеко или близко эти люди проходят, отдаляются они или приближаются. Услышав постукивание палки о стену, он какого-то человека спросил о своих родителях. Тот произнес длинную фразу, в которой многие слова рифмовались, и указал палкой в пустоту.

На вывеске под электрической лампой было написано: *Парикмахерская.* Парикмахер выплеснул за дверь на улицу воду с белой пеной, из плошки. Мой приятель вошел внутрь. Старики на скамейках, сидя, спали. Когда очередь подходи-

ла, парикмахер выкрикивал имя. Крик будил некоторых, они хором повторяли имя. Вызванный просыпался, и, пока он усаживался в кресло перед зеркалом, остальные снова засыпали.

— Немецкий пробор? — спрашивал парикмахер.

Клиент молча кивал, глядя в зеркало. Старики на скамейках спали без продыху и, казалось, не дышали. Они сидели выпрямившись, как мертвецы. Слышалось лишь щелканье ножниц.

Парикмахер выплеснул за дверь на улицу воду с белой пеной. Вода пронеслась возле моего приятеля. Тот прижался спиной к дверному косяку. Парикмахер вытянул губы, вроде собирался свистнуть. Но не свистнул. Он обвел строгим взглядом лица спящих и поцокал языком. Вдруг он выкрикнул имя отца моего приятеля. Несколько человек проснулись и с широко открытыми глазами повторили это имя. Мужчина с серым лицом и черными закрученными усами встал и пошел к креслу. Старики на скамейках снова уснули.

— Немецкий пробор? — спросил парикмахер.

— Немецкий пробор и немецкие усы, — сказал мужчина.

Послышалось щелканье ножниц, закрученные концы усов упали на пол.

Мой приятель на цыпочках приблизился к креслу.

— Отец, — произнес он, но мужчина в кресле упорно глядел в зеркало.

Он прикоснулся рукой к его плечу. Мужчина еще упорней поглядел в зеркало. Широко раскрытые ножницы застыли в воздухе. Отогнутая кисть руки парикмахера повернулась, и ножницы крутанулись вокруг большого пальца. Мой приятель возвратился на свое место и снова прижался спиной к косяку. Оттопырив пальцы, парикмахер намылил мужчине в кресле щетину на кадыке. Между их лицами перед зеркалом вилась серая пыль. Парикмахер выплеснул за дверь на улицу воду с белой пеной. Мужчина проскользнул возле пронесшейся воды за дверь. Мой приятель на цыпочках вышел следом. Мужчина шел перед ним. Возможно, это был кто-то другой? Сумерки сгустились возле лица моего приятеля. Он уже не мог распознать, этот человек движется к нему или от него уходит. Потом ему стало ясно, что мужчина отдаляется, но его продвижение выглядело как нисхождение, хотя улица была ровной. Мой приятель наталкивался на множество стен и заборов. Он проходил, направляясь к станции, через множество домов, стоящих поперек улицы.

Испытывая при ходьбе сильные боли в спине, мой приятель понимал, что слишком долго прижимался к дверному

косяку. У него были сильные боли в пальцах, он понимал, что толкал слишком много дверей. Когда поезд подходил к перрону, он почувствовал сильные боли в горле и понял, что все время разговаривал сам с собой.

Не было видно стрелочника. Но его свисток звучал пронзительно и долго. Поезд на всех парах подкатил к перрону. Паровоз коротко и сипло свистнул. Между сумерками и паром возле путей стояло дерево. Дерево совсем высохло, однако к стволу все еще была прикреплена табличка. Из отъезжающего поезда приятель увидел, что на табличке больше не значится название деревни, написано только: СТАНЦИЯ.

Черный парк

Рихарду

ЗАСЕСТЬ в этой бетонной коробке и слушать, как ветер ломится в двери, сидеть и вслушиваться. Вслушиваться лишь потому, что дверь не заперта.

Думать непрерывно, что кто-то придет, потом — вечер, и поздно уже для таких гостей.

Глядеть непрерывно, как гардину выгибает, словно огромный мяч лезет в окно.

В вазах цветы, пышные букеты, точно заросли, раздерганные и красивые, будто это и есть жизнь.

И мучения с той жизнью.

Увертываться от бутылок, которые с вечера здесь стоят на коврике. Двери у шкафа настежь, там лежат вещи, как в склепе. Вещи такие полые, словно нет тех, кому они принадлежат.

Осень в парке — для собак, для поздних ноябрьских свадеб в летних ресторанах на одолженные деньги. С большими огненно-алыми цветами и воткнутыми в оливки зубочистками. Невесты вокруг — в одолженных автомобилях, город набит фотографами в клетчатых кепках. За свадебными платьями — обрыв пленки.

Голубоглазая сморщенная девочка, куда ж ты ранним утром по асфальту без конца и края? Годами напролет — и всё через черный парк.

Когда ты сказала, что придет лето, не про лето ты подумала. Что ж, теперь ты говоришь про осень, будто этот город не из камня, будто хоть один лист на нем увял.

Тень на волосах у твоих друзей, они глядят на твою печаль и свыкаются, примиряются с ней. Так обстоит с тобой.

Что тут поделаешь, когда о чем ни зайдет речь, все об утратах.

Чем же еще помочь, когда страх в стакане помогает против страха, а дно у бутылок видней и видней.

Когда надрываются от хохота, сгибаются пополам, ухохатываются до смерти, чем еще помочь?

А мы-то пока молоды.

А какого-то диктатора снова свергли, а мафия снова кого-то убила, и при смерти один террорист в Италии.

Ты пить не умеешь против твоего страха, девочка. Цедишь из стакана, как те женщины, у которых нет жизни, которым это барахло не годится. Не годится даже их собственное.

Нелегко тебе придется, девочка, говорят друзья.

Муть у тебя в глазах. Муторно и тошно у тебя на сердце. Как жаль тебя, девочка, как жаль.

Вислава Шимборская

Нобелевская премия 1996 года

Здесь

Книга стихов

Перевод с польского Асара Эппеля

Здесь

Не знаю как где,
но тут на Земле полно всякого.
Здесь изготовляют стулья и унынье,
ножницы, скрипки, нежность, транзисторы,
плотины, остроты, чайные чашки.

Быть может, где-то всякого куда больше,
однако по каким-то причинам там нет живописи,
кинескопов, пельменей, платочков поплакать.

А здесь не перечесть городов с окрестностями.
Какими-то можно очароваться особо,
именовать по-своему
и оберегать от недоброго.

Возможно, где-то есть похожие,
но никто не полагает их красивыми.

© by Wisława Szymborska
© Асар Эппель. Перевод, 2010

Возможно, как нигде или мало где,
у тебя тут особое туловище,
а при нем необходимые приспособления,
дабы не к своим детям добавить собственных.
Кроме того, руки, ноги и ошеломленная голова.

Неведение тут без устали трудится,
непрерывно что-то подсчитывает, измеряет,
сравнивает,
производя из этого доводы и выводы.

Знаю, знаю, о чем ты думаешь.
Ничего здесь устойчивого,
ибо от всегда до навсегда во власти стихий.
Однако заметь — стихии утомляемы
и долго порой отдыхают
до следующего раза.

Знаю, о чем думаешь еще.
Войны, войны, войны.
Но ведь и между них бывают паузы.
Смирно — люди злые.
Вольно — люди добрые.
По команде смирно сотворяются пустыри.
По команде вольно
На удивление быстро громоздятся дома
и тут же заселяются.

Житье на Земле обходится куда как дешево.
За сны, к примеру, ни гроша не платишь.
За иллюзии — только когда они утрачены.
За пользованье телом — только телом.

И словно бы этого было мало,
вертишься без билета в каруселе планет,
а заодно с ней — зайцем — в метелях галактик,
сквозь столь головокружительные времена,
что ничто на Земле не успевает дрогнуть.

Лучше приглядись хорошенько:
стол стоит, где стоял,
на столе листок, где положили,
сквозь приотворенное окно дуновение только воздуха,
в стенах никаких пугающих щелей,
сквозь которые выдуло бы тебя в никуда.

Мысли, *посещающие меня на многолюдных улицах*

Лица.
Миллиарды лиц на внешности мира.
Вроде бы каждое отличимое
от тех, какие были и будут.
Но Природа — поди ее разбери, —
утомленная, похоже, нескончаемым трудженьем,
повторяет свои давние выдумки
и придает нам облики,
когда-то уже ношенные.

Быть может, мимо прошел Архимед в джинсах,
императрица Екатерина в тряпках с распродажи,
египетский фараон с портфелем и в очках.

Вдова какого-то босоногого сапожника
из крошечной еще Варшавы,
художник из пещеры Альтамира
с внучками в зоопарк,
косматый вандал по дороге в музей,
чтобы немного повосторгаться.

Кто-то, павшие двести веков назад,
пять веков назад,
полвека назад.

Кто-то, провозимый мимо в золоченой карете,
кто-то — вагоном массового уничтожения.

Монтесума, Конфуций, Навуходоносор,
их няньки, их прачки и Семирамида,
знающая только по-английски.

Миллиарды лиц на внешности мира.
Твое, мое, чьё —
разве узнаешь?
Быть может, Природа вынуждена обманывать
и, чтобы поспеть, чтобы управиться,
наладилась ловить утонувшее
в зеркале забвения.

Идея

Посетила меня одна идея
стихотвореньица? стиха?
Ладно — говорю — оставайся, поболтаем.
Расскажи лучше подробнее о себе.
А она шепотом несколько слов на ухо.
Ты вот о чем — говорю — интересно!
Меня оно тоже давно заботит.
Но стихотворение? Нет уж, точно нет.
А она шепотом несколько слов на ухо.
Тебе кажется — отвечаю —
ты переоцениваешь мои возможности и умение.
Я даже не догадалась бы, с чего начать.
А она шепотом несколько слов на ухо.
Ошибаешься — говорю — стихи емкие и короткие
сочинять намного трудней, чем длинные.
Не мучь меня, не наседай, ничего не получится.
А она шепотом несколько слов на ухо.
Черт с тобой, попытаюсь, раз настаиваешь.
Но предупреждаю, что́ будет.
Напишу, порву и брошу в корзину.
А она шепотом несколько слов на ухо.
Правильно — говорю — есть и другие поэты.
Кто-то наверняка сочинит лучше.
Хочешь, дам фамилии, адреса.
А она шепотом несколько слов на ухо.
Да, конечно, буду им завидовать.
Мы друг другу завидуем, даже если стихи слабые.
Но это, пожалуй, должно... пожалуй, должно бы...
А она шепотом несколько слов на ухо.
Ну да, иметь те качества, о которых ты говоришь.
И, значит, лучше сменить тему.
Хочешь кофе?

На что она только вздохнула.

И принялась пропадать.

И пропала.

Подросток

Я — подросток?
Если бы вдруг, здесь, сейчас, она возникла передо
мной,
или мне ее, чужую и далекую,
пришлось бы приветствовать как близкого человека?

Уронить слезу, поцеловать в лобик
только потому,
что у нас одинаковая с ней дата рождения?

В нас столько непохожего,
разве что кости те же самые,
свод черепа, глазницы.

Ибо глаза ее словно бы больше,
ресницы длиннее, рост повыше,
а тело тщательней облечено
гладкой без изъяна кожей.

Правда, есть общие родственники и знакомые,
но в ее мире почти все живы,
а в моем из нашего круга —
почти никто.

Мы так сильно розны,
так о чем-то совсем разном думаем и говорим.
Она знает мало,
зато — упорство, достойное лучшего применения.
Я знаю куда больше —
зато сомневаясь.

Она показывает мне стихи,
записанные почерком отчетливым, аккуратным,
каким я давно уже не пишу.

Читаю ее стихи, читаю.
Ну, может, один этот,
если подсократить
и кое-что подправить.
Остальные ничего особенного не обещают.

Разговор не клеится.
На ее бедных часиках
время еще неуверенное и недорогое.
На моих — и дороже, и точнее.

На прощанье ничего не значащая улыбка
и никакой растроганности.

Разве что, когда она исчезает
и в спешке забывает шарфик.

Шарфик из чистой шерсти,
в цветную полоску,
нашей мамой
связанный для нее крючком.

Я его все еще берегу.

Нелегкое житье с памятью

Я плохая публика для своей памяти.
Она желает, чтобы я неотрывно ей внимала,
а я верчусь, откашливаюсь,
слушаю и не слушаю,
выхожу, возвращаюсь и снова выхожу.

Она хочет целиком занять мои внимание и время.
Когда я сплю, ей это удается легко.
Днем же бывает по-разному, и она досадует.

Она усердно подсовывает мне старые письма,
фотографии,
касается событий важных и неважных,
обращает мое внимание на прозеванные
обстоятельства,
заселяет их моими умершими.

В ее рассказах я всегда моложе.
Что ж, мило, только зачем все время об этом.
У каждого зеркала для меня другие сведения.

Она негодует, когда я пожимаю плечами.
Тотчас мстительно вспоминает все мои просчеты,
тяжкие, а потому легко забытые.
Глядит мне в глаза, ждет, что́ я на это.
В конце концов утешает, мол, могло быть и хуже.

Хочет, чтобы я жила теперь для нее и с ней.
Лучше всего в темной запертой комнате,
а у меня по-прежнему в планах насущное солнце,
актуальные облака, наскоро дороги.

Иногда ее общество мне надоедает.
Я предлагаю расстаться. Отныне и навсегда.
Тогда она понимающе усмехается,
зная, что это приговор и мне.

Микрокосмос

Когда впервые глянули в микроскоп,
повеяло жутью и все еще веет.
Жизнь в размерах своих и обликах
и без того представлялась безумной.
То есть сотворялись, конечно, мелкие созданьица,
всякие там насекомые, мошки,
но невооруженному нашему глазу
для обозрения доступные.

А тут вдруг под стеклышком
чрезмерно вовсе другие,
причем столь никакие,
что занимаемое ими пространство
только из жалости можно наречь местом.

Стеклышко их даже не прижимает,
без помехи двоятся под ним и троятся
беспрепятственно и как попало.

Сказать, что их много, — мало сказать.
Чем сильней микроскоп,
тем поспешней и подробней многократны.

У них даже нет нормальных внутренностей.
Они не ведают, что такое пол, детство, старость,
И толком не знают, существуют ли сами — или нет.
Но при этом распоряжаются нашей жизнью и смертью.

Некоторые замирают в мгновенной неподвижности,
хотя неизвестно, что́ для них мгновенье.
Если они столь мелкие,
может быть, и существование их
сообразно измельчено.

Пылинку на ветре вселенной
с ними сравнить — метеор,
отпечаток пальца — обширнейший лабиринт,
где они могут скапливаться
на свои глухие парады,
слепые свои илиады и упанишады.

Меня давно тянуло о них написать,
но это нелегкая,
всегда откладываемая тема,
достойная, пожалуй, стихотворца получше
и больше, чем я, потрясенного миром.
Но время торопит. Пишу.

Фораминиферы

Ну вот, к примеру, скажем, эти ракушки.
Жили здесь, поскольку были, а были, поскольку жили.
Как смогли, поскольку смогли, и как умудрились.
Во множественном числе, ибо во множестве,
хотя каждая по отдельности,
в собственной, поскольку в собственной,
известняковой скорлупе.
Слоями, поскольку слоями
время их потом изобразило,
не вдаваясь в подробности,
ибо в подробностях состраданье.
И вот передо мной
два образа в одном:
убогое кладбище
вечных отдохновений
или
изумляющие, вынырнувшие из моря,
лазурного моря, белые скалы,
скалы, которые тут, поскольку тут.

Перед путешествием

О нем говорят: пространство.
Определять его одним словом легко,
куда трудней не одним.

Пустое и наполненное сразу всем?
Плотно замкнутое, хотя и распахнутое,
ибо ничто
покинуть его не может?
Безгранично раздутое?
Ибо если оно имеет край,
с чем, черт побери, граничит?

Ну хорошо, хорошо. А теперь усни.
Сейчас ночь, завтра неотложные дела,
как раз по тобой обусловленной мерке:
касание предметов, какие поблизости,

бросание взглядов на определенное расстояние,
слушание голосов, доступных уху.

А еще путешествие из пункта А в пункт Б.
Старт 12.40 по местному времени
и перелет над клубками здешней облачности
неотчетливой полоской неба,
бесконечно какой-то.

Развод

Для детей первый в жизни конец света.
Для кота новый хозяин.
Для пса новая хозяйка.
Для мебели лестница, грохот, повозка и перевозка.
Для стен пустые квадраты от снятых картин.
Для соседей снизу тема, перерыв в скуке.
Для автомобиля лучше, если было бы два.
Для романов, поэзии — хорошо, увози, что хочешь.
Хуже с энциклопедией, аппаратурой видео
и со справочником правильного правописания,
где наверняка по поводу двух фамилий
указано, соединять ли их еще союзом "и"
или разделять уже точкой.

Совершатели покушений

Целыми днями обдумывают,
как убить, чтобы убить,
и скольких убить, чтобы стольких убить.
Кроме того, с аппетитом поедают съестное,
молятся, моют ноги, кормят птиц,
почесывая подмышки, звонят по телефону,
унимают кровь, уколовши палец,
если они женщины, покупают прокладки,
тени для век, растения для вазонов,
нет-нет, будучи в настроении, возьмут и пошутят,
достанут из холодильника цитрусовые соки,
вечером глядят на луну и звезды,
оснащают уши наушниками с тихой музыкой
и сладко засыпают, и спят до рассвета —
разве что, о чем думают, следует исполнить ночью.

Пример

Буря
сорвала ночью все листья с дерева,
кроме одного,
оставленного,
дабы на голой ветке подрагивал соло.

Этим примером
насилье нам являет,
что да —
пошутить
порою любит.

Опознание

Хорошо, что ты пришла, — говорит.
Слыхала, в четверг разбился самолет?
Так вот, по этому делу
приезжали за мной.
Якобы он был в списке пассажиров.
Ну и что с того, может, решил не лететь.
Дали мне какую-то таблетку, чтобы я не упала.
Потом показали кого-то не знаю кого.
Весь черный, сгоревший, кроме одной руки.
Обрывок рубашки, часы, обручальное кольцо.
Я рассвирепела, потому что это же наверняка не он.
Не устроил бы мне такого, чтобы в этаком виде.
А таких рубашек полно в магазинах.
А эти часы, обычные часы.
А наши имена на его кольце —
они же часто встречаются.
Хорошо, что ты пришла. Садись сюда, возле.
Он и правда собирался вернуться в четверг.
Но четвергов в году еще много.
Сейчас поставлю чайник, приготовлю чай.
Помою голову, а потом, что потом,
попробую очнуться ото всего этого.
Хорошо, что ты пришла, там было холодно,
а он только в этом резиновом спальном мешке,
он, то есть этот тот несчастный человек.
Сейчас поставлю четверг, вымою чаю,
ведь наши имена... они же часто встречаются.

Нечтение

К произведениям Пруста
не придают в книжной лавке пульта,
нельзя переключиться
на футбольный матч
или на викторину, где выигрыш — "вольво".

Мы живем дольше,
но менее подробно
и более короткими фразами.

Путешествуем быстрее, дальше, чаще,
хотя вместо воспоминаний привозим слайды.
Тут я с каким-то типом.
Там вроде бы мой экс.
Здесь — все безо всего,
значит где-то на пляже.

Семь томов — помилосердствуйте.
Нельзя ли это ужать, сократить
Или, лучше всего, издать в картинках.
Когда-то шел сериал под назв. "Кукла"[1],
Правда, невестка говорит, что другого кого-то на П.

Впрочем, кто он, кстати, такой?
Вроде годами сочинял в постели.
Страницу за страницей,
Ужасно неторопливо.
А мы на пятой передаче
и — чтоб не сглазить — здоровы.

Портрет по памяти

Всё вроде бы совпадает.
Форма головы, черты лица, рост, фигура.
Однако не похож.

1. Имеется в виду роман Болеслава Пруса "Кукла". (*Здесь и далее – прим. ред.*)

Может, в другом повороте?
В другом колорите?
Может, больше в профиль,
как если б за чем-то оглянулся?
Словно бы что-то держал в руках?
Свою книгу? Чужую?
Карту? Бинокль? Катушку спининга?
И пусть бы во что-то другое одет?
В сентябрьский[1] мундир? Лагерный бушлат?
Ветровку из того шкафа?
Или — как был, пробираясь к другому берегу, —
по щиколотку, по колени, по пояс, по горло
уже погрузившись? Голый?
А если дописать какой-то фон?
Скажем, еще не скошенный луг?
Камыши? Березы? Красивое хмурое небо?
Может, кого-то рядом нету?
С кем спорил? Шутил?
Играл в карты? Бражничал?
Кого-то из родных? Друзей?
Нескольких женщин? Одной?
Может, стоящий в окне?
Выходящий из подворотни?
С приблудным псом у ноги?
В такой же, как сам, толпе?
Нет, нет, всё не то.
Он должен быть один,
как подобает некоторым.
И, пожалуй, не настолько вблизи, не по-свойски?
Подальше? Еще дальше?
В глубиннейших глубинах картины?
Откуда, если бы даже звал,
голос не донесется?
А что на переднем плане?
Ох, что-нибудь,
и только при условии, что это птица,
пролетающая мимо.

1. В сентябре 1939 г. польские войска оказали сопротивление вторгшимся на территорию Польши гитлеровцам.

Сны

Вопреки знаниям и трудам геологов,
потешаясь над их магнитами, неолитами и картами —
сон в долю секунды
громоздит нам горы настолько каменные,
словно они стоят наяву.

А если горы среди инфраструктуры,
то и долины, равнины.
Без инженеров, десятников, рабочих,
без маркшейдеров, грейдеров, доставки материалов —
внезапные автострады, неожиданные мосты,
незамедлительные города, заселенные навсегда.

Без режиссеров с рупором и операторов —
толпы, осведомленные, когда нас ужасать
и в какое мгновенье исчезнуть.

Без знающих дело архитекторов,
без плотников, бетонщиков и поденщиков —
на тропинке внезапно домик, точно игрушка,
а в нем громадные залы с эхом наших шагов
и стены, сложенные из твердого воздуха.

Не только размах, но и дотошность —
скрупулезные часы, целокупная муха,
на столе скатерть, вышитая цветами,
надкушенное яблоко со следами зубов.

А мы — чего не могут цирковые фокусники,
маги, чудотворцы и гипнотизеры, —
неоперенные, умудряемся перепархивать,
в черных туннелях тьму освещаем глазами,
с жаром разговариваем на незнакомом языке,
причем не с кем попало, с умершими.

И, вдобавок, вопреки собственной свободе,
выбору сердца и симпатиям,
гонимся в любовном хотении за —
пока не зазвенит будильник.

Что на всё это авторы сонников,
толкователи предсказаний и грёзóлоги,
врачи с козетками для психоанализа? —
если что-то у них сходится,
то разве как-то ненароком
и то лишь потому,
что в сонных наших виденьях,
в помраченьях их и свеченьях,
в остраненьях и распространеньях,
недопостиженьях и преувеличеньях
иногда бывает уловляем
какой-то смысл.

В *дилижансе*

Воображенье сказало мне совершить эту поездку.
На крыше дилижанса мокнут баулы и короба.
Внутри теснота, духота, шум.
Вот барыня, толстая и взопревшая,
охотник в дыму трубки и с мертвым зайцем,
храпящий l'abbé с бутылью вина в объятьях,
кормилица с младенцем, красным от крика,
подпивший купец с неотвязной икотой,
дама, разъяренная по сказанным причинам,
еще мальчик с дудкой,
большой блохастый пес
и попугай в клетке.

И кто-то еще, ради кого я села,
едва приметный среди чужой поклажи,
но он тут есть — и звать его Юлий Словацкий.

Не слишком охочий до разговора,
он читает письмо, добыв его из помятого конверта,
письмо, вероятно, много раз уже читанное,
потому что странички по краям пообмялись.

Когда из них выпадает засушенная фиалка,
ах! вздыхаем оба и ловим ее на лету.

Пожалуй, удобный момент, чтобы сказать,
что́ я давно уже складываю в мыслях.
Простите, сударь, но это неотложно и важно.
Я появилась сюда из Будущего и знаю, как там есть.

Для Ваших стихов — всегдашний восторг и нежность,
а Вам — равное королям пребыванье на Вавеле[1].

Увы, воображение не располагает такой силой,
чтобы он меня услышал или хотя бы увидел.
Он не замечает даже, что я дергаю его за рукав.
Спокойно укладывает фиалку меж страничек,
странички в конверт, а потом в сундучок,
глядит мгновение в заплаканное окошко,
потом встает, застегивает пальто, пробирается к двери
и что же — выходит на следующей станции.

Еще пару минут я не теряю его из виду.
Идет невысокий такой со своей невеликой ношей,
опустив голову, прямиком вперед,
как кто-то, кто знает,
что здесь его не ждет никто.

Теперь уже в поле зрения только статисты.
Под зонтиками мночисленное семейство,
капрал со свистком, за ним запыхавшиеся рекруты,
подвода, полная поросенков,
и пара цуговых лошадей на перемену.

Элла на небесах

Она молилась Богу,
молила горячо,
чтобы превратил ее
в белую счастливую девочку.
А если поздно уже переменяться,
то взгляни, добрый Боже, сколько я вешу,
и отними хотя бы половину.
Но милостивый Господь сказал Нет.
Разве что положил руку ей на сердце,
заглянул в горло, погладил по голове.
А когда всё кончится — сказал —
доставишь мне удовольствие, явившись сюда,
радость ты моя черная, распевающая моя тумба.

1. Вавель — холм и архитектурный комплекс в Кракове, включающий королевский замок и кафедральный собор, где похоронены польские короли, великие поэты и политические деятели.

Вермеер

Покуда эта женщина в Риксмузеум
в написанной тишине и в средоточенье
молоко из кувшинчика в миску
каждодневно переливает,
Свет не заслуживает
конца света.

Метафизика

Было, минуло.
Было, значит минуло.
В неотвратимой всегда очередности,
ибо таковы правила проигранной этой игры.
Банальный вывод,
не стоящий стихосложения,
когда бы не факт бесспорный,
факт на веки веков,
на целый космос, какой есть и будет, —
что-то и вправду было,
покуда не миновало,
даже то,
что нынче ты ела клецки со шкварками.

Георгий Господинов

Естественный роман

Роман

Перевод с болгарского Марии Ширяевой

От редакции

Георгий Господинов — одна из ключевых фигур литературного процесса современной Болгарии. Его первый сборник стихов "Лапидариум"(1992) был удостоен национальной премии "Южная весна". Следующий лирический сборник "Черешня одного народа", вышедший в 1996 году, переиздавался трижды. Г. Господинов выступил и как соавтор двух нашумевших книг литературных мистификаций — "Болгарская хрестоматия" (1995) и "Болгарская антология" (1998). Но подлинную мировую известность писателю принес его дебютный роман "Естественный роман", выдержавший на родине уже шесть изданий. Это одна из самых читаемых в Болгарии книг, и переведена она уже на пятнадцать языков.

На русском языке стихи Георгия Господинова публиковались в периодике, в антологии современной болгарской поэзии (2007), его пьеса "D. J." (сокращение от "Дон Жуан") — в сборнике "Современная болгарская драматургия"(2004), но с его прозой в России не знакомы.

Предлагаем вниманию читателей нашего журнала этот "оригинальный и забавный роман" (мнение "Le Nouvel Observateur"), этот "анархический,

© Георги Господинов, "Естествен роман", 1999
© Мария Ширяева. Перевод, 2010
Печатается с сокращениями.

экспериментальный дебют" ("New Yorker"), роман, который швейцарский "Le Courrier" определил как "что-то вроде машины историй", а парижский "Page" как "дьявольски простой текст".

Естественная история — это не что иное, как называние видимого. Отсюда ее кажущаяся простота и та манера, которая на первый взгляд представляется наивной, настолько она проста и обусловлена очевидностью вещей.

Один Модный Француз
1966, Paris

1

В каждой секунде в этом мире — длинная вереница людей плачущих и еще одна, покороче, — людей смеющихся. Но есть и третья вереница, состоящая из людей, которые уже не плачут и не смеются. Самая печальная из всех. О ней мне и хочется поговорить.

РАССТАЕМСЯ. Во сне расставание связано только с уходом из дома и больше ни с чем. В комнате все упаковано, коробки высятся до потолка, но там, наверху, все еще просторно. Коридор и другие комнаты полны родственников — моих и Эммы. Они о чем-то шушукаются, шумят и ждут дальнейших действий с нашей стороны. Мы с Эммой стоим у окна. Нам осталось поделить лишь кучу граммофонных пластинок. Неожиданно она вынимает из пакета пластинку, ту, что сверху, и с силой запускает ее в окно. Это мне, говорит она. Окно закрыто, но пластинка проходит сквозь него, как будто разрезает воздух. Инстинктивно я достаю следующую и бросаю ее следом. Пластинка несется, как летающая тарелка, вертится вокруг своей оси, как в проигрывателе, только быстрее. Слышен ее свист. Где-то над мусорными баками она угрожающе отклоняется в сторону низко летящего грязного голубя. В первый момент кажется, что столкновения удастся избежать, но немного погодя я вижу, как острый край пластинки медленно врезается в его упитанную шею. Все происходит как в замедленном кадансе, и это усиливает ужас. Совсем отчетливо слышится несколько

коротких тонов — это пластинка перерезает шею. Острая кость голубиного зоба издает мимолетный звук, скользнув по музыкальной дорожке пластинки. Только начало мелодии. Какой-то шансон. Не помню. "Шербурские зонтики?" "O, Paris?" "Кафе с тремя голубями?" Не помню. Но музыка звучала. Отрезанная голова по инерции пролетает еще несколько метров, а тело мягко шлепается в пыль рядом с мусорными баками. Крови нет.

Во сне нет ничего лишнего. Эмма наклоняется и бросает следующую пластинку. Потом я. Она. Я. Она. С каждой следующей пластинкой повторяется то же, что и с первой. Тротуар под окном завален птичьими головами, серыми, одинаковыми, с затянутыми пленкой глазами. При каждой упавшей голове родственники за нашей спиной отрывисто аплодируют. Мица сидит на подоконнике и хищно облизывается.

Я проснулся от боли в горле. Сначала я хотел рассказать свой сон Эмме, но потом передумал. Это просто сон.

2

Апокалипсис возможен и в отдельно взятой стране.

Кресло-качалку я купил одним субботним днем в начале января 1997-го. Я только что получил зарплату, и кресло поглотило добрую ее половину. Оно было последним, еще по старым, сравнительно низким ценам. Невероятная инфляция той зимы подчеркивала безрассудность моей покупки. Кресло было плетеным, под бамбук; почти невесомое, оно казалось громоздким и неудобным для переноски. Было немыслимо потратить оставшуюся половину зарплаты на такси, я взвалил его на плечи и пустился в обратный путь. Я шел, нес кресло на спине, как кузов, и стойко переносил укоризненные взгляды прохожих, устремленные на меня из-за роскоши, которую я смог себе позволить. Кто-нибудь должен описать скудость и нищету зимы 97-го, как, впрочем, и все остальные скудости, зиму 90-го, 92-го. Помню, как передо мной на рынке какая-то пожилая женщина просила, чтобы ей отрезали половинку лимона. Были и такие, кто вечером обходил пустые лотки в поисках случайно закатившейся под них картофелины. Все чаще хорошо одетые люди преодолевали стыд и рылись в мусорных баках. Голодные псы выли поодаль или стаями нападали на припозднившихся прохожих. Когда я вывожу эти беспорядочные предложения, мне

представляются жирные газетные заголовки сбитым шрифтом.

Однажды вечером я вернулся домой — дверь была взломана. Взяли только телевизор. Непонятно почему, моя первая мысль была о кресле-качалке. Кресло было на месте. Наверное, его не смогли вынести через дверь, оно было слишком широким, я затаскивал его через окно. Весь вечер я провел в кресле. Когда Эмма вернулась, она стала звонить в полицию. В этом не было смысла. Никто уже не реагировал на сигналы об ограблении. Твою мать. Я сидел в плетеном кресле, гладил двух испуганных беспорядком кошек (и где же они прятались все это время) и курил, уязвленный в то, что осталось от моего мужского самолюбия. Я не мог защитить даже Эмму с кошками. Сел и написал рассказ.

Вламываются в квартиру одной семьи. В момент ограбления дома только хозяйка, ей около сорока, но уже видны первые признаки увядания, она смотрит какой-то сериал по телевизору. Взломщики — молодые и с виду нормальные парни — не ожидали, что в это время в доме кто-то есть, но они быстро понимают, что к чему. К тому же женщина и без того достаточно напугана. Она сама достает деньги из гардероба в спальне. Не сопротивляется, когда ее заставляют снять серьги и кольца. И обручальное тоже? И обручальное. Она снимает его с большим трудом, оно почти вросло в палец. Вдруг, когда те решают вынести телевизор — сериал между тем еще не кончился, — женщина вцепляется в него изо всех сил. Впервые повышает голос, умоляет взять что угодно взамен, но только не трогать телевизор. Остается стоять вот так, спиной к двум мужчинам, прижавшись грудью к экрану, — она уже готова на все. Оттолкнуть ее было раз плюнуть, но взломщиков на миг смущает ее внезапная реакция. Она чувствует их колебание и двусмысленно заявляет, что они могут делать с ней что угодно, лишь бы не трогали телевизор. Сделка заключена. Мы будем тебя трахать, говорит один из них. Она не шевелится. Они ловко задирают ей юбку. Никакой реакции. Ее задница все еще упругая. Первый кончает быстро. Второй возится чуть дольше. Женщина вцепилась в телевизор и стоит как вкопанная. Только однажды просит их поторопиться, потому что дети должны вернуться из школы. Это как будто окончательно парализует второго, и они вдвоем в спешке покидают квартиру. Сериал закончился. Женщина с облегчением отпускает телевизор и идет в ванную.

Интересно, как же закончатся 90-е годы — как триллер, боевик, мрачная комедия или как мыльная опера.

От редактора

Вот история этой истории.

Я как редактор столичной литературной газеты получил тетрадку. Она лежала в большом самодельном конверте, отправленном в редакцию на мое имя. На конверте не было обратного адреса, клей вытек наружу и засох. Признаюсь, я распечатал письмо с чувством легкой брезгливости, которое так и не развеялось, когда я вынул оттуда тетрадку — около восьмидесяти страниц, изрядно потрепанных, густо испещренных мелким почерком с обеих сторон. Подобные рукописные послания никогда не предвещают ничего хорошего для редактора. Их авторы, чаще всего навязчивые старикашки, появляются на горизонте по прошествии нескольких дней и спрашивают, подписан ли к печати их труд, естественно, труд всей жизни. По опыту мне было известно, что, если сразу не пресечь их настойчивость и доброжелательно сказать, что рукопись еще не читают в редакции, они будут осаждать тебя каждую неделю, как усталые воины, решившие биться до победного конца. И хотя их конец был не за горами, постукивание палочек по лестницам редакции заставляло меня материться, как грузчик.

В случае с этой тетрадкой странным было то, что нигде не было ни заглавия, ни имени автора. Я сунул ее в сумку, собираясь все же пролистать полученный текст дома. Я всегда мог вернуть тетрадь, мотивируя это тем, что рукописи мы принимаем только в печатном виде, и таким образом оттянуть решение вопроса еще на несколько месяцев. Вечером, конечно же, я о ней забыл, хотя, впрочем, в последующие дни никто так и не пришел за ответом. Я открыл ее только неделю спустя. В это трудно было поверить, но я читал один из лучших текстов за все время своей работы редактором. Какой-то человек пытался рассказать о своем неудавшемся браке, и роман (уж не знаю, почему я решил, что передо мной именно роман) кружил вокруг невозможности описать эту неудачу. Хотя... и сам роман можно было пересказать с трудом. Я сразу же поместил отрывок из него в газету и стал ждать, когда появится автор. Мною была добавлена и небольшая сноска о том, что рукопись поступила в редакцию незаконченной и это, по всей вероятности, можно объяснить рассеянностью автора, но мы ждем, что он отзовется. Прошел целый месяц с момента публикации. Ничего. Я поместил второй отрывок. И в один прекрасный день в редакцию пришла сравнительно молодая женщина. Она закатила скандал, что, мол, газета вмешивается в ее личную жизнь. Сама она, дескать, читает га-

зету лишь время от времени, но ее подруга показала ей номера, в которых я поместил те самые отрывки. Женщина утверждала, что тексты были написаны ее бывшим мужем, который решил ее скомпрометировать. И все имена в них были настоящими, за что, по мнению ее подруги, она может подать на нас в суд. После чего женщина неожиданно расплакалась, вся ее ярость испарилась, и в этот момент она даже показалось мне милой. Сбивчиво она принялась рассказывать о том, что ее муж некогда был очень дельным человеком, писал и между делом даже публиковал рассказы. Призналась, что сама она их не читала. Потом, после развода, он будто бы помешался. Сейчас же совсем опустился, стал бомжем, бродит по кварталу, частенько сидит в скверике перед ее домом, прямо под окнами, чтобы, мол, окончательно ее извести и скомпрометировать в глазах соседей.

— Вы мне его покажете?

— Нет уж, лучше сами его ищите, его всегда можно застать возле местного рынка. С креслом-качалкой. Вы его узнаете. И, прошу вас, больше этого не печатайте, я не выдержу, — неожиданно тихо сказала она и ушла.

Я узнал, что он добывает себе пропитание почти так же, как все бомжи, но не совсем. Он никогда не роется в мусорных баках, по крайней мере, никто не видел, чтобы он этим занимался, а вместо этого сдает макулатуру. Говорят, он тихий сумасшедший. Вертится около рынка, помогает по мелочам, вечером сторожит товар — за это ему дают помидоры, перец, арбузы... что есть, смотря по сезону. Вот что мне рассказали торговцы, а потом еще несколько раз переспросили, не состоит ли он в розыске. Они знали не так уж много.

Я нашел его в местном сквере. Он качался на кресле-качалке, как-то меланхолично, как будто в трансе. Свалявшиеся волосы, майка, давно полинявшая, джинсы и порвавшиеся спереди кроссовки. И какая-то худющая дворовая кошка устроилась у него на коленях. А он все так же механически ее гладил. Ему было не больше сорока-сорока пяти. Меня заранее предупредили, что он почти не разговаривает, но я все же шел к нему с хорошими новостями. Я представился. Он, так и не взглянув на меня, как будто слегка улыбнулся. У меня с собой были оба номера с его публикациями. На мой вопрос, действительно ли он является автором, он только кивнул. Я начал было говорить, насколько хорош его текст, что не мешало бы его издать, спрашивал о других его работах. Безрезультатно. Наконец я вынул все свои наличные деньги и вручил их ему, сказав, что это гонорар. Было заметно, что он не привык получать деньги. Первый раз за все время моего раз-

говора с ним он смутился, как будто вышел из забытья и посмотрел на меня.

— Ты ведь разводишься, дружище? — Это было сказано почти приятельским тоном, так, как человек обычно выражает сочувствие.

Чёрт побери, я и не думал, что это было так заметно. Во всяком случае, я выглядел получше его. Никто из моих друзей еще ничего не знал. Несколько дней назад мы с женой подали на развод.

Я, обнадеженный тем, что он заговорил, вновь спросил, как его зовут.

— Георгий Господинов.

— Но так зовут меня, — почти выкрикнул я.

— Я знаю, — он безразлично пожал плечами, — я раньше читал вашу газету. Мне известно еще семеро, которых зовут точно так же.

Больше он ничего не сказал. Я оставил его на том же месте и поспешил исчезнуть. Все складывалось, как в плохом романе из старого альманаха. Мне пришло в голову, что я мог бы позвонить его жене и спросить о его имени. Перед тем как завернуть за угол, я не выдержал и обернулся. Он сидел все в той же позе, ритмично качаясь в плетеном кресле. Как те пластиковые ладошки, которые когда-то прицепляли на заднее стекло автомобилей.

О его существовании я вспомнил только через год. Тем временем я уже нашел издательство, которое согласилось опубликовать рукопись, и мне нужно было его разыскать только затем, чтобы он подписал договор. Сомневаясь в том, что мне удастся затащить его в само издательство, я прихватил договор с собой. Стояла поздняя весна. От его жены я уже знал, как его зовут, и мне пришлось смириться с таким совпадением. Я чувствовал себя немного виноватым перед этим человеком, как будто я погнушался тем, что какой-то деградировавший тип приходится мне тезкой. Договор с издательством предусматривал приличный гонорар, который наверняка пришелся бы ему весьма кстати. Я обошел квартальный скверик, но его там не было. Стал описывать круги вокруг рынка. Спросил одного из торговцев, с которым, как мне показалось, я говорил и раньше. Он ничего не знал. В последний раз, мол, его видели в конце прошлой осени, в октябре, нет... вроде в начале ноября. С тех пор он больше не появлялся. После чего торговец махнул рукой и, будто между делом, упомянул о том, какой собачий холод стоял этой зимой, а Маятник (так они его звали), по слухам, собирался перезимовать в своем гамаке, на качалке то есть... Пока торго-

вец все это рассказывал, он продал кило помидоров, два килограмма огурцов и несколько пучков свежей петрушки, не преминув похвалить свой товар и мне. И все это — безразличным, слегка писклявым голосом. Моим первым желанием было передавить все его помидоры, один за другим, потом оборвать листик за листиком всю его свежую петрушку и, наконец, макнуть его голову в это пюре. Как же так случилось, что никто из продавцов, которые, кажется, были единственными собеседниками этого бродяги, ничего для него не сделали. Могли бы, ну я не знаю, — найти ему какую-нибудь комнатенку на зиму, или хотя бы подвал... Но моя злость постепенно проходила — неизбежно возникал вопрос: а я сам, почему же я ничего не сделал для этого несчастного. Я вышел за ворота рынка, набрел на скамейку в скверике недалеко от того места, где год назад первый и, наверное, последний раз я говорил с человеком в кресле-качалке. Ко всему прочему, по какой-то странной случайности (почему случайности всегда кажутся нам странными), мы оказались тезками. А может, сказал я себе, события развивались совсем по-другому. Может, тот человек вдруг взял себя в руки, может, публикация в газете заставила его подняться с кресла, и сейчас он где-нибудь работает, даже снова пишет, вдруг он снял квартиру, нашел себе другую женщину. Я попытался на миг представить его себе сидящим в гостиной многоэтажки, перед телевизором, в тапочках, в потрепанных, но чистых брюках, толстом свитере, в уже знакомом кресле-качалке. А на его коленях — всё ту же дворовую кошку, которую он гладил в тот день. Чем подробнее в моем сознании прорисовывалась эта картина, тем нереальнее она мне казалась. Наконец я вынул договор с издательством и сделал последнее, что я мог сделать для моего тезки. Я его подписал.

3

> Они носятся в пустоте [ибо пустота существует], и, соединяясь между собой, они производят возникновение, расторгаясь же — гибель.
>
> Демокрит (по Аристотелю)

Известно, что Флобер мечтал написать книгу ни о чем, книгу без какой-либо внешней фабулы, "которая держалась бы сама по себе, внутренней силой стиля, как земля держится в возду-

хе без всякой опоры". Пруст в какой-то мере осуществил эту мечту, обратившись к невольной памяти. Но и он не устоял против искушения фабулой. Нескромность моего желания в том, чтобы написать роман из одних только начал. Роман, который бы непрестанно начинался, что-то обещал, доходил до 17-й страницы и начинался бы сначала. Идею, или первоначало, такого романа я открыл в античной философии, вернее, у небезызвестной троицы натурфилософов — Эмпедокла, Анаксагора и Демокрита. Роман из начал должен был держаться на этих трех китах. Эмпедокл настаивал на ограниченном числе первоначал, прибавляя к основным четырем элементам (земле, воздуху, огню, воде) любовь и вражду, которые и приводили в движение стихии и заставляли их вступать в разнообразные комбинации. Наиболее причастным к моему роману оказался Анаксагор. Идея о панспермиях, или семенах вещей (позднее Аристотель назовет их гомеомериями, но это звучит куда холоднее и безличнее), могла бы стать оплодотворяющей силой задуманного романа. Романа, созданного из бесконечного множества мелких частиц, из первовеществ, то есть начал, которые вступают в неограниченные комбинации. Поскольку Анаксагор утверждал, что все конкретное состоит из мелких, подобных ему частиц, мой роман вполне мог бы быть собран только из начал. Тогда я решил опробовать эту идею на первых страницах романов, ставших уже классикой. Отдавая дань Демокриту, их можно бы было назвать атомами. Атомистический роман из носящихся в пустоте начал. Мой первый вариант звучал так:

Если вам на самом деле хочется услышать эту историю, вы, наверно, прежде всего захотите узнать, где я родился, как провел свое дурацкое детство, что делали мои родители до моего рождения, — словом, всю эту дэвид-копперфилдовскую муть. Но, по правде говоря, мне неохота в этом копаться.

Эти страницы должны показать, буду ли я героем своей собственной жизни или эта привилегия достанется кому-нибудь другому. Чтобы начать описание моей жизни с самого начала, стоит заметить, что я родился (насколько мне известно и чему я охотно верю) в одну из пятниц в двенадцать часов ночи.

Меня зовут Артур Гордон Пим.

Сквайр Трелони, доктор Ливси и другие джентльмены попросили меня написать все, что я знаю об острове сокровищ. Им хочется,

чтобы я рассказал всю историю, с самого начала до конца, не скрывая никаких подробностей, кроме географического положения острова. Указывать, где лежит этот остров, в настоящее время еще невозможно, так как и теперь там хранятся сокровища, которых мы не вывезли оттуда. И вот в нынешнем 17... году я берусь за перо и мысленно возвращаюсь к тому времени, когда у моего отца был трактир "Адмирал Бенбоу", и в этом трактире поселился старый загорелый моряк с сабельным шрамом на щеке.

Помогли бай Ганю сбросить с плеч турецкую бурку, накинули на него бельгийский плащ — и все признали, что бай Ганю теперь настоящий европеец.
— Пусть каждый из нас расскажет что-нибудь о бай Ганю.
— Давайте, — заговорили все. — Я расскажу... Постойте, я знаю больше... Нет, я: ты ничего не знаешь.
Поднялся спор. Наконец все согласились, чтобы начал Стати. И он начал: "Каждый раз, стоило мне только задуматься об индейце, я непременно вспоминал турка. И хотя это и кажется странным, тому все же есть свое объяснение".

— Eh bien, mon prince. Genes et Lucques ne sont plus que des apanges, des поместья, de la familie Buonaparte. Non, je vous previens, si vous ne me dites pas, que nous avons la querre, si vous permettez encore de pallier toutes les infamies, toutes le atrocities de cet Antichrist (ma parole, j'y crois) — je ne vous connais plus, vous n'etes plus mon amiq vous n'etes plus мой верный раб, comme vous dites. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Je vois que je vous fais peur, садитесь и рассказывайте.

На второй день Воскресения 1870 года я был зван на обед к господину Петко Рачеву, болгарскому писателю и журналисту. Он проживал в маленьком двухэтажном доме, зажатом между двумя тесными и нечистыми улочками, в одном из самых неприбранных цариградских кварталов Балкапан хана. Госпожа К., родственница господина Рачева, живущая у него, после обеда поставила перед нами две большие чаши, наполнила их нарезанными и очищенными яблоками, ко всему еще залила их черным, вкуснейшим пашалиманским вином. Мы брали дольки руками и потихоньку потягивали вино, отчего разговор наш лился весело и непринужденно.

Я родился в 1623 году в городе Йорке, куда мой отец (поначалу обосновавшийся в Гулле) переселился после того, как нажил торговлей хорошее состояние и оставил дела. Отец мой позаботился, чтобы я получил вполне сносное образование в той мере, в какой

его могли дать домашнее воспитание и бесплатная городская школа. Он прочил меня в юристы... Но у меня на уме было совсем другое...

Несколько лет назад в Гамбурге проживал торговец по имени Робинзон. У него было три сына. Старший служил во Фландрии, в английском пехотном полку, <...> дослужился до чина подполковника и был убит в сражении с испанцами. Второй сын жаждал сделаться ученым, но однажды, разгорячившись, выпил ледяной воды, разболелся и умер. Так и остался в семье один ребенок, которому дали имя Крузо.

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Все смешалось в доме Облонских.

В этот прохладный майский вечер чорбаджи[1] Марко, одетый по-домашнему, с непокрытой головой, ужинал со своими домочадцами во дворе.

Техасский олень, дремавший в тиши ночной саванны, вздрагивает, услышав топот лошадиных копыт. Но он не покидает своего зеленого ложа, даже не встает на ноги. Не ему одному принадлежат эти просторы — дикие степные лошади тоже пасутся здесь по ночам. Он только слегка поднимает голову — над высокой травой показываются его рога — и слушает.

Выделенные таким образом начала начинают жить своей собственной жизнью и соединяются силой странных межтекстуальных притяжений и отталкиваний, так, как когда-то это предрекали Эмпедокл, Анаксагор и Демокрит. Если быстро читать их одно за другим, они сольются и начнут двигаться, как кадры кинопленки, завертятся в одной общей кинетике, которая перемешивает героев и события в какую-то новую историю. Начало из Сэлинджера, гнушающееся началами в стиле "Дэвида Копперфилда", плавно перетекает именно в этот вводный пассаж из Диккенса. За ним сдержанно представляется первая фраза из "Повести о приключениях Артура Гордона Пима", чтобы раствориться в обстоятельном рассказе из "Острова сокровищ". Далее без всякой

1. В турецком языке слово "чорбаджи" (от "чорба" — похлебка) означало начальник, ведавший довольствием солдат. В Болгарии этим словом стали называть зажиточных болгарских торговцев, землевладельцев или же хозяев ремесленных мастерских. В широком смысле — богатый человек. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

видимой связи бай Ганю рассказывает историю о Винетту, а куртуазное французское описание салона из "Войны и мира" радостно перетекает в привычное повествование об одном послеобеденном угощении пашалиманским вином с яблочными дольками в доме господина Петко. И как история, начавшаяся во время этой дружеской беседы, появляются первые строки из "Робинзона на своем острове", между прочим, переведенного все тем же господином Петко. Другой перевод этой книги, который присоединяется к данному ряду, стоит особняком и воспринимается как совсем иная история. Где-то в этом месте роман решает стать семейным и объединяет семейство Облонских с семьей чорбаджи Марко, ничуть того не смущаясь (чего смущаться? — одна семья русская, другая — прорусская): так и так в обоих семействах что-то смешалось, кто-то скачет через забор — Иван Кралич или Каренина, какая разница? Даже техасский олень где-то в прерии вздрагивает от поднявшегося шума.

Мир — это одно целое, и роман — то, что соединяет все воедино. Начала приведены, комбинаций — бесчисленное множество. Каждый из героев освобожден от предопределенности своей истории. Первые главы обезглавленных романов начинают носиться в пустоте, как панспермии, и производят множество возникновений, так ведь, Анаксагор?

Или как хорошо, хотя и чересчур эмоционально, заметил Эмпедокл: "Из земли пробивалось множество разных голов, не имеющих шеи, и голые руки раскинулись в стороны, плечи отдельно витали, и безумно глаза озирались окрест, лбов над собой не имея; соединиться пытались друг с другом..." С этого момента все может развиваться по совершенно произвольному сценарию — Всадник без головы может появиться на приеме у Ростовых и начать ругаться голосом Холдена Колфилда. Может случиться все что угодно. Но в Романе начал ничего не будет описано. Он будет давать только первый толчок, и ему хватит деликатности всякий раз уходить в тень нового начала, оставив героев сочетаться по воле случая. Именно это я бы и назвал Естественным романом.

4

Мой развод с женой не был долгим и мучительным. Сама процедура длилась не более 4—5 месяцев, что считалось вполне нормальным. Мы, конечно, заплатили какую-то сумму, чтобы все прошло как можно быстрее. Я думал, мне будет легко это

пережить. Моя жена — тоже. На первом слушании, которое продолжалось не более двух минут, мы подтвердили, что наше решение "окончательно и бесповоротно". Судья оказалась грубой. У нее были волосатые руки и большая родинка слева, прямо на носу. Она назначила дату второго слушания, дав нам три месяца на то, чтобы помириться, и позвала следующих. Мы решили пройтись пешком.

— Ну вот, у тебя есть время до второго слушания, чтобы все решить, — начала разговор моя жена. Я представил себе, как на разводе присутствуют все те гости, которые были в загсе на нашей свадьбе. Все-таки эти два ритуала очень взаимосвязаны. Было бы справедливо, если тогдашние свидетели явились бы и сейчас. По крайней мере, нам удалось бы избежать неприятной необходимости информировать каждого по отдельности: что мы уже разведены, что на звонки по старому номеру я уже не отвечу и так далее. А еще мне представилось, как самые близкие родственники плачут, пока мы произносим наше "окончательное и бесповоротное да" в ответ на вопрос судьи. Но они плакали и на свадьбе.

— Выходит, что брак существует между двумя "да", — сказал я, чтобы уклониться от ее реплики.

Беременность моей жены была уже заметна.

Давайте продолжим в другой раз, а? Все равно до последнего и окончательного слушания еще есть время.

5

"Свадьбы растений".

Линней

Беременность моей жены была уже заметна. У этой невинно звучащей фразы — двойное дно, если я вам скажу, что... как бы это так выразиться... автором ее беременности был не я. Отцом был другой, а она по-прежнему была моей женой. Беременность сказывалась на ней положительно — она вносила какое-то успокоение в движения, приятно округляла ее острые плечи.

Я провожал ее домой после последнего слушания о разводе. Что делают люди в таких случаях? Несколько дней назад я снял квартиру поблизости, и Эмма предложила безумную, как мне показалось, идею сфотографироваться вместе в последний раз. Совсем как на свадьбе. Мы зашли в первое попавшееся фотоателье. Фотограф был из тех милых разговорчивых старичков, которые во что бы то ни стало хотят знать,

по какому поводу делается фотография. "Семейная?" — как будто от этого зависел выбор диафрагмы. Он слишком долго рассаживал нас, заставил меня ее обнять, потом попросил нас взяться за руки, поворачивал наши лица друг к другу, смотрел в объектив и снова шел к нам. Наконец щелкнул, завалил нас пожеланиями счастливой семейной жизни и множества детей, о чем по моей жене нетрудно было догадаться, и отпустил нас с миром.

6

Мне хочется, чтобы кто-нибудь сказал: этот роман хорош, потому что соткан из колебаний.

На следующий день он проснулся поздно. Со вчерашнего вечера все так и оставалось неприбранным. Пепельницы воняли, как только что потухшие вулканы, если вообще вулканы воняют. Вчера он напился в компании трех друзей, которые помогли ему с переездом. Весь вечер они говорили о сортирах. Он сам всякий раз возвращал разговор к этой теме. Так было лучше для всех. Никому не хотелось обсуждать произошедшее. Никто и не проронил об этом ни слова. Никогда беседа не течет так оживленно, как в случае, если приходится избегать какой-нибудь темы. Он встал с кровати, вернее, он спал не раздеваясь, прямо на матрасе, на полу. Поплелся в ванную, споткнулся о коробку с книгами и выругался. Когда же он все это разгребет и расставит по местам — коробки, мешки с книгами, кровать, которая все еще торчит в разобранном виде, допотопную печатную машинку и другие мелочи. Да, конечно, и огромное для размеров комнаты плетеное кресло-качалку, которое занимало почти половину всего пространства и придавало декадентскую утонченность всему этому хаосу. На обратном пути из ванной он предусмотрительно обошел составленные в коридоре коробки, но в комнате ударился головою о слишком низкий абажур, оставленный в наследство от прошлых жильцов. Опустился в кресло и впервые за много дней задумался. До вчерашнего дня у него было все: просторная квартира в одном из уютных районов города, телефон, две кошки, приличная работа, две-три семьи, с которыми они дружили и часто встречались. Он забыл упомянуть о жене. И хотя последние несколько месяцев он общался с ней только в присутствии гостей, она была той силой, которая содержала дом в

божеском виде. Спокойствие, в котором он привык искать единственное время для письма. Все это развалилось за несколько дней. На самом деле, разрушение началось примерно за год до этого, но они оба предпочитали его не замечать, находя в этом какое-то мазохистское удовольствие. Он встал и вынул из сумки пачку сигарет из неприкосновенного запаса. Вчера вечером они выкурили все, что было. В тридцать лет ему совершенно не хотелось начинать все сначала. Начать все сначала. Самая что ни на есть тупая фраза, которая хороша лишь для второразрядных романов и кассовых фильмов. Повернуться ко всему спиной. Встать на ноги после падения. Собрать волю в кулак и начать все заново. Ерунда.

С чего? Какое вообще начало? Надо вернуться на пять лет назад. Нет, пять — это слишком мало. Десять, пятнадцать... Все началось намного раньше.

Близился полдень. У него было несколько вариантов. Бросить все и убежать в другой город, а если получится — в другую страну. Повеситься на бачке в сортире. Собрать все оставшиеся деньги, купить пять блоков сигарет и еще столько же бутылок ракии, запереться в комнате и ждать, пока не сдохнешь. Спуститься вниз и взять бутерброд с двойным кофе.

Через четверть часа он решил начать с последнего.

7

В светлой церкви этой розы
каждый черный жук — монах.

Разве возможен роман сегодня — сегодня, когда нам отказано в трагедии. Как вообще возможна даже сама мысль о романе, когда возвышенного нет и в помине. Когда существует только повседневность — во всей своей предсказуемости или, хуже того, в непосильной таинственности выбивающих из колеи случайностей. Повседневность со всей своей бездарностью — только в ней иногда видны отблески трагического и возвышенного. В бездарности повседневности.

Когда-то давно, когда время текло медленно-медленно и мир был заколдован, я услышал или выдумал следующую мистерию. Если из конского хвоста вырвать волосок и положить его в воду на сорок дней, то он превратится в змею. По причине отсутствия коня я проделал то же самое с волосом осла. Уже не помню, смог ли я выдержать сорок дней и превратил-

ся ли волос в змею — нет, наверное, если учесть, что хвост был не конским.

Так или иначе, я открыл, что достаточно слуху об этой мистерии побыть с минуту в моей голове, как все ослиные задницы сразу начинали походить на шикарных горгон. Я читал о Горгоне в каком-то иллюстрированном издании древнегреческих мифов. И записал эту историю в тетрадку в узкую линеечку, на обложке которой стояла печать с Левским[1]. Это было первым чудом, которое мне подарила жизнь, первой мистерией повседневности. Что бы я делал, если бы ослиные задницы казались мне только ослиными задницами и больше ничем. Как это происходит сейчас, в расколдованной жизни. Впрочем, я уже давно не видал ослиной задницы.

Замечу в скобках, что еще в древности Эпикур и его ученик Лукреций настаивали на естественном самозарождении живых существ под влиянием влаги (sic) и солнечного света.

Если онтогенез на самом деле повторяет филогенез, или, другими словами, если за одну человеческую жизнь повторяются все века истории, то наше детство приходится на период где-нибудь между XVII и XVIII веками. По крайней мере, судя по любовному отношению к самому естеству, к природе. Линней, который, как Адам, дал имена растениям и ввел бинарную номенклатуру, или так называемые nomina trivialia — простые имена, озаглавил одно из своих ранних сочинений "Введением в помолвку растений" (написано в начале XVIII века, но опубликовано только в 1909 году). Вот только одно описание опыления, взятое из упомянутого манускрипта, описание, которое вполне могло принадлежать перу Андерсена:

Чашелистики цветка сами по себе не участвуют в воспроизведении, они служат лишь брачным ложем, которое Великий Творец устроил так прекрасно и украсил такой драгоценной постелью, наполнив ее благоуханиями; и все затем, чтобы жених с невестою своею могли отпраздновать в ней свадьбу с подобающей такому случаю торжественностью. Когда ложе готово, наступает самый важный момент — жених заключает в объятия свою дорогую невесту и изливает в нее свое семя...

1. Васил Левский (1837–1873) — один из крупнейших деятелей и руководителей национально-освободительного движения в Болгарии, создатель сети Тайных комитетов и мощной внутренней (т. е. действовавшей на территории порабощенной Болгарии) революционной организации. В 1873 г. был выдан туркам и повешен в Софии.

8

Sub rosa dictum.

Я жду ребенка, сказала моя жена в тот вечер. Только это — и больше ничего. Кино и литература в этих случаях предлагают два варианта развития событий:

а) мужчина удивлен, но счастлив. Он хлопает глазами, подходит и обнимает ее. Осторожно, чтобы не сделать больно ребенку. Он не знает, что ребенок — еще только горсть клеток. Иногда прикладывает ухо к ее животу, нет, ему еще рано шевелиться. Крупным планом глаза жены, глубокие и влажные, уже материнские;

б) мужчина неприятно удивлен. С самого начала романа мы чувствовали в нем что-то отталкивающее, и именно сейчас, в момент узнавания, все его лицемерие проявляется как красная полоска в тесте на беременность. Он плохо скрывает свое раздражение, он не хочет этого ребенка, он обманывал эту женщину. Крупным планом глаза женщины.

Итак, Эмма пришла домой, села напротив меня, не раздеваясь, и просто сказала: "Я жду ребенка". Уточнять "от кого" было не нужно. Уже полгода как между нами ничего не было. Она только сказала: "Я жду ребенка" — и этим уничтожила два вышеописанных варианта. Моя реакция была нулевой. Не помню, чтобы я где-нибудь читал о подобной ситуации. Раз в жизни случается узнать, что твоя жена ждет ребенка от другого, нет, раз в несколько жизней. Ты вскакиваешь, материшься, переворачиваешь стол, бьешь любимую вазу. Таким моментом надо воспользоваться. На улице сверкают молнии, раздаются раскаты грома. Приближается гроза. Мир не может остаться безразличным. Ничего подобного. Я попытался медленно, очень медленно закурить. Я не знал, что сказать. Моя жена, как будто испугавшись этого молчания, обмолвилась, что ей показали его на УЗИ — он такой маленький, всего полтора сантиметра.

Я не знаю, что сказать, — признался я себе. Удивился, что не испытываю никакой ненависти, никакой ревности. Как реагировать на немыслимое? Что делать?

Она сказала, что хочет сохранить ребенка и меня.

Еще два месяца я прожил у Эммы.

Ребенок вырос до семи-десяти сантиметров.

Каждый день мысленно я прощался с нею, с кошками, со своей комнатой.

Два месяца, за которые никто так и не принял решения.

С каждым днем твоя жена на глазах превращается в мать, а ты не можешь быть тем самым единственным отцом.

9

Его еще никто не видел, но оно существует...

Несколько лет после свадьбы мы жили в доме моей жены. Точнее, в доме ее родителей. Эмма была с ними в слишком напряженных отношениях, которые с моим появлением усугубились еще больше. Для двух семей квартира была мала. Мы ютились в одной тесной комнатушке с балконом. Единственным местом, в котором мы могли столкнуться с ее родителями, была кухня. Моя жена выжидала момент, пока родители смотрели телевизор в гостиной, и быстренько готовила ужин, после чего приносила его в нашу комнату. Другим очагом напряжения оставался туалет. У меня развилась необыкновенная чувствительность, и я стал различать все шумы в квартире, угадывая, кто и когда собирается помыться или сходить в туалет. Я допускаю, что и отец Эммы, со своей стороны, прилагал все усилия к тому, чтобы с нами не столкнуться, даже случайно, так мы умудрились прожить несколько месяцев, не видя друг друга. Существовала даже большая вероятность встретиться где-нибудь в городе (когда это случалось, мы лишь холодно кивали друг другу), чем увидеться на тех семидесяти квадратных метрах, на которых мы обитали. Не припомню, чтобы мы с ним ссорились. Да это вообще было невозможно, если учесть, что мы не разговаривали. Напряжение росло, и я до сих пор не могу объяснить почему. Для ощущения несовместимости двух людей, так же как и для ощущения прямо противоположного чувства, они лишь могли усилить напряжение. А мы старались не давать этих поводов. Четыре года спустя, когда мы с женой стали жить отдельно, это напряжение не исчезло. Именно это и было самой мистической частью нашего брака. Ее родителей уже не было (они присмотрели себе маленькую квартирку на другом конце города), мы могли спокойно расположиться в ранее недоступных зонах гостиной и кухни. Я мог сидеть, сколько захочу и когда захочу, в туалете. Несмотря на это, напряжение, как призрак, по-прежнему витало в нашем доме. У меня было такое чувство, что оно впиталось в обивку мебели, в обои, ковер. Между нами стали вспыхивать бешеные скандалы. На пустом месте, без всякой на то причины. Как будто все, что четыре года накапливалось в ма-

ленькой комнате, вырывалось наружу. Каким-то необъяснимым образом отношения между Эммой и ее отцом повторялись и между нами. Я чувствовал, что теряю рассудок. Я предложил переклеить обои, мы отнесли на помойку два старых кресла, переделали комнаты до неузнаваемости. Я ей так и не сказал, чем мотивировалась эта необычная для меня жажда деятельности, но думаю, она догадывалась. Ничего не помогло. Существовал какой-то неистребимый механизм, который действовал безотказно и все портил.

Все рассказы, которые были написаны в то время (я нашел для себя не очень известный, но хорошо финансируемый журнал, и печатал их под псевдонимом за приличный гонорар), становились все параноиднее. В одном из них, кажется, он назывался "Механизм", рассказывалось о старом печатном станке, на котором долгие годы выпускали какой-то не особенно популярный ежедневник, специализирующийся преимущественно на криминальных историях, паранормальных явлениях и тому подобных вещах. Газета обанкротилась, и станок убрали на склад. Месяц спустя газета неожиданно снова появилась на рынке. Никто не знал, кто ее выпускает. Бывшие редакторы удивились еще больше. Самым странным в этой истории было то, что ежедневник выходил с опережением в один день и описывал все то, что должно было произойти на следующий день. Самым подробнейшим образом рассказывал обо всех убийствах, катастрофах, изнасилованиях, которые только предстояли. Наконец оказалось, что за всем этим стоит тот самый печатный станок, который так долго делал ту газету, жил типографской краской и кровью на ее страницах, что даже без людей продолжал работать по какой-то ужасающей инерции.

Где скрывался механизм, который разрушал наш с Эммой брак? Я никогда себе не прощу, что в свое время мы остались жить на той квартире, но я не уверен, что если бы мы все-таки переехали, то что-нибудь бы изменилось. Мы зашли слишком далеко. Мы уже спали в разных комнатах. С утра караулили друг друга, чтобы случайно не столкнуться в туалете. Все повторялось. Я понимал, что такое состояние изводит и Эмму, но никто из нас уже не был в состоянии сделать шаг, решиться на жест. Механизм действовал.

10

Обдумываю роман из одних глаголов. Никаких объяснений, никаких описаний. Только глагол — честный, холодный, точ-

ный. Начало стоило мне трех ночей. Я выкуривал сигарету за сигаретой и в конце концов так ничего и не написал. Какой глагол должен был быть первым. Все выглядело слабым, неточным. Каждый глагол был следующим. Если остановиться на глаголе "рожать", то сразу же перед ним возникает "зачать", а еще раньше — "совокупляться", "желать" и так далее, в обратную сторону, опять до "рожать", замкнутый круг, пропади он пропадом. Глаголы на всех уровнях: движение жидкостей в организме для достижения гомеостаза, осцилляции в клеточной мембране, передача сигналов по нейронам, глаголы в альвеолах.

Я убежден, что все началось с глагола. Иначе и быть не могло. Я встал. Закурил. Подошел к окну. Вошла моя жена. Ты идешь спать? Нет.

Она пожала плечами и вышла. Я представил себе, как она стелет свою часть кровати, и обе кошки сразу же шмыгают к ней под одеяло.

11

Муха. Муха — единственное создание, которому Бог позволил пребывать в наших снах. Только она была допущена Создателем в обитель спящего. Только она может пройти сквозь абсолютно непроницаемую мембрану между двумя мирами. Это позволяет назвать ее маленьким подобием Харона, если, конечно, считать сон маленькой смертью. Чем заслужила муха эту свою способность, нам вряд ли удастся узнать. Господи, неужели она и есть твой преображенный ангел, и когда мы со свойственной нам брезгливостью гоняем ее или, Боже упаси, стираем ее в порошок, мы совершаем страшное прегрешение. (Читающий эти строки да изречет молитву и да покается на всякий случай!)

Каким путем муха умудряется проникнуть в наш сон, также установить довольно сложно. Через ноздри, уши или же через другие скрытые отверстия — этого нам знать не дано.

Но попробуйте лечь после обеда в комнате с мухами. Спокойно засыпайте, ни о чем не думая. Вы как будто перестанете слышать жужжание, но обратите внимание на некоторые детали вашего сна — на шум проезжающей колесницы, прелестный голос благоволящей вам дамы или на шелест дождя в ясный день. И вы обнаружите, что всеми этими звуками дирижирует муха.

12

Нежный молочный Бог незримо таял...

Еще никто и никогда не сумел вынести что-нибудь из своего сна. На выходе из сновидений существует некая невидимая таможня, где конфискуется абсолютно все. В детстве я впервые заметил эту тонкую границу, на которой стояло То Самое. Я так его называл, потому что для него у меня не было имени. То Самое как следует обыскивало меня на выходе из сна и разрешало мне проснуться только после того, как убеждалось, что я ничего с собой не вынес. Случались дни, вернее, ночи напролет, когда во сне мне являлась наша кондитерская. Я вставал в очередь, и, когда приходил мой черед предстать перед продавщицей, я начинал судорожно шарить по карманам, и с каждым вывернутым карманом рос мой ужас. Я опять не взял с собой денег. Они остались там, по другую сторону, в моем дне, в кармане моих штанов, которые я снял перед тем, как лечь спать. Так, от всего сна оставались только стыд и ужас. И вкус пирожных, которых мне так и не удалось попробовать.

Однажды вечером я собрал все свои сбережения, которыми я на тот момент располагал. С содержимым копилки набралась солидная сумма: два лева и двадцать-тридцать стотинок. Я положил их в карман пижамы и пустился в путь. Заснул. Кажется, То Самое забыло меня обыскать на входе. И вот, я стоял перед продавщицей, сжимая деньги в кармане. Мне хотелось ее поразить. Высыпав в блюдце целую пригоршню монеток, я мог долго ее созерцать. Не знаю уж, откуда я взял это слово, но оно означало для меня еще и флиртовать. Чем мельче монетки я клал на блюдце, тем дольше мог созерцать продавщицу. На эти деньги я накупил несколько пирожных с розочкой, бисквиты, пропитанные сиропом, две бузы[1] и дюжину молочных тянучек. Есть их прямо там мне не хотелось. Поэтому я положил их в пакет и терпеливо стал ждать пробуждения. Утром в кровати ничего не оказалось. Я полез в карман пижамы. Монетки были на месте. Во всем виновато было То Самое на таможне, которое зверски съедало самые лучшие воспоминания из моих снов. То Самое, о котором, я слышал, говорили Многоспатьничегоневидать. Не исключено, что его зовут именно так.

1. Буза/боза – особый болгарский напиток из забродившего зерна. Распространен и у других народов Азии и Европы.

13

Некий K. Knaute замораживал лягушек, и они становились настолько хрупкими, что легко разбивались, а тех из них, которые уцелели, он вносил в теплое помещение, и по истечении 7—8 часов они оттаивали и оживали совершенно.

Журнал *Природа*, 1904 г.

Когда мне было девять лет, Бог впервые открылся мне в электрической лампочке. Вот как это было. Нас повезли на экскурсию в Софию. После зоопарка мы пошли в храм Александра Невского, скорее всего, потому, что он был рядом, к тому же стал накрапывать дождь. Нам объяснили, что место, куда мы сейчас идем, — это не церковь, а храм-памятник. Из этого странного сочетания мы поняли только вторую часть, но памятники представлялись нам совершенно другими. Внутри и правда все было очень впечатляющим, мы боялись потеряться. На выходе, пока мы ждали всех остальных, в стороне от дверей "памятника" появился какой-то хромой дяденька, и мы из любопытства тут же его обступили. Учительницы еще были внутри, и старик стал рассказывать нам о Боге. Самые шустрые из нас сразу стали объяснять ему, что Бога нет, в противном случае Гагарин и другие космонавты давно бы встретили его на небе. Старик лишь покачал головой и сказал, что Бог — он как электричество: существует, но остается невидимым, течет и является нам во всем. Немного погодя вышли учительницы и оттащили нас от старика. Но его слова заставили нас серьезно задуматься. И Бог, и электричество были нам одинаково непонятны. Тем не менее я сразу выдал училке, что Бог живет в электрических лампочках. На следующий год весь наш класс снова повезли на экскурсию. На этот раз на самую большую гидроэлектростанцию, в научных целях. Нам показали огромные бобины, железные конструкции, моторы и объяснили, что отсюда подается электрический ток. Учительница отозвала меня в сторону и очень серьезным голосом спросила, по-прежнему ли я верю во все эти глупости про электричество и Бога. Я уже был большим и ответил, что нет. Но дома я всегда вспоминал об этом, когда включал лампу или плиту. Бог горел и обжигал.

Великое время эмпирики. Уже в средней школе мы откуда-то узнали, что человеческая моча обладает особыми целебными свойствами и что тот, кто ее пьет, может вылечиться от

всяких болезней. Явно слух об этом усиленно распространялся, потому что учительница по биологии (крупная светловолосая женщина, которая обычно сидела, закинув ногу на ногу, и будила первые волнения у тех, кто был за первой партой), так вот, учительница по биологии на одном из уроков ни к селу ни к городу разозлилась на этот слух и разгромила его с таким отвращением, как будто кто-то предлагал ей испробовать лекарство на себе. Это еще больше убедило нас в том, что разговоры про мочу никакая не чушь, раз даже наша учительница воспринимала их всерьез. На следующий день трое-четверо из нас уже попробовали эту жидкость (надо ли говорить, что я, как будущий естествоиспытатель, был среди них) и детально описали ее вкус: по мнению одних, она была не особенно противной, с легкой кислинкой и солоноватой как морская вода, по мнению других — как маринад для солений. Мы знали, что это из-за мочевой кислоты. Никогда потом мы не пробовали на вкус жизнь так непосредственно, как в детстве, когда все услышанное проверялось без всякой брезгливости.

14

614 Молочные железы — Многоугольники
1030 Сны — "Сопротивление" (см. Движение сопротивления)
934 Славянские языки — Сладости

Из каталога Национальной библиотеки

Что стало с той фотографией, которую мы сделали с Эммой в день развода? Забрал ли ее кто-нибудь у болтливого старикашки из ателье?

Или я сознательно сунул ее куда-нибудь в подшивку старых газет, которые бережно храню, да так, чтобы никогда ее не найти. Так же поступают с фотографиями, сделанными на похоронах, как, впрочем, и с самими мертвецами. Зарывают их как можно дальше, на самой окраине города или на специальном участке своей и без того неповоротливой памяти.

В какой-то момент у человека пропадает всякая страсть фотографироваться, или же он делает это только при определенном освещении.

У моей жены было странное хобби: коллекционировать фотографии со свадеб и похорон. Она хранила их в одном месте, что тогда казалось мне святотатством. Сейчас уже нет. Выдвигаешь ящик, и рядом с миловидными и улыбающимися фи-

зиономиями молодоженов мелькают восковые, сжатые челюсти мертвецов. Общим на этих фотографиях были цветы. Много цветов. В большинстве случаев — одни и те же: начиная с универсальных гвоздик, разных видов роз до более дешевых букетов из полевых цветов и наспех сорванных в каком-нибудь саду георгин или охапок сирени. На одной траурной фотографии на переднем плане были ясно видны несколько роскошных белых калл, или *цветов невесты*, как называла их моя бабушка. Скорбящие на фотографии напоминали гостей на свадьбе, вся странность заключалась в том, что они были в черном. Где-то на заднем плане виднелась часть деревенского оркестра. Оркестра, играющего на свадьбах и похоронах. Внимательно разглядывая снимки, я в какой-то мере догадывался, почему люди не любят хранить траурные фотографии. Объектив был беспощадным. Было видно, как там, где фотограф был замечен, скорбящие, зная, что их снимают, приняли искусственные позы и едва сдерживались, чтобы не улыбнуться.

Самым мучительным был момент раздела общих фотографий.

Вот тут наш роман только начинается. Мы где-то на втором курсе университета. Разгуливаем по улице Шипка[1] рядом с Докторским сквером[2]. Я, она и Весо, всегда втроем. Весь год наши знакомые недоумевали — кто из нас за ней ухаживает. Мы все запечатлены в какой-то странной позе, в движении. Были ли мы еще когда-нибудь так счастливы? Не помню, кто нас сфотографировал.

А тут мы отмечаем 8 декабря[3]. Я, Весо, Эмма и... Саня, с которой мы расстались несколько месяцев назад. Саня относилась к тому типу женщин, которые после расставания пытаются сблизиться с твоей новой девушкой. Вот она и приклеилась к Эмме, и та, не задумываясь, позвала ее отпраздновать с нами. На другой фотографии, сделанной, видимо, тремя-четырьмя часами позже, кто-то (может, и я) поймал момент, когда они танцуют с Эммой, прижавшись слишком плотно друг к другу. Даже слово "прижавшись" не совсем точно. Саня — обладательница огромного бюста (грудь шла впереди нее, как шутили мы тогда) и на целую голову ниже Эммы — прямо-таки вцепилась в нее. На фотографии было

1. Улица в центре Софии, прилегающая к Софийскому университету.
2. Докторский сквер — часть старого центра Софии. Своим названием он обязан "Докторскому памятнику", воздвигнутому в честь русских военных медиков, участвовавших в освободительной борьбе Болгарии.
3. 8 декабря в Болгарии отмечают День студента.

хорошо видно, как пальцы ее левой руки впились в задницу моей будущей жены. Была ли это месть, или же ее сладострастие (я всегда ее в этом подозревал) не выходило за границы одного пола? Мне стало почти страшно за Эмму. И в своем страхе я перевел на них немалое количество пленки. Не помню, чтобы после этого вечера мы когда-нибудь собирались вот так, втроем. Мне кажется, что и они вдвоем тоже.

А вот и наша свадебная серия. Эмма в вуалетке и простом облегающем платье, в котором она кажется еще выше. Я в костюме ядовито-зеленого цвета, который ко всему прочему мне широк. Обе матери плачут. Сейчас, когда наш брак себя исчерпал, их слезы выглядят уместными. Отца Эммы на фотографии нет. Его вообще не было на свадьбе. В последний момент заставили какого-то ее дядю встать рядом с матерью, чтобы она не стояла как вдова.

Все семь лет нашего брака были прилежно документированы. Бесконечные встречи с друзьями. На самом деле у нас не так много друзей, как на фотографиях.

Я откладываю еще два альбома с подобными снимками, то тут, то там мелькают новые лица, но в общих чертах компания все та же.

А вот тут, наконец, я один. На берегу Дуная, в Сремских Карловцах. Было в этом какое-то странное удовольствие — оказаться одному в незнакомом месте, гулять по улицам незнакомого города, находиться в государстве, где ты никого не знаешь и тебя никто просто не может знать. Вот здесь я в Нови-Саде, сижу в каком-то уличном кафе прямо перед городской площадью с кафедральным собором. Во всех бывших австро-венгерских государствах есть такая площадь с кафедральным собором, на другом конце которой, естественно, находится *Макдоналдс*. На площади и в кафе полно молодежи. Красивые женщины, тинэйджерки, маленькие девочки на роликах. Ты четко осознаешь, что ни с одной из женщин за соседними столиками у тебя не будет общей истории. В конечном итоге именно история тебя и привлекает. Потому что ты — чокнутый тип, который мнит себя писателем, и за всеми классными женщинами для тебя скрывается возможный сюжет. Поэтому ты проведешь этот вечер в одиночестве, и только официантки будут с тобой любезничать. Ты ведь и так постоянно заказываешь, чтобы подольше остаться в кафе. Наконец, ты пройдешься "в последний раз" по уже опустевшей площади, быстренько съешь бигмак и вернешься в немного сырой гостиничный номер. В блокноте этим вечером появится только одно предложение, которое

было написано краской из баллончика на задней стене кафедрального собора. "Опіум, живи вечно!" Вот и весь твой улов за сегодняшний вечер.

Легкой прохладой веет с реки. Вероятно, существует какая-то Дунайская Европа, государство-утопия, отличная от остальной части континента. Единое пространство, в котором вальс и салон существуют рядом с каяком и рыбачьей деревушкой. Где такты "Дунайских волн" переплетаются с синкопами "Тихого белого Дуная". Где по локальным причинам общего сентиментального характера гимназистки всегда бросаются в эту реку, а она несет утопленниц от Шварцвальда до Черного моря. Где вода — грязная, а сомы всегда крупнее плещущихся на мелководье речных корабликов.

Когда-то "Кинкс" пели:

Люди любят фотографироваться,
Чтобы увериться в том, что они когда-то жили...

15

СПИСОК УДОВОЛЬСТВИЙ 60-х
(С 0 до 2 лет)

...удовольствие плавать в утробе, первая и единственная детская комната... удовольствие описаться в свои собственные пеленки... удовольствие от теплого и мокрого... от чистого и сухого... от груди мамы... от того, что тебя держат на ручках... от того, что папа поднимает тебя над головой... удовольствие от сада перед домом и от того, что ты ростом с тюльпаны... удовольствие от удовольствий твоих родителей: Элвис Пресли, Паша Христова[1], Джина Лоллобриджида, буги-вуги, ужин в ресторане "Болгария" в Софии, сеансы в сельском кинотеатре, папиросы "Солнце" без фильтра в коробочке с крышкой, Гунди[2] (для моего отца), Апостол Карамитев[3] (для моей мамы), первый граммофон (из комиссионки, с трубой и ручкой), первый телевизор, оперный театр, французские фильмы о любви и русские о войне, коньяк с колой, диплом мамы, конфеты "Белоснежка" с арахисом, первая зарплата, кожаная юбка, лаковые ботинки...

1. Паша Христова (1946–1971) — болгарская певица 60–70-х годов.
2. Георгий Аспарухов (Гунди; 1943–1971) — знаменитый болгарский футболист, центральный нападающий команды "Левски".
3. Апостол Карамитев (р. 1923) — один из самых известных болгарских актеров.

16

СПИСОК УДОВОЛЬСТВИЙ 70-х
(С 3 до 12 лет)

...первое удовольствие от языка, от бормотания *Жив еще, жив он*[1] наизусть... первое знакомство с моим братом, светленьким ребенком, на два года младше меня, которого отдали на воспитание моей второй бабушке... первые вкривь и вкось выведенные буквы (с тех пор мой почерк особо не изменился) прямо на полях детских книжек стихов... первое эгоцентричное удовольствие от написания своего собственного имени... удовольствие от шоколада "Корова", нежного, молочного, длиной с руку, как мне казалось тогда, потом он исчез... удовольствие от наших с братом первых длинных волос, его были светлее, по мне так почти желтые, нас называли битлами и думали, что мы девочки... стыдливое удовольствие, когда надо было доказать, что мы не девочки, — по команде отца "снимай штаны"... открытие пениса как источника удовольствий... первый чемпионат мира по футболу, 1978, в финале Аргентина выигрывает у Голландии, нечестно, пытаюсь разозлиться сильнее отца и почти плачу... первая влюбленность в двоюродную сестру... удовольствие от игры с ней в доктора... удовольствие от первой серьезной и единственной книги, которая была у бабушки и дедушки — "Записки о болгарских восстаниях"[2], огромная, в твердом коричневом переплете без первых 60 страниц... удовольствие от сериала "На каждом километре" по телевизору, от фильмов об индейцах (гэдээровских), от Гойко Митича — "Дядя Гойко, дядя Гойко, он сзади!", 10 стотинок за детский билет, а потом целый месяц — Чингачкук, мое первое индейское имя — Быстроногий олень — после третьего места в школьном кроссе... удовольствие от первой "хулиганской" песенки:

...Манго Джерри живет
с новой бабой своей.
Она делает завтрак,
а он ей — детей.

...первый блюз с одноклассницей под "Джеласи", первый поцелуй в щечку на дне рождения — во время игры в бутылоч-

1. Первая строчка из стихотворения Христо Ботева (1849–1876), посвященного Хаджи Димитру (1840–1868) — предводителю отряда повстанцев, погибшему в бою с турецкими войсками.
2. Книга Захария Стоянова (1851–1889) о подлинных событиях 70-х годов XIX века и об исторических личностях, отдавших жизнь за освобождение Болгарии от пятивекового турецкого ига.

ку, естественно в темноте, мы едва нашли друг друга... "Бони М", "Ирапшн", "АББА", вся команда клуба "Левски" сезона 1977–1978... первый записанный сон – первый рассказ, кошмар про колодец, в котором исчезают мама, папа, мой младший брат, удовольствие и страх от записи этого сна... сны, в которых я обладал чудесной способностью превращать воду в лимонад, я еще не знал о чуде в Кане Галилейской... удовольствие от арбузов, черешни, бесконечных летних месяцев в деревне... первый болгарин в космосе (или это было позже)... тайное крещение (устроенное моей бабушкой без ведома мамы и папы, тогда партийных) в деревенской церкви, снова страх, удовольствие и чуть-чуть стыд оказаться без штанов перед священником... удовольствие от сладостей, пропитанных сиропом бисквитов, медовых трубочек с орехами, пирожных с розочкой... от "картин", гобелена с полулежащей пышнотелой женщиной, первой женщиной в моей жизни, расписанного изголовья кровати: озеро и лебеди, от календаря из "Женщины сегодня" со сборщицами яблок Владимира Димитрова-Мастера[1], крышки от коробок из-под шоколадных конфет с брезовскими пастухами Златю Бояджиева[2], "Мишками в лесу" Шишкина и "Девятым валом" Айвазовского – целый домашний Лувр... первая сигарета "Стюардесса", не уверен в удовольствии... первые едва заметные волоски внизу живота и другие мужские волнения... первый политический анекдот, подслушанный тогда, когда родители думали, что я сплю: "Что сделает наш Тошка[3], если Брежнев пернет? И ответ – обосрется..." – я не выдержал, прыснул со смеху, после чего мама и папа поссорились и долго мне объясняли, что это никому нельзя рассказывать... удовольствие от первого гонорара за стихотворение, 1978 г., 4 лв. и 25 ст., и простая арифметика, что для одного велосипеда "Балканче" достаточно 20 стихотворений...

17

И 80-х

...Нет, я и правда не могу припомнить какого-то настоящего удовольствия в те годы. Где-то в 1986-м, очень поздно, уже в

1. Владимир Димитров (1882–1960) – болгарский художник-портретист, мастер жанровых сцен и зарисовок.
2. Златю Георгиев Бояджиев – болгарский художник, известный своими портретами и пейзажами.
3. Имеется в виду Тодор Живков (1911–1998) – генеральный секретарь ЦК Болгарской компартии.

последнем классе гимназии, я впервые был с женщиной. Мы оба были абсолютно девственны. Я вспоминаю это как тяжелый физический труд, требующий огромной концентрации и самовнушения. Когда мы увидели несколько капель крови на простыне, она их увидела первой и с видимым удовольствием мне их продемонстрировала; явно и ей все это уже надоело, и тогда я понял, что у меня капает из носа. Кровь текла оттуда. С детства у меня были расширены капилляры, и каждый раз, когда я напрягался больше, чем обычно, из носа шла кровь. Девушка утверждала, что кровь была ее и что она уже не девственница, я лежал на спине, зажав нос двумя пальцами, и шмыгал. Я так и не понял, кто из нас был прав. Во всяком случае, не могу сказать, что это было лучше моего опыта с той пышногрудой женщиной с гобеленового коврика.

18

Давайте поговорим о чем-нибудь другом. О футболе? О Тарантино? О собаках? Лучше о кошках. Они мне как-то ближе. В отличие от собак никогда не сбиваются в стаи. Ничего на свете мне так не жаль, как бездомных собак и кошек. Они достойны даже большего сожаления, чем бомжи. Но все-таки кошек я жалею больше. Собаки вроде бы усвоили некоторые хитрости. Они умело копируют подсмотренное у попрошаек поведение, неизменно вызывающее сочувствие. Вроде бы вполне доверчиво подходят к тебе, обнюхивают, добиваются той непостижимой жалости в глазах, когда на тебя смотрят; их сбивают машины, их размазывают по асфальту, переезжают им лапы. Их несчастье всегда у нас перед глазами.

Бездомные кошки проявляют гордость совсем иного рода. Они избегают близости, скрывают свое несчастье, шмыгают в подвал или под машину. Не рассчитывают на наше сожаление. Я слышал, что даже домашние кошки, почуяв, что пробил их последний час, спешат подальше от дома или забиваются в самый дальний угол, чтобы никто не видел их агонии.

У нас с Эммой было две кошки — Мица и Пицо. Мица была породистой сиамкой со стеклянно-синими глазами. Куртазно мы звали ее гиацинтовой кошечкой. Мы взяли ее совсем котенком у одного нашего друга. Целую неделю я не ходил на работу: кормил ее молоком и нянчил на руках. Маленьким котятам ласка нужна даже больше, чем молоко. Наш друг, которому подарили котенка, испугался, когда ему рассказали, что некоторые сиамские кошки вечером перегрызали горло сво-

им хозяевам. Он просто решил от нее избавиться. У Мицы еще не было зубов. Она спала с нами, между мной и моей женой. Утром я видел, что они обнимались во сне. Ани, пятилетняя дочка одного нашего друга, говорила: "А тетя Эмма родила себе кошечку". В одном пособии по воспитанию кошек было написано, что эти животные почти никогда не привязываются к хозяевам, они просто их терпят. Мицу слишком рано забрали от матери, поэтому она ее не помнила и, думаю, воспринимала нас как своих наставников одного с ней вида, которые, неизвестно почему, пытаются ходить на задних лапах. Желание завести кошку — достаточно инфантильное — было и у меня и у Эммы, но причины для этого были разные. Признаюсь, что для меня кошка имела более атрибутивный смысл, была чем-то вроде трубки и кресла-качалки для всякого уважающего себя писателя. К этому времени я уже приобрел и трубку, и кресло-качалку. Я видел себя так: в кресле, в тапочках и халате, в зубах трубка и теплое электрическое тельце, которое преданно мурлычет у меня на коленях. Я, должно быть, где-то видел подобную картинку. Возможно, именно так выглядел Хемингуэй. Нет, Хемингуэй должен был гладить, по крайней мере, тигра.

А вот Эмме кошка хоть в какой-то степени позволяла чувствовать себя матерью. Она с ней говорила, гладила, воспитывала как ребенка. Иногда сама Эмма больше походила на ребенка, который слишком увлекся игрой. Я поздно понял, что за этой игрой стоит другое, которой моя жена хотела дать мне понять, как же ей хочется иметь детей. Во времена Мицы наш брак уже дал трещину, а я с тупым упорством твердил, что не хочу заводить детей, пока наши отношения на грани. При каждом скандале кошка сжималась в клубок на окне, смотрела на нас безумными глазами и шипела. В книгах такое состояние описано как типичный невроз на почве страха. Одни знакомые жаловались, что все их кошки постоянно прыгали с балкона, с девятого этажа. Позже они развелись. Это был самый гуманный развод. Они спасли несколько кошек.

Мица была жива-здорова. Мы жили на первом этаже. Пицо мы нашли два года спустя. Кто-то отнес весь помет в подвал нашего дома. Весь вечер откуда-то доносилось совсем слабое кошачье мяуканье, которое постепенно затихало. Мы долго ходили вокруг дома, пока не обнаружили, что писк доносится из подвала. Выжил только один котенок. За несколько вечеров Пицо ожил и начал вылезать из коробки. Сиамка сразу показала ему когти. Она никогда не проявляла такую агрессивность. Ее тело страшно напрягалось, шерсть вставала дыбом, и она рычала так страшно, что сама давилась и зады-

халась от этих звуков. А котенок наивно подходил к ней, обнюхивал, как будто признал в ней свою маму. Несколько месяцев Пицо был закрыт в другой комнате и постоянно просился к сиамке. Потом вдруг у Мицы проснулся материнский инстинкт, и она сама пошла к котенку. Начала его лизать, заботилась о нем, разрешала играть со своим роскошным хвостом. Так, две кошки, которые изначально не могли находиться в одной комнате, уже не отходили друг от друга дальше, чем на одну мордочку.

Наш брак с Эммой двигался совершенно в противоположном направлении.

19

Белая роза — символ молчания и скрытности. Когда в комнате ведется доверительный и очень личный разговор, вокруг расставляют белые розы. До сегодняшнего дня дошло выражение "сказано под розой". Sub rosa dictum.

Трилистник — символ Ирландии.

Лук порей — символ Уэльса.

Символ Японии — хризантема.

Чертополох стал гербом Шотландии после одного прелюбопытнейшего происшествия. Однажды, когда датчане решили тайком напасть на шотландцев, один датчанин наступил на колючку, бурно разросшуюся по берегам Шотландии, и вскрикнул от боли. Шотландцы услышали крик, проснулись и прогнали датчан навсегда. С тех пор в Шотландии с огромным уважением стали относиться к чертополоху, который впоследствии даже стал символом этой страны.

А росянка известна тем, что послужила прообразом трефовой масти в игральных картах.

Из пособия для садовода-любителя, 1913 года.

20

К ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ МУХ

Мухи относятся к разряду двукрылых и обладают парой хорошо развитых передних крыльев. Испокон веку большинство видов мух обитает в соседстве с человеком, поэтому их называют синантропами (от syn — связь, antropos — человек). Они селятся в домах, рядом с человеческими экскрементами, на

мусорных кучах и т. п. В этом смысле вполне правомерно предположение, что типичные представители синантропных мух, известные нам сейчас, являются невольным созданием человека. Или его отпадочной деятельности. Некоторые ученые утверждают, что мухи существовали задолго до человека и опять же питались трупами и экскрементами. Но они не отрицают, что с появлением человека мухи сразу же признали в нем хозяина и навязчиво влезли к нему в дом. С тех пор и до сегодняшнего дня хозяин не может смириться с присутствием этих досадных гостей, несмотря на то, что они сыты даже крохами с его стола, и всячески стремится их прогнать. Для этого вешает шелестящие ленточки на дверь, чтобы мухи не проникли внутрь; использует палки с куском плотной ткани, чтобы их бить; блюдца с уксусом, чтобы их топить; он, наконец, ловит их руками и сажает в спичечные коробки. Еще более эффектно то, что обычно практикуют маленькие дети. Они ловят муху и отрывают ей крылышки, после чего она тут же перестает относиться к разряду двукрылых, становится сухопутной букашкой и служит для назидания и страха всем остальным мухам. Все это, к счастью, без особого успеха совершается людьми только из-за того, что они не понимают, насколько важна и полезна муха.

Прежде всего, она редуцент, то есть организм, который способен разлагать сложные органические вещества — трупы, падаль, мертвечину, экскременты — до неорганических, и они вновь усваиваются растениями. Так, обыкновенная домашняя муха (Muska domestica) или навозная муха (Eristalis tenax), впрочем, как и синяя мясная (Calipbora), являются естественными ограничителями бурной эволюции органики.

Устройство двукрылых, а в частности, мух, очень любопытно. Глаз мухи — настоящее откровение. Он хорошо развит и занимает почти всю голову. Этот орган по существу состоит из множества мелких глазков, фасеток, каждый из которых представляет собой слегка выпуклый шестиугольник. Каждая фасетка воспринимает только одну точку общей картины, а весь образ суммируется в мозгу. Так, муха смотрит на мир мозаично, или фасеточно. Принято считать, что мухи близоруки, но разве можно представить себе более подробного, более детального взгляда на мир? Принцип фрагментарности, используемый некоторыми романистами как прием, по сути, позаимствован у глаза мухи. Какой бы роман получился, если бы нам удалось заставить муху говорить...

Какой бы роман получился, если бы нам удалось заставить муху говорить? В том, что у нее есть язык, естественно, от-

личный от нашего, я даже не сомневаюсь. Так как в данном случае я — заинтересованное в мухе лицо (и почему только муха не интересуется мной?), придется мне самому открыть механизм ее языка. Насколько мне известно, язык пчел связан с фигурами, которые они чертят в полете. Аналогичного можно ожидать и от мух. Домашняя муха всегда ближе всего к людям, всегда под рукой. Я сказал "под рукой" по инерции. Именно так человек и разговаривал с ними все это время. Когда ищешь другой язык, следует избегать инерции, поэтому будем говорить, что мухи у нас перед глазами. Следующий этап изучения этого языка можно обозначить как способность разговаривать только с одной мухой. Для этого требуются долгие дни наблюдений за одним единственным экземпляром. У каждой мухи — свой полет, то есть язык. Некоторые более болтливы и долго кружат в воздухе, другие говорят медленно, садятся в середине фразы, возвращаются к началу и в конце концов легко теряют нить повествования. Стоит найти муху с ясным и чистым полетом, которая не украшает рассказы излишествами и знает, где остановиться. Для непросвещенного же все мухи одинаковы. Если тот, кто решился постичь этот иностранный язык, попробует пренебречь столь важной фазой концентрированного наблюдения лишь за одной мухой, он не сможет различить отдельные экземпляры между собой и постоянно будет попадать из одной истории в другую.

21

> А именно: умершая муха, посыпанная пеплом,
> воскресает; и происходит странное возрождение
> у нее и заново начинается вторая жизнь.
>
> Лукиан *Похвала мухе*

Последнее время я занимаюсь тем, что в лучшем случае может показаться странным, а, может быть, названо и симптоматичным. Я изучаю мух и... — признаюсь честно — их истории. Это мое занятие облегчается тем, что один момент — объект наблюдения всегда у меня перед глазами. Так же, как перед глазами всех остальных, что делает его для них невидимым.

Откуда этот внезапный интерес к мухам. Убеждаю себя, что он объясняется романом, который я хочу написать. Фасе-

точный роман, напоминающий глаз мухи. И так же, как этот глаз, полный подробностей, мельчайших и незаметных простому глазу вещей. Повседневный, как мухи, роман. Вот, говорю я себе, зачем мне нужны мухи. Эти насекомые, которые летают у нас над головой, дремлют на потолке, разгуливают по столу, в то же самое время живут и откладывают свои личинки в разлагающихся трупах, в дырке клозета. Только они способны соединить эфир с хтоническим царством клозета.

Муха — медиатор мира, ангел и демон в одном лице. Лучшего образца для романа, лучшей аллегории не найти. Платон в "Ионе" говорит: "Поэт — это существо легкое, крылатое и священное; и он может творить лишь тогда, когда сделается вдохновенным и исступленным и не будет в нем более рассудка". Какая-то бешеная муха. Нам известно, что Платон никогда особенно не благоволил поэтам.

Идеальным романом будет такой текст, в котором связующей нитью между отдельными эпизодами станет одна перелетающая муха. Могу повторить еще раз — связующей нитью станет перелетающая муха.

И еще раз — муха.

Муха. Му-ха. Муууу-хахаха. Муха. Муха. Муха. Муха. Муха. Муха. Муха. Муха. Муха. Муха.

Ну ладно, есть еще одна основательная причина, по которой я созерцаю мух, углубляюсь в туалетные дебри и во всю естественную историю в целом. Одна навязчивая причина, другая муха, жужжание которой получается заглушить только на те несколько часов, пока я изучаю ее собратьев, кружащих рядом. Но избавиться от нее невозможно: она сидит во мне. Мухе в моем черепе нужна дырка.

22

Сеть нужна, чтобы поймать рыбу — когда рыба поймана, о сети нужно забыть.

Капкан нужен, чтобы поймать зайца — когда заяц пойман, о капкане нужно забыть.

Слова нужны, чтобы поймать смысл; поскольку смысл уже пойман, о словах можно забыть.

Если бы я мог найти того, кто забыл все слова, чтобы с ним поговорить.

Чжуан-цзы, III в. до н. э.

23

Втроем мы будем жить и поживать
И в шахматы, и в русскую рулетку здесь играть...

Ладно, попробую еще раз.

Я все еще жил у Эммы, но на сей раз уже окончательно решил, что мне надо уйти. По сути, я решался на это несколько раз, но все как-то откладывал. И вот сейчас заранее заказал на следующую субботу маленький грузовичок и позвонил троим друзьям. Вещей было не так уж много. Последняя ночь с Эммой. Сидим за столом на кухне. Вокруг нас — все заставлено коробками с книгами, лежат две сумки с вещами, вешалка с костюмом, господи, с тем самым ядовито-зеленым свадебным костюмом. Я взял двух кошек на колени и их глажу. Они всегда нервничают, когда в комнате стоят собранные вещи. Кошки не любят оставаться одни. Я иногда буду их навещать, говорю я. Не надо было. Эмма расплакалась. Я пытаюсь ее успокоить. Мне очень хочется ее обнять, но я говорю себе, что если сделаю это, то снова не уеду и агония продолжится. Мы молчим. Курим. Говорим о незначительных вещах. Тогда мне хотелось, несмотря ни на что, чтобы та ночь продолжалась как можно дольше. До этого мы никогда не были так близки. Где-то существовал мужчина, которого я не знал, в ней шевелился ребенок, который был не от меня, а за нашими плечами — несколько лет и очень мало спокойных дней. Я пытался понять, какая же из этих трех причин встала между нами. И только этой ночью они перестали для нас существовать. Мне хотелось, чтобы произошло что-нибудь такое, что изменило бы все в одно мгновение. Именно сейчас, в этот миг. Хоть какой-нибудь знак. Никогда мы не чувствуем привязанности к другому человеку так остро, как в тот момент, когда его теряем.

— Он шевелится, — подает голос Эмма и показывает на свой живот. Должно быть, это и есть знак.

Ребенок моей жены. Вот пример грамматически правильного, но все же глубоко неверного предложения. Между мной и моей женой — ребенок. И он бьет ножкой, пытаясь ударить меня. Делает странные шаги в ее утробе. Пустился в путь неведомо откуда и через какое-то время придет сюда, в эту комнату. Поймет ли он когда-нибудь, что несколько месяцев этого пути мы прошли вместе? И дверь, которую он откроет, хлопнет за моей спиной.

Моя бабушка когда-то говорила: чтобы человек родился, кто-то должен умереть и освободить ему место. Вечером

впервые за последние полгода мы легли вместе. Я делал вид, что сплю, пока Эмма меня обнимала. Кошки тоже устроились с нами рядом. Ужасно трогательная семья. Только ребенок в Эмме не переставал шевелиться. Ему было тесно.

Утром приехал грузовик.

24

Матвей, Марк, Лука, Иоанн, где же вы? Я уже хожу по воде.

Рассказывают, что где-то жил старик, который отвечал за равновесие на земле. Не то чтобы кто-то вменил ему это в обязанность. Просто старик чувствовал себя за это ответственным. Его обычным занятием было садоводство. Он ни с кем не разговаривал. Известно только, что много лет назад он появился в этом селе, купил дом на окраине. Купил за бесценок, потому что он пустовал уже много лет, и люди клялись, что поздно вечером в его окнах блуждали странные огоньки. Переезд садовника был не менее интересным: все обратили внимание на огромный грузовик, доверху наполненный связанными в стопки книгами, ящиками со всякими семенами, там было и огромное кресло-качалка, очень старое и расшатанное, в некоторых местах перетянутое проволокой. Ах да, и еще кошка. Как только люди увидели столь непривычный для сельской местности скарб, садовник тотчас же прослыл чудаком. Чудаками называли не обыкновенных сумасшедших, к которым все на селе давно привыкли, а только некоторых из тех ученых умов, которые помешались от чрезмерного чтения книг. Если бы там слышали о Дон Кихоте, то тогда наверняка тут же уточнили бы диагноз, но пока слово "чудак" вполне их устраивало.

Старик, по сути, ничего плохого не делал. Иногда он целыми днями не вылезал из дома, даже свет не зажигал по ночам. Как будто куда-то уехал. Иногда все свое время проводил в саду, сажал новые семена, прививал прижившиеся черенки. А иногда вытаскивал большое кресло, садился в него, гладил кошку и часами не сводил глаз с какого-нибудь дерева. По слухам, у него в саду росли странные и невиданные на селе растения. Деревья с огромными плоскими листьями, низкорослые кустарники с ярко-красными мелкими плодами, тюльпаны с синими чашечками, огромные колючие (мохнатые, как их называли) стебли, на макушке которых раз в год и только на несколько дней вспыхивали роскошные цветы. Старухи кля-

лись, что этот сад заколдован. Однажды соседский поросенок заглянул туда ненадолго, а через три дня его раздуло и он умер. Только пчелы слетались как сумасшедшие в тот сад со странными цветами и возвращались в ульи отяжелевшие и одурманенные.

Раз в месяц этот странный человек спускался к сельской почте и неизменно отправлял одно письмо и одну телеграмму. Адреса не менялись. Телеграмма — куда-то в Софию. А письмо... там адрес был написан на каком-то незнакомом языке, который почтальонша никак не могла разобрать к недовольству всей деревни. Только после того, как она черточка за черточкой срисовала каждую букву с конверта и отправила все это своей дочери в город, село ахнуло, узнав, кто же был адресатом. А адресатом была сама Организация Объединенных Наций со штаб-квартирой в Нью-Йорке. И если телеграмма всегда содержала один и тот же текст, причем почтальонша по долгу службы должна была с ним ознакомиться, чтобы посчитать знаки, то никто не знал, о чем были письма, на которых значился столь важный адресат. Телеграммы состояли из двух коротких фраз: "Мне уже действительно лучше. Жду". Имена получательниц менялись. Две женщины с одинаковыми фамилиями.

Последний раз, когда старик зашел на почту, он *действительно* плохо выглядел. Говорят, его глаза глубоко запали, а рука сильно дрожала, пока он писал телеграмму. Почтальонша вообще бы не посмотрела на текст послания — за столько лет она давно уже запомнила количество знаков. Но в этот раз она обратила внимание, что на бланке было написано всего два слова. Притом таких, от которых волосы на голове начинали шевелиться: "Я умер". На этот раз женщина возразила, что такие вещи запрещено писать в телеграммах. Старик ничего не ответил, скомкал бланк, взял еще один и написал: "Я отхожу". Заплатил и ушел. Прошло два дня, и в деревню приехали две женщины, по всей вероятности, мать и дочь. Они были все в черном, и этот цвет был особенно к лицу той, что помоложе. Сошли с автобуса, спросили, где живет такой-то человек, и направились прямо к дому сумасшедшего садовника. Меньше чем через час они вышли оттуда и направились к сельсовету. Поговорили там о чем-то и вернулись. С ними были двое деревенских мужиков с лопатами. В совете разрешили похоронить садовника в его собственном саду, за домом. Нечто неслыханное в деревне. Похороны состоялись в тот же день, и обе женщины уехали на последнем автобусе. Из дома старика они взяли только старую тетрадь в кожаном переплете. С годами сад совсем одичал, и дом зате-

рялся в зарослях. Сад был все таким же странным и экзотичным, дерево с широкими листьями стало огромным, но никто не смел ступить за калитку.

После смерти садовника из домика еще некоторое время доносилось жалостливое кошачье мяуканье, но вскоре и оно затихло.

Тетрадь была старой, в самодельном переплете. Карманного формата, на пружинке. Кожа переплета, некогда вишневого цвета, сейчас потемнела. На тетради еще можно было прочесть надпись, сделанную очень красивым почерком: "Заметки натуралиста".

25

> 3 крупных апельсина, стакан сахара, кукурузная мука, 10 черешен, немного имбиря...
>
> *Рецепт апельсинового супа*

Суббота. Отвратительный дождик, моросящий и холодный. Сегодня "хорошо ловится рыбка-бананка". Хотя... хорошо для Сэлинджера. Успокаиваешься, что хуже уже не будет, и расслабляешься.

Нет более подходящего для такой погоды автора, хотя он и напоминает зонтик, под которым все равно промокаешь до нитки. Даже Элиот, и тот как-то безоблачнее. Для сухого октября лучше не придумаешь.

Все эти мысли вертятся у меня в голове, пока, уже сидя в купе, я достаю Сэлинджера. Я не из болтливых, поэтому рассматриваю книгу как щит против вероятности быть вовлеченным в те бесконечные разговоры, которые всегда начинаются вопросом "Вам куда?" и естественно переходят к расспросам о детях и обсуждению болезней печени. К тому же у меня нет удовлетворительного ответа на вопрос о цели и финальной точке моего путешествия. Я купил билет до конечной остановки, но спокойно мог бы сойти хоть на следующей станции.

Мне нравится эта книга, потому что она ничем тебе не навязывается, по крайней мере, внешне. Простая обложка без иллюстраций. Уверен, что имя автора почти ничего не говорило тем, кто следовал этим маршрутом, что также снижало вероятность того, что со мною заговорят. Я занял свое место слишком рано, вагон только сейчас стал заполняться людьми. Я не могу читать, пока не тронется поезд, поэтому бросаю

взгляд в сторону тамбура. Пытаюсь угадать, кто из пассажиров будет ехать со мной в одном купе. Мне редко везет, чтобы напротив меня оказалась красивая женщина, которую я мог бы втайне созерцать. Оставалось только одно свободное место, и я почти потерял всякую надежду. Поезд как раз тронулся, и тут вошла она. Сначала я не обратил на нее внимания — просто отметил ее появление: ей за тридцать, без багажа, села напротив меня у окна. В купе начались обычные разговоры, слишком вялые, к моему облегчению. Как будто только мы с женщиной напротив молчали, я — погрузившись в книгу, а она — засмотревшись в окно. В этот раз читать не получилось. Я бросил несколько рассеянных взглядов в ее сторону, не прямых, а, скорее, на ее отражение в стекле. Она была не то чтобы красива, просто как-то не вязалась со всей этой ситуацией — ни с купе с невзрачными пассажирами и грязными шторками, ни со всем поездом, ни с промозглой погодой. Мне ужасно хотелось с нею заговорить, выйти вместе покурить в тамбур. Я никогда в точности не знал, как все это происходит. Наверное, с легкостью и небрежностью, которых у меня не было. Только что разведенный мужчина, который не перестает думать о своей бывшей жене. Почти демонстративно я достал сигареты и вышел. Медленно выкуривал сигарету за сигаретой, но женщина не двигалась с места. Я вернулся в купе и заметил, что она достала согнутые пополам листочки и что-то записывает. Я и сам люблю что-то почеркать в блокноте, едучи в поезде, но делаю это почти тайком, и пристальные взгляды попутчиков меня смущают. А женщина писала абсолютно невозмутимо. Надолго прерывалась, смотрела в окно, потом добавляла к написанному еще какое-нибудь слово. Я попытался себе внушить, что могу завоевать ее симпатию Сэлинджером. Мне как всегда не хватало смелости, чтобы начать разговор. Все реплики, которые приходили мне в голову, казались ужасно тупыми и отдавали плоской двусмысленностью. Я приподнял книгу — так, чтобы она смогла прочитать заглавие. Мне казалось, что это каким-то сверхъестественным образом сможет что-то изменить, будет иметь благоприятные последствия. Особенная женщина оценит это заглавие. Ее губы и правда красивы, и глаза зеленые, по крайней мере, так мне кажется в полумраке. Но, увы. На каждой следующей остановке я вздрагивал и молился, чтобы она не сошла с поезда.

Я пытался приложить к ее образу сомнительную технику низвержения и отвращения. Технику кислого винограда. Представлял ее в рваных колготках, с испорченными зубами, в туалете. Постепенно я увлекся. Сочинил целую историю: она замужем, у нее двое, нет, трое детей (чтобы ее

грудь стала еще бесформенней), работает в школе учительницей литературы, вечером, напялив очки на нос, проверяет тетрадки, у нее скучный муж, который сидит в майке перед телевизором и напивается... Эту технику я отработал до совершенства и могу поклясться, что она почти всегда срабатывала. Но женщина напротив ускользала, более того, обращала все приемы против меня самого. Ситуации, в которых я представлял ее будто бы совсем ясно, нисколько не разрушали ее образа. Наоборот, даже его усиливали, и я желал ее еще больше. Мне представлялось: мы лежим и обсуждаем финал "Тедди". Я утверждаю, что это тот случай, когда Сэлинджер изменил себе, финал слишком очевиден, развязка предугадывается почти с первой страницы. Недопустимо. Это могла быть ее реплика.

Распределяя реплики, я едва ее не упустил — она уже выходила из купе. Поезд остановился. Она спускалась на платформу. Нельзя было терять ни минуты. Я схватил сумку и сошел на той же станции. Еще чуть-чуть, и я бы с ней столкнулся. Она впервые взглянула на меня, что ж, ее глаза не были зелеными. Я извинился и выпалил первое, что пришло мне в голову, лишь бы ее задержать: "Хорошо ловится рыбка-бананка, правда?" И в этот момент к ней со всех ног бросились двое, нет, трое детей, и все наперебой хотели ее обнять.

Поезд ушел. Я медленно поднял сумку и отправился искать гостиницу. На вокзале я забыл посмотреть, в каком городе оказался, и, когда я спросил об этом женщину на рецепции, она посмотрела на меня, как мне показалась, испуганно. Но все же ключ мне дала. 507-й номер. Число показалось мне знакомым. Я вошел в комнату, повернул ключ в замке, вынул из сумки книгу. Я сказал себе: случайностей не бывает. Открыл книгу на 84-й странице, текст был слева. Потом одиннадцать раз прочел финальный пассаж:

Выйдя на пятом этаже, он прошел по коридору и открыл своим ключом двери 507-го номера. Там пахло новыми кожаными чемоданами и жидкостью для снятия лака.

Он посмотрел на женщину — та спала на одной из кроватей. Он подошел к своему чемодану, открыл его и достал из-под груды рубашек и трусов трофейный пистолет. Он достал обойму, посмотрел на нее, потом вложил обратно. Он взвел курок. Потом подошел к пустой кровати, сел, посмотрел на молодую женщину, поднял пистолет и пустил себе пулю в правый висок.

Потом я заснул.

26

Куда девается излишная любовь,
кто ее сметает, кто выносит мусор,
где же тот контейнер...

Когда брак себя исчерпал и последний общий сервиз поделен на две части, остается преодолеть еще один дележ — друзей семьи. Каждая семья создает вокруг себя неповторимую среду, некий биоценоз, населенный родственниками, дружественными семьями, время от времени появляющимися знакомыми. У нас с Эммой всегда было слишком много гостей. Она умела их развлекать. Я — особый случай. Когда мне все это надоедало, я шел и закрывался в туалете. Все знали, что это знак, безо всяких обид собирались и уходили, прощаясь со мной через дверь. Когда мы с Эммой развелись, сначала никто не мог в это поверить. Мы были идеальной семьей. Вдруг все как-то от нас отдалились, они не знали, как реагировать. Одиночные попытки встречаться только со мной, да и, наверное, с Эммой, заканчивались трагично. Второго всегда не хватало. Как сказал один из наших друзей, это все равно что втроем собраться за партией белота-карэ, раздать карты и делать вид, что все игроки на месте. Он был прав. Большинство из них в моем присутствии избегали говорить об Эмме, и это еще больше выводило меня из равновесия. Мне хотелось о ней говорить.

Странно, но человек думает, что развод — катастрофа, после которой все не так, как прежде. Мир должен был расколоться на две части, и мы с Эммой — оказаться на разных его половинках. Но мир все не раскалывался. Мы жили в одном городе, даже моя квартира и та была в том же районе, мы ездили на одних и тех же автобусах, ходили в одни и те же магазины. Один из продавцов постоянно меня спрашивал, зачем я покупаю хлеб, когда моя жена зашла передо мной и уже купила буханку. Несколько раз я проходил под окнами ее квартиры. Было поздно, шторы были опущены, горел свет. Только однажды я заметил одну из кошек на подоконнике, между шторой и стеклом. Интересно, а она меня увидела? Я знал, что не надо было туда ходить. Эмма уже жила с другим, не знаю, как его назвать, ладно, с отцом.

27

Мороженое буду продавать,
Банкротом становясь зимою...

Сегодня надо как-то укрепить кресло. Оно совсем расшаталось при переезде. Я нашел тонкую проволоку. Было бы неплохо найти заодно и какую-нибудь работу. Обошел весь рынок — я бы мог продавать что-нибудь сезонное. Самый удачный вариант — продавец в газетном киоске. О такой работе я мечтаю с детства. Я смогу перечитать все газеты и даже писать. В последнее время пишу все реже. Сажусь, курю, и ничего не получается. Мой друг, психиатр, сразу же поставил диагноз: неспособность сосредоточиться, навязчивые мысли и ананказм, если я правильно запомнил. Факт остается фактом: мои заметки становятся все короче и хаотичнее. Я начал их с идеи о романе. Ну вот, теперь роман и правда выйдет фасеточным.

Ананказм (от гр. ananke — навязчивость) — состояние, при котором больной не может освободиться от определенных *переживаний*, несмотря на то, что полностью осознает их абсурдность и бессмысленность. В роли переживаний могут выступать представления, желания, опасения или побуждения к действию. Они постоянно преследуют больного, преимущественно принимая формы навязчивых образов. А. представляет собой разновидность психоневрологического синдрома. В психоанализе: в основе А. лежит актуальный, нарушающий субъективную уверенность в себе внутренний конфликт. Чаще всего вышеперечисленные симптомы появляются у лиц, изначально страдающих заниженной самооценкой, сформированной вследствие неправильной обработки переживаний раннего детства, а также у людей, имеющих склонность к нейтрализации страхов путем "контрамагии".

Из краткого справочника по психологии

Иногда меня посещает странное желание слоняться вечерами по городу и заглядывать в окна первых этажей. В окна кухни, за которыми живут нормальные семьи. И откуда во мне эта склонность к домашнему вуайеризму?

...а ожерелье из яичек ласки предохраняет женщин от нежелательной беременности

Старое ирландское поверье

Чтобы писать "Естественный роман", нужно непрестанно всматриваться в видимое. И открывать подобия. Каждой осе-

нью капуста повторяет моду времен Марии Антуанетты на пышные воротники-стойки. Или Мария Антуанетта подглядела это у капусты. Кто знает, может, ботаника влияет на историю, или история на ботанику. Роман Естественной истории не делает подобных разграничений. Вчера рынок был завален обезглавленными Антуанеттами.

...сейчас она уж мать своих детей сейчас она им мать и это надо повторять так медленно чтобы привыкнуть она уж мать и не жена своих детей сейчас уж мать она уже не то сейчас и стручок и матка пчел и соты улей для своих детей

Однажды я вернулся домой позже обычного. Эмма разговаривала по телефону на кухне и не слышала, как я вошел. Я же услышал следующую фразу: "Трутень, он просто трутень, хотя и очень способный". Меня поразило то, что эта фраза была точной копией одной реплики ее отца, оброненной год назад, реплики, опять же невольно мною подслушанной.

Зачем я снова прокручиваю все в голове. Какое значение это имеет, спустя несколько месяцев после развода. Человек иногда произносит подобные вещи, сам того не желая.

Трутень, он просто трутень, хотя и очень способный.

"Характерной особенностью трутней является то, что они рождаются из неоплодотворенных яиц, вследствие чего у них нет отца. Они носят наследственные черты своей матери и того трутня, который оплодотворил их бабушку".

Я говорю себе, что это важно, и продолжаю копаться в тех нескольких пособиях по пчеловодству, которыми располагаю. Ее фраза не оставит меня в покое, пока я не смогу обильно насытить ее информацией. Чтобы она надулась, как клещ, и отпустила меня.

"У трутня достаточно крупное тело, 15—17 мм длиною. Хорошо развитые грудная мускулатура и крылья позволяют ему совершать дальние и продолжительные перелеты, притом на высокой скорости. В задней части его брюшка расположены сложно устроенные и хорошо развитые половые органы".

Пока отзыв Эммы обо мне был весьма лестным.

"Предназначением трутня является оплодотворение вылетевших в брачный полет неоплодотворенных маток. Если они попадают в чужие ульи, пчелы благосклонно их принимают".

Что ж, совсем, совсем неплохо.

"...но во второй половине лета, когда отцветают основные медоносные растения и количество нектара сокращается, трутни становятся лишними в пчелиной семье, поскольку в тот период исчезает инстинкт роения. Пчелы перекрыва-

ют им доступ к меду, морят их голодом и выгоняют через вход в улей".

Вход в улей становится единственным выходом для трутней, exitus letalis.

О чем же нам говорит такое устройство пчелиных семей, какие аналогии порождает? Я подозреваю, что Бог создал это странное семейство, чтобы сказать нам что-то важное. Не знаю что, но здесь подсказка. Вчера в какой-то газете я прочитал, что на исходе века прослеживается тенденция все большего вытеснения мужчин из семьи. Женщины, писал автор статьи, предпочитают сами растить и воспитывать детей, и будущее — за семьями из двух человек, причем отец в это число не входит.

Трутень, он просто трутень, хотя и очень способный.

28

Где-то проживают в доме с "ф" и "и"...

Много лет назад, в детстве, я жил в деревне. Мир казался тогда прекрасным, как после дождя. После того что произошло между мной и Эммой, я решил пожить там какое-то время. Чтобы вытеснить днями и ночами из детства свои недавние переживания. Эмма была из другого времени, и я надеялся, что хоть там, в прошлом, она меня оставит в покое. Но больше недели выдержать в деревне не смог. Ничего уже не было прежним, ничего. Той деревни уже не существовало. Мир расколдовался сам собой. Те странные люди, чьим историям я некогда радовался, сейчас казались мрачными, навевали тоску. Деревня медленно сходила с ума. Следы сумасшествия были видны во всем. Половина стариков перессорилась из-за того, кто где будет похоронен. Кладбище было забито, а каждый хотел местечко получше, поближе к своим. "Ничего другого мне не надо, только бы быть с маленькой Кали рядом, — ревела моя бабушка, — чтобы говорить с ней, укутывать ее на ночь, ласкать..." Маленькая Кали была ее первым ребенком, она умерла, когда ей было три годика, и бабушка так и не смогла с этим смириться.

Дедушка рассказывал, что тогда она чуть не помешалась. Она, вспоминал он, сделала себе куклу (дед назвал ее истуканом), ростом с трехлетнего ребенка. Повсюду таскала ее за собой, говорила с ней, пыталась накормить, вечером ложилась с ней спать. Однажды ночью дедушка сжег эту куклу. Он

был человеком мягким, представляю, чего ему стоило решиться на это. Зато бабушка была спасена.

Сумасшедший Ристо, последний человек в деревне, который ходит в телогрейке даже летом (в последнюю из войн из-за разорвавшегося рядом с ним снаряда он перестал ощущать тепло и холод), с самого утра сидит на площадке под грубо отлитым памятником погибшим в той же войне. Ковыряется палочкой в пыли и спрашивает каждого встречного: "Который час?" И уже пятьдесят третий год как он все повторяет: "У-у, вот и день прошел, да-а-а!"

Жестяной Дико — один из тех, кто помешался на почве книг. Он живет в шалаше, построенном из жестяных банок из-под брынзы. На крыше, в клетке, держит кролика. Соорудил себе собственный колодец в виде пробуренной дыры и черпает оттуда воду пластиковой бутылкой на веревке. Носит длинную, неподстриженную бороду, как у крузоиста. Так его и прозвали в деревне. Человек, немного сбившийся с дороги, — как эвфемистично, по-христиански выражается моя бабушка.

Когда-то истории Сумасшедшего Ристо и Жестяного Дико казались мне смешными. Сейчас же эти люди, они еще живы, навевают на меня такую тоску, такую тоску...

Вымирающая деревня, которая еще пытается рассказывать истории, всё менее смешные и всё более печальные. Я узнал, что в последнее время все ходили и давали денег Дьяволу Диню, — полуслепому старику, присматривающему за деревенской церквушкой, — так вот, все ходили и просили его (не только просили, но и платили по совести), чтобы он звонил по ним в колокол: "Бей, бей, чтоб мы его слышали, пока живы, когда ж подохнем и сыграем в ящик, может, и не услышим никакого звона".

Смерть была единственным приключением, к которому они готовились каждый день. Несколько стариков даже заказали себе подешевевшие к тому времени памятники и хранили их дома, памятники с выбитыми на гипсе именами, датой рождения, черточкой и первыми тремя цифрами даты смерти. Единственный оставшийся в деревне могильщик, которого все наперебой угощали в корчме, за одну ракию был готов вырыть каждому желающему самую лучшую могилу. И все представляли себе смерть зимой. Летом — никогда. Как выражался один из жителей: как же тут умрешь, столько работы навалилось, и сена не припас коровам, и виноград не собран...

Говорят, что раньше, когда деревня была большой и живой, районная управа предлагала сделать ее городом. Это было престижно, но местные жители думали-думали да и отказали. Их единственным мотивом было то, что в деревню, когда она станет городом, понаедут всякие жандармы, описают им все заборы да еще и девок попортят. Люди берегли своих девок и заборы — что им еще оставалось?

Я же ничего не сберег. Даже истукана бы не посмел сжечь.

29

У Линнея была страсть к классифицированию. Возможно, это страсть всего XVIII века. После того как он сгруппировал все известные ему растения и дал им простые названия (nomina trivialia), разделив на роды и виды, Линней приступил к другой, менее известной систематизации. Так появляется "Flora oficiarii", или "Офицерская флора", где в строгой иерархии были выстроены все его приятели и неприятели по науке ботаника. В зависимости от заслуг и степени дружественных отношений ботаники или естественные историки — большинство из них по-прежнему были известны именно как историки — были произведены в чин полковников, подполковников, майоров и так далее по нисходящей до обыкновенных фельдфебелей и ефрейторов. Генералом, естественно, был сам Линней. Один из обиженных им современников, судя по всему фельдфебель, Ламетри, написал язвительную статью с удачным заглавием "Человек-растение", в которой он перевернул метод Линнея, вернее, перевернул только аналогии, и отнес человеческих существ к отряду двудомных, однотычинковых и одноплодных.

В этой классификации Ламетри определенно что-то есть — своего рода заминка, "спотыкание" антропоцентризма. Почему точкой опоры всех аналогий должен быть человек? Вот интересно, как бы нас описали растения, как бы они нас классифицировали? "Описанный растением" — хорошее заглавие, которое можно приберечь для другого раза. Мне кажется, что они постоянно за нами наблюдают — все эти фуксии, аспарагусы, бонсаи, маленькие финиковые пальмы, китайские розы, герани, лимонные деревца. Мы всегда у них на глазах. В этом месте я, как хороший натуралист, пожалуй, вставлю одно частное наблюдение. Когда начались скандалы с моей женой, листья фикуса у нас в большой комнате пожелтели и стали опадать.

31

...козы и розы увивались за мной.

И растение, и муха, и все остальные живые существа появились на земле за несколько миллионов лет до человека. Может, Бог просто хотел подготовить для него колыбель и детскую? А не было бы справедливее, имеется в виду справедливость в масштабах всей Вселенной, считать, что он создал человека только для развлечения предвосхищающих его растений и животных — что-то вроде мягкой игрушки, ходячей куклы, о которой бы заботились. Мысль человека слишком эгоцентрична, чтобы допустить подобную вероятность. Но все же, давайте себе это позволим, только раз, вот тут, на бумаге, в нескольких строчках. Для мухи, которая носится по комнате, и для фикуса в углу около окна мы — совершеннейшее развлечение. Мы думаем, что властвуем над ними, но на самом деле они верховодят нами. Они наблюдают со своего Олимпа, как мы слоняемся туда-сюда, и, когда им это надоедает, начинают излучать в нашу сторону неуловимые сигналы, с легкостью нами манипулирующие.

Я знаю, знаю, еще в самом начале Книги, в Бытии, Бог говорит: "Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле". Ох, и как же нас радует это *и владычествуйте над...*

Так-то оно так, но это записано в Библии человека. Интересно, а как был бы решен этот вопрос в Библии мух или в Библии растений? Они все же накопили побольше бытия, чем мы. Как вам — Библия мух? По мне, так звучит вполне величественно. И архаично. Вы знаете о моей к ним слабости, к мухам и началам. Перед этим — только одна ремарка. Книга мух, естественно, записана не на бумаге, это, так сказать, воздушная книга. Итак, начнем. БИБЛИЯ МУХ.

Вам, наверное, не совсем понятно. Я сказал, что немного понимаю их язык. В результате наблюдений. Сейчас я постараюсь перевести. Совсем буквально, лишь общий смысл. При переводе всегда что-нибудь теряется. В нашем случае — как минимум полет и трехмерность. В результате вот что получается:

1:1. В начале [был] воздух. И сказал Бог: да будет движение. И [стало] движение.

1:2. И создал [Бог] крылья. Но ничто не носили крылья, а сами носились в пустоте. И сказал [Бог]: да будет тело к крыль-

ям. И [было] тело. Но оно [тело] во тьме пребывало. И сказал [Бог]: да будут очи к телу. И [были] очи.

1:3. И все через око начало быть, и без него ничто не начало быть. И пожелало око свет, и [был] свет. Пожелало небо и землю, и узрело небо и землю. И пожелало потом душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их, и фекалии, и узрело душу живую, и зверей земных и фекалии. И сказало [око], что *это* хорошо, и слетело к ним.

1:4. И стало так. И сотворил [Бог] мух по образу Своему. И благословил их [Бог], и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.

Вот, что-то в этом роде, если, конечно, я все правильно понял. Некоторые слова ускользают, поэтому я восстанавливаю их в скобках, чаще других используя слово "Бог". Оно всегда уместно. Как видите, текст 1:4 полностью совпадает с пассажем из нашей Библии. Я бы не стал брать на себя ответственность и категорично заявлять, кто у кого его позаимствовал. О Библии мух пока все. О растениях же, признаюсь, я еще не могу сказать ничего определенного. Могу только предполагать, что их письмо повторяет форму листьев, корней, чашелистиков, рыльца и т. д.

Мне известно, что вездесущий "генерал" Линней в 1758 году написал некий труд на тему "Somnus Plantarium", но мне он еще не попадался. Завидую такому заглавию. "Сон растений". Идеальное название для естественного романа.

31

Ничего. Ничего. Ничего. Ничего. Ничего. Ничего. Ничего. Ничего. Ничего. Остается всего несколько листов, которые можно заполнить вот так. Что скрывается за этими буквами. Ничего. Вся нищета жизни.

Сегодня исполняется год с момента нашего развода с Эммой.

Я все еще не забрал у нее некоторые из своих снов и другие мелочи.

Сны, как кошки, — дольше всех отвыкают от того места, где они жили.

Все говорят о конце. Веселятся, как дети, которые рассказывают друг другу страшилки. Со времен Откровения и до наших дней игра ничуть не изменилась. Кровь и огонь, потоп, столкновение с метеоритом, экологическая катастрофа, озоновая дыра и еще десяток *абсолютно неминуемых и предначертанных вещей.*

Лично для меня есть нечто пострашнее конца — его отсутствие. Я испытываю ужас при одной только мысли, что исход невозможен. В одной этой мысли — больше апокалипсиса, чем в сказках об апокалипсисе. Конца нет.

После всего того, что произошло в моей жизни за этот год, земля должна была разойтись подо мной, небеса — разверзнуться и пролиться потоками воды, или, по крайней мере, должна была увеличиться озоновая дыра. Ничего подобного. Я даже остался жив. Соседи, конечно, смотрят на меня косо, но они-то как раз интересуют меня меньше всего. Я могу совсем не выходить из дома. А могу взять свою тетрадку и кресло и вообще никогда не вернуться. Мне надо подыскать какой-нибудь конец. Как это... Надо выпустить муху из черепа. Всего одна дырочка.

32

Солнце светит. Хороший день для прогулки. Сима ловит сома. Идет дождь. Роза — красивая. Бабушка вяжет. В году 12 месяцев, в каждом месяце 30 дней, в сутках 24 часа. Кошка мурлычет. Наступает осень. Пришла зима. Пошел снег. Весной деревья зеленые. Лето.

И почему все не так просто, как в букваре.

33

> Так напился путник,
> что пока он писает под небом,
> только струйка держит его на ногах.
>
> *Хокку для мужчин*

Сегодня день начался куда лучше. Мне захотелось побриться. Я даже вышел на рынок. Мир, конечно, не слишком расстроился из-за моего отсутствия. Мне кажется, я мог бы ответить ему взаимностью. Купил новую тетрадку и два карандаша. Не могу писать ручкой, уж слишком она категорична. Не знаю

уж, почему сегодня я так хорошо себя чувствую. Как-то непривычно. Я купил тетрадку, потому что решил начать новый роман. Идея кажется мне интересной. Речь идет об одном бродяге с креслом-качалкой. Сначала у меня родился только образ. Бродяга, типичный бомж, вонючий, обросший, на голове старая шапка, сидит в кресле-качалке в скверике рядом с помойкой. Вокруг него кротко спят собаки. На коленях — потягивается отощавшая кошка. Кресло качается едва заметно, как будто от дуновения ветра. Неплохой кадр. Бродяга в кресле-качалке. Спокойный и по-своему аристократичный. Все остальные шумы приглушены, слышно только тихое поскрипывание. Это вводный эпизод. Дальше рассказывается сама история бомжа. Все началось как простой эксперимент. Человек хотел написать роман, в котором главным героем был бомж. Но все должно было быть как на самом деле. Вот он и решил стать бродягой, попробовать пожить, как они, с неделю. Выбрал себе какой-то район на окраине, чтобы не встретить знакомых. Отпустил бороду, надвинул на глаза рваную шапку и стал почти неузнаваемым. Первые две ночи он возвращался домой, чтобы помыться и выспаться. Потом же решил, что это нарушает чистоту эксперимента, и подыскал себе ночлежку. Нашел какой-то старый навес и ночевал там. Вполне сносное место. В начале осени было еще тепло. Несколько раз он все же проникал в дом, чтобы запастись едой. Старался появляться поздно вечером, так, чтобы его никто не видел. Хотя однажды какой-то сосед его все-таки заметил и принял за вора. Стал кричать, и ему пришлось бежать. Из своей собственной квартиры. Так незаметно прошел целый месяц. А бродяга и не думал прекращать эксперимент. Постепенно он втянулся. И никогда еще не чувствовал себя таким свободным. Где-то нашел два рваных одеяла, осколок зеркала, нож без ручки и почти целый приемник, только без батареек. Самым большим его приобретением стало кресло-качалка, которое в нескольких местах он стянул проволокой и больше уже с ним не расставался. Он даже подружился с одним настоящим бомжем, который поделился опытом — как не умереть с голоду, хотя деньги наш герой на всякий случай припас. Так, день за днем границы эксперимента и настоящей жизни бомжа оказались размытыми. У него уже не было никакого желания вернуться к своей старой жизни. Он не видел в этом смысла. Он жил уже в ином, параллельном городе.

А один раз он придумал такую шутку. Хотя... какая шутка, он просто ужасно проголодался. Завалился в забегаловку на площади Славейкова, в заведение, работающее "до газетных

лотков", как говаривали в то время. Было дело, он частенько захаживал туда с целой компанией начинающих писателей. Сейчас, когда он вошел, — они все как один были в сборе. Но он не смутился и прямиком направился к их столику. Пододвинул стул и сел, вежливо со всеми поздоровавшись. Никто его не узнал. В эту забегаловку заходил всякий сброд, так что на него никто не обратил внимания. Официантка даже принесла ему вилку, и он спокойно воткнул ее в кружок колбасы на тарелке "своего самого лучшего друга в прошлом", который сидел слева от него. Потом взял пустой бокал и провозгласил тост за всю компанию, завершив его маленькой цитатой из Элиота, его самым любимым пассажем из "Пепельной среды":

Ибо я не надеюсь вернуться опять
Ибо я не надеюсь
Ибо я не надеюсь вернуться...

После чего выдал что-то вроде: "Я пью за эту долбаную постмодернистскую ситуацию, чьих пророков я вижу в вашем лице". Он слишком хорошо знал всех этих людей, так что понравился им почти сразу и без особых усилий. Он провел с ними весь вечер, ел, пил, сколько влезет, веселился, наблюдал за ними — глубокомысленно сидящими рядом со своими грузными женами. Но за весь вечер он ни разу так и не взглянул направо, там сидела его бывшая жена (я не знал, что он был женат, честное слово), хотя был уверен, что она его узнала...

На этот момент — это пока все, что я придумал. Не знаю, что будет с бродягой к финалу. В какой-то момент мне показалось, что для того, чтобы роман получился правдоподобным, мне тоже несколько дней стоит побыть бомжем. Дня два-три, не больше.

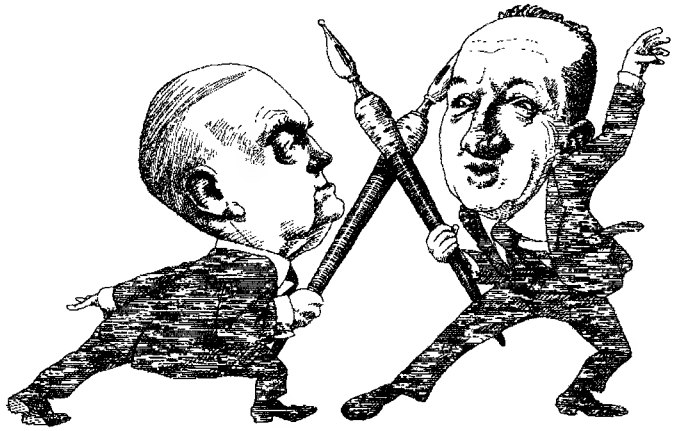
ПОСЛЕДНИЙ ЭПИГРАФ

я исчезну массово
сказал он им
я исчезну массово
сказал он
как динозавры

"Хороший писатель – это в первую очередь волшебник..."

Из переписки Владимира Набокова и Эдмунда Уилсона[1]

Составление и перевод с английского А. Ливерганта
Вступительная статья и комментарии Н. Мельникова



Шарж Ричарда Андерсона

Владимир Набоков — один из тех писателей, чей литературный канон в значительной мере состоит из посмертно изданных произведений. Помимо стихотворений и пьес, полностью собранных и изданных лишь после смерти автора, здесь можно вспомнить и новеллу "Волшебник", миниатюрную прото-"Лолиту", написанную по-русски осенью 1939 года и впервые опубликованную по-английски в 1989-м; три тома лекций по литературе, относительно которых в апреле 1972 года, после ревизии материалов, оставшихся от его преподавательской поденщины в американских университетах, Набоков дал категорическое распоряжение: "Мои университетские лекции (Толстой, Кафка, Флобер, Сервантес) слишком сыры и хаотичны и

© 1979, Vera Nabokov
© renewed 2001, Dmitri Nabokov
© 1979, Elena Wilson
© renewed 2001, Helen Miranda Wilson
© А. Ливергант. Перевод, составление, 2010
© Н. Мельников. Вступительная статья, комментарии, 2010

1. В настоящую подборку избранных писем Набокова и Уилсона не вошли 14 писем, переведенных С. Таском и опубликованных в журнале "Звезда" в 1996 г. Ряд писем дается в сокращении.

не должны быть опубликованы. Ни одна из них!"; наконец, черновик незаконченного романа "Лаура и ее оригинал", недавно изданный вопреки воле Мастера — после изощренной рекламной кампании, в ходе которой предприимчивый наследник около года держал в напряжении набокофилов, поливая их контрастным душем противоречивых заявлений, будто бы не решаясь расставить точки в тексте нехитрой арии: СЖЕЧЬ НЕЛЬЗЯ ИЗДАТЬ СЖЕЧЬ НЕЛЬЗЯ ИЗДАТЬ СЖЕЧЬ НЕЛЬЗЯ ИЗДАТЬ СЖЕЧЬ НЕЛЬЗЯ ИЗДАТЬ СЖЕЧЬ НЕЛЬЗЯ ИЗДАТЬ...

Среди этих замогильных публикаций, во многом обязанных своим появлением на книжном рынке желанию лишний раз заработать на громком имени, особое место занимает переписка Набокова с американским критиком Эдмундом Уилсоном (1895—1972). Замысел этого издания возник у Набокова еще в шестидесятые годы, когда отношения между корреспондентами уже разладились. Впервые он упомянул о нем в письме представителю издательства "Боллинген-пресс" (27 августа 1964 года). Сообщив о нежелании видеть Уилсона в роли рецензента готовящегося издания "Евгения Онегина", Набоков, тем не менее, выразил надежду, что их переписка "когда-нибудь будет опубликована"[1]. Как опытный художник Набоков осознавал, что она таит в себе потенциальные качества интригующего эпистолярного романа — с двумя яркими протагонистами, четкой композицией и драматичной историей о многолетней дружбе-вражде, в которой причудливо переплелись искренняя душевная приязнь и взаимное непонимание, благородный альтруизм и жгучая зависть, общность интересов и принципиальные разногласия едва ли не по всем основным аспектам политики, эстетики, художественного перевода, стиховедения, лингвистики...

* * *

История эта началась в августе 1940 года, когда русский литератор, только что прибывший в США и нуждавшийся в заработке, послал одному из ведущих американских критиков письмо с просьбой о встрече. Во время встречи, состоявшейся 8 октября, влиятельный критик, временно занимавший пост литературного редактора журнала "Нью рипаблик", заказал незнакомцу несколько рецензий на книги, так или иначе связанные с русской темой, — предложение, за которое тот с радостью ухватился (эти рецензии стали его первыми публикациями в Америке). Незнакомцем, как вы уже догадались, был Владимир Набоков (подозреваю, читатели "ИЛ" знают, кто это такой и почему в мае 1940 года он вместе с семьей бежал из Европы в Америку); заказчиком, естественно, — Эдмунд Уилсон: критик, публицист, драматург, поэт, прозаик, короче говоря, стопроцентный the man of letters, "литератор до мозга костей" (Б. Эпстайн), о котором хоте-

1. V. Nabokov. Selected Letters. 1940—1977 / Ed. by D. Nabokov and Matthew J. Bruccoli. — N. Y.: Harcourt Brace Jovanovich / Bruccoli Clark Layman, 1989, p. 358.

лось бы рассказать чуть более подробно, поскольку без этого не будет ясна прихотливая интрига эпистолярного романа о дружбе-вражде.

Родился он, как и Набоков, в богатой и просвещенной семье. Отец его был преуспевающим адвокатом, он занимал ряд государственных должностей в Нью-Джерси при тогдашнем губернаторе Вудро Вильсоне (будущем президенте США) и рассчитывал со временем стать членом Верховного Суда. Замыслам этим не суждено было сбыться, отчего Эдмунд Уилсон-старший, и без того склонный к меланхолии, впал в депрессию, отгородившись от других членов семьи, которая, увы, не была столь безоблачно счастлива, как набоковская. Той душевной гармонии между сыном и родителями, о которой вспоминал Набоков в "Других берегах", здесь не было и в помине. Мать Уилсона, судя по его воспоминаниям, была особой недалекой и приземленной. Именно ей он был обязан дурацким прозвищем — приторно сюсюкающим словечком "Bunny"[1]: она называла его так не только дома, но и в школе, что не могли не взять на вооружение ехидные одноклассники. С той поры кличка намертво прилипла к несчастному, и, как он ни боролся с ней, все его близкие знакомые — и в школе, и в Принстонском университете, и позже, когда он был признан "Плутархом Америки" (А. Кейзин), "самым умным и проницательным критиком нашей эпохи" (К. Госс), — величали его Bunny[2].

Как это часто бывает с ранимыми и одинокими детьми, маленький Эдмунд нашел единственную отдушину в запойном чтении и сделался страстным книголюбом, благо отец собрал огромную библиотеку. Вот вам, кстати, еще одна общая черта между будущими корреспондентами. Правда, в отличие от своего русского друга-врага, Эдмунд Уилсон никогда не увлекался спортом. "Рассказывают (это, возможно, апокриф, но весьма правдоподобный), что миссис Уилсон, обеспокоенная чрезмерной любовью сына к книгам, купила ему форму бейсболиста, надеясь, что игра со сверстниками отвлечет мальчика от книг. Эдмунд послушно облекся в бейсбольные доспехи, но через час мать обнаружила его сидящим под деревом — в полной форме и с книгой в руках"[3].

По окончании школы Уилсон, как и было положено молодому человеку его круга, совершил путешествие по Европе и продолжил образование в престижном университете. В Принстоне, где его однокашником был зна-

1. Кролик, зайчик, детка, лапка (*англ.*).
2. Вопреки утверждениям комментаторов к подборке из шестнадцати писем Набокова Уилсону (Звезда, 1996, № 4, с. 127), данное матерью прозвище не имело ни малейшего отношения к Братцу Кролику из "Сказок дядюшки Римуса" американского писателя Джоэля Чандлера Харриса. Как пишет в своей мемуарной книге "Прелюдия" сам Эдмунд Уилсон, когда он, будучи уже взрослым человеком, спросил мать, откуда она взяла это странное прозвище, та ответила, что когда он был младенцем, пухлым карапузом с карими глазками, то напомнил ей булочку с изюмом, "looked just like a plum-bun" (E. Wilson. A Prelude: Landscapes, Characters, and Conversations from the Earlier Years of My Life. – N. Y.: Farrar, Straus and Giroux, 1967, p. 43).
3. Д. Эпстайн. Крупнейший деятель американской литературы // Америка, 1967, № 127, с. 46.

менитый в будущем писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд, на Эдмунда Уилсона большое влияние оказал преподаватель французской и итальянской литературы (впоследствии — декан университета) Кристиан Госс, с которым он поддерживал дружеские отношения вплоть до смерти последнего. Своему принстонскому наставнику, приобщившему его к европейской литературе, Уилсон во многом обязан широтой литературных вкусов и впечатляющим диапазоном культурных интересов (от психоанализа и марксизма до русской литературы и Кумранских рукописей), который так поражал собратьев-литераторов, сравнивавших его с гигантской, не перестающей расти секвойей, величественно возвышающейся над ландшафтом американской литературы. Именно от Госса, поклонника Тэна и Ренана, Уилсон, по собственному признанию, воспринял "понимание того, чем должна быть литературная критика — историей человеческих понятий и представлений на фоне условий, определяющих их становление".

Однако окончательно сформировали характер и мировоззрение будущего "генерального секретаря американской литературы" (так шутливо стали называть Уилсона в шестидесятые) не просторные аудитории и тихие библиотечные залы Принстона, а больничные палаты и операционные американского госпиталя в Лотарингии. В 1917 году, после вступления США в Первую мировую войну, Банни, несмотря на отвращение к армейской службе, записался санитаром в воинскую часть, сражавшуюся во Франции. Он находился далеко от передовой и не подвергался непосредственной опасности, однако, ухаживая за ранеными и перетаскивая тела умерших, на всю жизнь проникся отвращением к войне и причинам, ее породившим. Позже он напишет рассказ, в котором передаст свои впечатления от увиденного главному герою и вложит в его уста клятву: посвятить себя служению "великим человеческим ценностям: Литературе, Истории, созданию Красоты, поискам Истины".

Этой "аннибаловой клятве" Эдмунд Уилсон старался следовать всю жизнь, полную духовных поисков и метаний, заблуждений и прозрений, пылких увлечений и тягостных разочарований.

После демобилизации Уилсон поселился в нью-йоркском районе Гринич-виллидж, в ту пору считавшемся центром интеллектуальной жизни Америки. Он стал сначала сотрудником, а вскоре и редактором самого модного тогда журнала "Vanity Fair", в котором печатались его друзья: прозаики Фрэнсис Скотт Фицджеральд и Джон Дос Пассос, поэты Джон Пил Бишоп и Стивен Винсент Бенэ, — и вскоре занял видное место среди нью-йоркских интеллектуалов. Отличаясь независимостью суждений и свободолюбием, в литературных джунглях Америки он держался "волком-одиночкой", в стороне от группировок и школ: "никогда не был прочно связан ни с одним из университетов, никогда не подчинял свое творчество каким бы то ни было методам и направлениям"[1] (хотя периодически отдавал

1. Д. Эпстайн. Крупнейший деятель американской литературы // Америка, 1967, № 127, с. 46.

дань то фрейдизму, то культурно-исторической школе) и благодаря твердому характеру "поставил себя в такое положение, что мог зарабатывать на жизнь, оставаясь свободным критиком и не идя при этом на интеллектуальный компромисс"[1].

Всеобщее признание ему принес сборник эссе "Замок Акселя" (1931), посвященный малоизвестным в тогдашней Америке авторам, которые ныне считаются классиками XX века: Полю Валери, Джойсу, Прусту, Йейтсу, Т. С. Элиоту, Гертруде Стайн и др. В книге, утвердившей за Уилсоном репутацию первоклассного критика, был дан глубокий анализ новейших течений европейской словесности и рассмотрены "проклятые" вопросы — о смысле литературного творчества и роли писателя в современном обществе. По твердому убеждению Уилсона, главное качество, присущее настоящему художнику, — "сила, опирающаяся на глубокое знакомство с жизнью, интерес и сочувствие к людям, тесная связь с общественным мнением и участие в общественной жизни через литературу". Выводы, которые предлагались читателям "Замка Акселя", не только помогли сформулировать эстетическое кредо Уилсона и определили характер всей его дальнейшей литературно-критической деятельности, но и заложили фундамент для будущих споров и конфликтов с Владимиром Набоковым, который, как мы помним, вставал на дыбы при малейшем упоминании об общественной жизни и неустанно повторял, что "к писанью прозы и стихов не имеют *никакого* отношения добрые человеческие чувства, или турбины, или религии, или духовные запросы, или 'отзыв на современность'".

Будь они знакомы в середине тридцатых, Набоков еще более резко отнесся бы к очередному увлечению Уилсона: марксизму.

Отгремел, отблистал суматошный и беспечный "век джаза", наступили "новые времена". Нагрянувшая Великая депрессия, установление в Европе фашистских (Италия, Германия) и авторитарных (Польша времен Пилсудского) режимов, а еще раньше — скандальное дело Сакко и Ванцетти, — всё это заставило изрядно "полеветь" многих американских интеллектуалов, усомнившихся в ценностях буржуазной демократии. Позитивным противовесом "загнивающему Западу" им виделся Советский Союз, в котором под мудрым руководством коммунистической партии созидался "дивный новый мир", где "так вольно дышит человек".

В "красные тридцатые" модное поветрие не минуло и Уилсона. Он сблизился с американскими коммунистами, начал активно штудировать работы Маркса и так увлекся красивой теорией, что решил проверить, как она воплотилась на практике в стране победившего сталинизма. В мае 1935 года, получив субсидию от фонда Гуггенхайма, с рекомендательным письмом Дос Пассоса, тогдашнего друга Советского Союза, Уилсон отправился за правдой и идеалами в страну большевиков, где пробыл несколько месяцев: осмотрел стандартный набор достопримечательностей Питера

1. Б. Бойд. Владимир Набоков: американские годы. — М.: Издательство Независимая газета; СПб.: Симпозиум, 2004, с. 26.

и Москвы, насладился мейерхольдовской постановкой "Пиковой дамы", поглазел на парад физкультурников и совершил хадж в Ульяновск, к домумузею В. И. Ленина. Конечно, Уилсон был слишком здравомыслящим человеком, чтобы во время своего паломничества не обратить внимания на уродства сталинского режима. Общаясь с аборигенами, он не мог не почувствовать, что они словно окутаны плотным облаком страха и подозрительности. Едва ли не единственным исключением оказался Дмитрий Святополк-Мирский, потомок Рюриковичей, белоэмигрант, ставший коммунистом и при посредничестве Максима Горького вернувшийся в Советскую Россию. Именно "товарищ князь" (ему оставалось гулять на свободе всего лишь два года) по-настоящему заинтересовал заморского гостя русской литературой и особенно творчеством Пушкина, что, кстати, и предопределило знакомство и многолетнюю дружбу Уилсона и Набокова.

Пожалуй, встреча с Мирским оказалась главнейшим событием в советской эпопее Уилсона[1]. Заниматься в Институте марксизма-ленинизма и изучать по первоисточникам историю русского революционного движения ему, несмотря на рекомендательные письма Дос Пассоса, не разрешили. Зато с той поры Америка получила одного из самых пылких исследователей и пропагандистов русской литературы (роль, которую до него, как правило, играли иммигранты-евреи, еще до революции покинувшие Россию в детском или юношеском возрасте: Александр Каун, Джон Курнос (Коршун), Авраам Ярмолинский).

Всерьез взявшись за изучение русского языка (которым, судя по его письмам Набокову и язвительным шуткам последнего, он овладел лишь пассивно, то есть мог читать, но не умел свободно на нем изъясняться), Уилсон, как никто другой из тогдашних американских интеллектуалов, углубился в русскую литературу и культуру. Уже через год после своего паломничества в СССР он написал прочувствованное эссе о Пушкине, в котором попытался "объяснить англоязычным читателям его роль и значение". Позже из-под его пера выйдут интересные эссе о Гоголе, Тургеневе и Чехове, а также статьи о неведомых даже культурному американскому читателю русских драматургах: Грибоедове и Сухово-Кобылине. К сожалению, в своем постижении богатств русской литературы он ограничился исследованием ее Золотого века и совершенно пренебрег веком Серебряным — возможно, под влиянием модного среди американских "большевизанов" Льва Троцкого, автора книги "Литература и революция", едва ли не всю

1. Еще одним достойным упоминания эпизодом стала встреча с советским поэтом и драматургом Сергеем Третьяковым, по просьбе которого Уилсон напишет статью о Хемингуэе. Она будет опубликована в двух вариантах: по-английски в леволиберальном журнале "Нью рипаблик", с которым Уилсон активно сотрудничал в тридцатые годы (New Republic, 1935, vol. 85. December 11, pp. 135–136), и по-русски – в "Интернациональной литературе" (1936, № 2, с. 151–154), предшественнике нашей "Иностранки". Вплоть до публикации двух рецензий на произведения Набокова в антологии "Классик без ретуши" – это была единственная публикация Уилсона на русском языке.

русскую литературу после 1905 года объявившего "упадочной". Не без влияния работ опального наркомвоенмора Уилсон написал нашумевшую в свое время книгу "К Финляндскому вокзалу" (1940), в которой проследил развитие социалистических идей от их зарождения в трудах итальянского философа Джамбаттисты Вико до их "торжества", ознаменованного приездом Ленина на Финляндский вокзал и победой Октябрьской революции.

В год издания книги жизнь Уилсона была отмечена двумя событиями: в декабре от сердечного приступа умер его давний приятель Скотт Фицджеральд; а еще раньше, в августе, к нему с просьбой о встрече обратился никому неведомый в Америке русский писатель, с которым ему суждено было подружиться, для которого он на многие годы стал наперсником, корреспондентом, соавтором, проводником в журнально-издательском лабиринте и конечно же вызывающим полемический задор оппонентом.

* * *

Обаятельный экспатриант с труднопроизносимой фамилией "Na-bo-kov" при первой же встрече произвел на Уилсона чарующее впечатление, которое еще больше усилилось, когда он прислал свои остроумные рецензии. В письме к старому другу и наставнику Кристиану Госсу (от 4 ноября 1940 года) Уилсон с восторгом отозвался о новом знакомом: "...Хочу также напомнить тебе о Владимире Набокове, про которого я рассказывал, когда был в Принстоне... Его английский превосходен (он учился в Кембридже). Я поражен великолепным качеством его рецензий. Он отличный малый и считается русскими самым значительным талантом среди эмигрантских писателей после Бунина, который старше его. Некоторые из его романов переведены и изданы у нас. Он хочет прочесть лекцию "Искусство и пропаганда в России" — его уже пригласили в Корнелл иУэллсли. Его воззрения — ни белоэмигрантские, ни коммунистические. Он из семьи либеральных помещиков, представлявших интеллектуальную вершину своего класса. Отец его был знаменитым лидером кадетской партии. Владимир сейчас в довольно сложном положении. У него жена, кажется, полуеврейка; он бежал из Франции, когда туда пришли немцы"[1].

Дальнейшие встречи еще больше усилили взаимную симпатию. За ужином у их общего знакомого, предпринимателя Романа Гринберга, будущего редактора "Опытов" и "Воздушных путей", лучших послевоенных изданий первой эмиграции, Уилсон предложил Набокову перевести на английский "Моцарта и Сальери", на что тот с энтузиазмом согласился. К тому времени, когда был опубликован их совместный перевод пушкинского шедевра[2], оба, по свидетельству наблюдавшей за ними Мэри Маккарти, тогдашней жены Уилсона, "просто души не чаяли друг в друге".

1. The Papers of Christian Gauss. – N. Y., 1957, p. 331.
2. New Republic, 1941, vol. 104, April 21.

Они сошлись: волна и камень, / Стихи и проза, лед и пламень / Не столь различны... Впрочем, на различия, не замедлившие проявиться при более близком общении, в медовые месяцы их знакомства они почти не обращали внимания — упиваясь интеллектуальной близостью и сходством литературных пристрастий, среди которых первое место занимали идолы европейского модернизма (Кафка, Джойс, Пруст) и классики русской литературы: Пушкин, Гоголь, Толстой, которых только-только открыл для себя любознательный Банни.

Уилсон нашел в Набокове не только остроумного и интересного собеседника, не только знатока русской литературы и талантливого переводчика, но и самобытного писателя, по масштабу равного Джозефу Конраду или Вирджинии Вулф (сравнения, от которых Volodya, наверное, передергивался). Он пришел в восторг от первого англоязычного романа Набокова "Истинная жизнь Себастьяна Найта" и написал к нему хвалебную рекламную аннотацию, что стало лучшей рекомендацией если не для широкого читателя, то для литературной элиты; а в 1944 году откликнулся доброжелательной рецензией на эксцентричную литературоведческую книгу "Николай Гоголь".

Напомню: по той роли, которую Уилсон играл в американской культуре тридцатых-сороковых годов прошлого века, его смело можно сопоставить с нашим "неистовым Виссарионом". Писатели с трепетом ждали его критических приговоров, которые могли создать или, наоборот, погубить их репутацию. Для новичков хвалебный отзыв Уилсона был равнозначен признанию в литературных кругах, разносная рецензия — равносильна черной метке. Например, литературные акции Сола Беллоу резко пошли вверх, после того как Уилсон одобрительно отозвался о его дебютном романе "Между небом и землей"[1]. А вот с писательницей Карсон Маккалерс, по воспоминаниям очевидцев, прямо посреди улицы случилась настоящая истерика, когда она купила номер "Нью-Йоркера" и прочла там разгромную рецензию Уилсона на ее роман "Гостья на свадьбе"[2].

"Генеральный секретарь американской литературы" был не только губителем, но и делателем репутаций, открывателем новых имен в отечественной литературе (своим успехом у публики ему во многом были обязаны такие писатели, как Хемингуэй, Дос Пассос и Скотт Фицджеральд); благодаря его советам, его хлопотам, его связям в издательствах и журналах перед никому не известным русским автором открылась дорога в мир большой литературы: художественные произведения и переводы Набокова стали печатать в ведущих американских журналах: "Атлантик", "Нью рипаблик", "Нью-Йоркер". Уилсон выступил не только в качестве внутреннего рецензента и редактора, тактично исправлявшего стилистические погрешности в

1. Doubts and Dreams // New Yorker, 1944, vol. 20, April 1, p. 78.
2. Об этом пишет биограф Э. Уилсона Джеффри Мейерс. См.: J. Meyers. Edmund Wilson. A Biography. – Boston, N. Y.: Houghton Miffin Company, 1995, p. 247.

первых англоязычных творениях Набокова (которые тот поначалу охотно представлял ему на суд), но и в роли своеобразного литературного импресарио: пристраивал рукописи, знакомил с издателями, защищал от мелочных придирок редакторов "Нью-Йоркера", пекущихся об интеллектуальном комфорте "среднего читателя" и оправдывающих свое существование топорной правкой набоковских текстов. Так, например, 12 ноября 1947 года он послал сердитое письмо литературному редактору "Нью-Йоркера" Кэтрин Уайт, в котором возмущался тем, как ее коллеги обошлись с набоковским рассказом "Знаки и символы": "Ума не приложу, как кто-то может не понять рассказа, подобно вашим редакторам, или возражать против отдельных подробностей; а тот факт, что по их поводу возникли сомнения, наводит на мысль о поистине тревожном состоянии: редакторском ступоре. Если редакция 'Нью-Йоркера' будет утверждать, что рассказ написан как пародия, я рассержусь точно так же, как, по твоим словам, рассердился Набоков (удивляюсь, что он до сих пор никого не вызвал на дуэль). <...> Ужасно, что рассказ Набокова, такой тонкий и ясный, в глазах редакторов 'Нью-Йоркера' превратился в заумный психиатрический опус. (Как могут они заявлять о том, что рассказ грешит литературщиной?) Он может показаться таким по сравнению с теми бессмысленными и пустоватыми анекдотами, которые выходят из-под механического пресса 'Нью-Йоркера' и о которых читатель забывает две минуты спустя после прочтения"[1].

Разумеется, не стоит закрывать глаза и на серьезные расхождения между новыми друзьями, которые выявились почти сразу же после знакомства и постепенно, исподволь стали подтачивать их дружескую идиллию.

"Большевизан" Уилсон, несмотря на антипатию к Сталину, еще не изживший многие розовые иллюзии[2], и стойкий антикоммунист Набоков не могли не разойтись на политической почве. Поводом стала уилсоновская книга "К Финляндскому вокзалу", не свободная от сентиментальной идеализации Ленина и "старых большевиков". Одолев ее, Набоков отправил автору пространное письмо (по сути, отповедь), в котором попытался разрушить розовый "Замок Эдмунда" и покусился на святая святых всех западных "левых": светлый лик вождя мирового пролетариата и его учение: "...Чудовищный парадокс ленинизма заключается в том, что эти материалисты считали возможным пожертвовать жизнью миллионов конкретных людей ради гипотетических миллионов, которые когда-нибудь будут счастливы"[3].

Вежливые возражения и оправдания Уилсона (в письме от 19 декабря 1940 года): мол, к Ленину Набоков пристрастен, поскольку видит в нем только чудовище, а не человека; в изображении Ленина "я пытался уйти от

1. E. Wilson/ Letters on Literature and Politics, 1912–1972. – N. Y.: Farrar, Straus and Giroux, 1977, pp. 409–410.
2. Неслучайно он негативно отозвался о публицистической книге "Возвращение из СССР" Андре Жида, чей разоблачительный пафос объяснял типичной для писателя "извращенностью и злобой" (Nation, 1937, vol. 145, November 13, p. 531).
3. Цит. по: Звезда, 1996, № 4, с. 114.

официальных стереотипов" и опирался на надежные источники: семейные мемуары, сочинения Троцкого, воспоминания Горького и Клары Цеткин — и вообще, "я не верю, что Горький, столь серьезно расходясь во мнениях с Лениным, мог бы дружить с человеком, которого Вы себе воображаете"[1], — эти и другие, по выражению Бориса Парамонова, "благоглупости высокопросвещенного западного интеллектуала" (например, уверенность в том, что Ленин был "великодушным гуманистом, свободолюбивым демократом и чутким критиком литературы и искусства") еще больше раззадоривали "аполитичного" Набокова и провоцировали его на новые публицистические атаки и разоблачения.

Помимо расхождений в политических вопросах, у корреспондентов все чаще стали выявляться противоположные взгляды на литературу и искусство. Уилсону, видевшему в литературе прежде всего "наиболее важное свидетельство человеческих дерзаний и борьбы", претил догматичный эстетизм Набокова, твердо убежденного в том, "что значимо в литературе только одно: (более или менее иррациональное) shamanstvo книги", что "хороший писатель — это в первую очередь шаман, волшебник". Постепенно выяснилось, что добровольному импресарио и литературному агенту, так помогавшему "дорогому Володе" освоиться в литературном мире Америки, не пришлись по душе многие его творения. Да, ему понравились "Истинная жизнь Себастьяна Найта", и, с оговорками, "Николай Гоголь", и англоязычная версия "Камеры обскуры" "Смех во тьме" (как позже — "Пнин" и "Убедительное доказательство"); однако он не оценил по достоинству один из лучших русскоязычных романов Набокова "Отчаяние" и не осилил "Приглашение на казнь", как и другой набоковский шедевр: "Дар". Первый американский роман Набокова "Под знаком незаконнорожденных" его и вовсе разочаровал, о чем он честно написал в пространном письме, представляющем собой въедливую рецензию (надо полагать, она уязвила самолюбие автора).

Со своей стороны, Набоков, известный чудовищным эгоцентризмом[2] и нелюбовью едва ли не к большинству общепризнанных литературных авторитетов (как классиков, так современников), не раз и не два расхолаживал "дорогого Банни" язвительными отзывами о его любимых писателях. Человек увлекающийся, привыкший щедро делиться с друзьями литературными впечатлениями и открытиями новых имен, Уилсон пытался приобщить Набокова к творчеству Фолкнера, Мальро, Томаса Манна, Т. С. Элиота и других именитых авторов, которых тот неизменно третиро-

1. The Nabokov–Wilson Letters / Ed. by Simon Karlinsky. – N. Y.: Harper & Row, 1979, p. 40. По остроумному замечанию Саймона Карлинского, уилсоновская аргументация равнозначна тому, как если бы историк христианства утверждал, что его суждения базируются на проверенных фактах, поскольку все сведения получены прямо из Ватикана (Ibid., p. 15).
2. Набоков не делал секрета из своего эгоцентризма. "Колоритнейшая фигура, такой же эгоцентрик, как я", – так в письме Уилсону от 24 ноября 1942 г. охарактеризовал он одного американского профессора (Цит. по: Звезда, 1996, № 4, с. 118).

вал как посредственностей, "банальных баловней буржуазии", представителей ненавистной ему литературы "Больших идей". (Столь же неприязненно отзывался Набоков и о многих классиках: Филдинге, Стендале, Достоевском, Тургеневе, Генри Джеймсе... Пожалуй, только в случае с Джейн Остин Уилсону удалось переубедить капризного приятеля, который, поворчав, все же включил ее произведения в свой университетский курс). Впрочем, восторженные эпитеты, которыми Уилсон награждал очередного фаворита (вроде того, что Мальро — "крупнейший современный писатель", или Фолкнер — "это самый замечательный современный американский прозаик"), не могли не казаться бестактными "самоупоенному виртуозу"[1], который хорошо знал, кто на самом деле "крупнейший современный писатель".

Не могли не раздражать Набокова самонадеянность и упрямство, которые его американский друг проявлял в тех вопросах, в которых был мало компетентен. Чего стоят, например, мягко говоря, странные теории Уилсона об особенностях русской версификации или трактовка пушкинского "романа в стихах", согласно которой главный герой злонамеренно убил своего юного приятеля. Поначалу Набоков, как мог, терпеливо разъяснял Уилсону его ошибки, посылая ему целые трактаты о русском стихосложении (письмо от 24 августа 1942 года) или включая в свои эпистолы миниэссе о неписаных правилах русских поединков (письмо от 4 января 1949-го). Однако у того появлялись все новые вопросы и замечания — по поводу этимологии и произношения тех или иных слов, по поводу "нелепых отклонений от нормы, которыми так богата русская грамматика"; он даже пытался писать по-русски — "А у нея по шейку паук"[2]; "Ну, завозы боку держали дам"[3], — комично перевирая слова, коверкая грамматику, путая латиницу и кириллицу, вместо "Бог" получая "Вог", что вряд ли всегда вызывало умиление у "глубокоуважаемого Вовы". И если в посланиях "дорогому Банни" он старался воздерживаться от чересчур резкой критики, то в письмах к общим знакомым порой недвусмысленно высказывал свое отношение к нему как к специалисту по русскому языку и литературе: "Прочел Эдмундову книжицу. Есть кое-что милое; <...> но все, что касается России, так вздорно, так с кондачка, так неправильно" (из письма Роману Гринбергу от 5 октября 1952 года)[4].

1. Характеристика, данная Набокову Исайей Берлиным в одном из писем к Эдмунду Уилсону. Цит. по: "ИЛ", 2009, № 4, с. 236.
2. NWL, p. 56.
3. Op. cit., p. 58.
4. Цит. по: "Дребезжание моих ржавых струн..." Из переписки Владимира и Веры Набоковых и Романа Гринберга (1940–1967) / Публ. Р. Янгирова // In memoriam: исторический сборник памяти А. И. Добкина. – СПб.; Париж: Феникс-Atheneum, 2000, с. 379. Еще до разрыва, в ходе переписки с представителями издательства "Боллинген-пресс", Набоков (в письме от 27 августа 1964 г.) возражал против того, чтобы Уилсон выступал в качестве рецензента "Евгения Онегина", поскольку "его русский – примитивен, а знание русской литературы поверхностно и нелепо" (V. Nabokov. Selected Letters, p. 358).

Вряд ли случайно, что так и не был осуществлен проект их совместной книги о русской литературе, которую они обсуждали на протяжении нескольких лет (и за которую даже получили аванс от издательства "Даблдей"); вряд ли случайно, что после сдержанно-уважительной рецензии на "Николая Гоголя" Уилсон не откликнулся в печати ни на одну из набоковских книг, вышедших в сороковые-пятидесятые, хотя порой грозился прочесть все сочинения приятеля и написать "эссе, которое, боюсь, разозлит его"[1].

В конце концов, даже любимый обоими Пушкин стал для них яблоком раздора: все чаще разговоры о нем выливались в ожесточенные прения относительно того, знал ли он английский язык и как правильнее перевести ту или иную строчку из "Евгения Онегина".

К середине 50-х напряжение между друзьями нарастает, в некогда прочном здании их дружбы появляется все больше трещин; письма все гуще щетинятся колкостями и упреками; за дежурными комплиментами в них то и дело сквозит холодок взаимного раздражения и непонимания.

Вероятно, по мере того, как Набоков обретал репутацию крупнейшего мастера англоязычной прозы, оставляя в тени своего друга и благодетеля и всё обиднее подтрунивая над ним в письмах, в чувства Уилсона к "дорогому Володе" стали примешиваться писательская ревность и элементарная зависть[2].

Взаимное охлаждение усилилось после того, как Уилсон, проницательный критик и, кстати, автор сборника новелл "Воспоминания об округе Геката", запрещенного за "аморальность", счел "Лолиту", любимое детище Набокова, самым слабым его романом[3]. Феноменальный успех "Лолиты", принесшей своему создателю богатство и славу, ознаменовал начало конца их многолетней дружбы. Уилсон не простил Набокову его триумфа. Тот, в свою очередь, был недоволен восторженной уилсоновской статьей о "Докторе Живаго". Уилсон имел наглость назвать "одним из величайших явлений в истории человеческой литературы и нравственности"[4] роман, который вытеснил "бедную американскую девочку" с первого места книжного хит-парада за 1959 год и по поводу которого "мистер-'Лолита'" (как окрестили Набокова журналисты) неустанно изливал желчь в письмах и интервью: "Доктор Живаго — произведение удручающее, тяжеловесное и мелодраматичное, с шаблонными ситуациями, бродячими разбойниками и тривиальными совпадениями"[5]; "неуклюжая и глупая книга, мелодраматическая дрянь,

1. NWL, p. 306.
2. Во всяком случае, на этом настаивает набоковский биограф Брайан Бойд. См.: Б. Бойд. Владимир Набоков: американские годы. С. 590.
3. Примечательно, что Уилсон был в некотором роде повитухой "Лолиты": в июне 1948 г. он прислал Набокову парижское издание "Этюдов сексуальной психологии" Хэвлока Эллиса, где в качестве приложения была опубликована исповедь педофила, которая, скорее всего, была учтена при написании будущего бестселлера.
4. Doctor Life and His Guardian Angel // The New Yorker, 1959, November 18, pp. 213–38.
5. Author of "Lolita" Scoffs at Furore over His Novel // Niagara Fall Gazzette. 1959. January 11, p. 10-B.

фальшивая исторически, психологически и мистически, полная пошлейших приемчиков..."[1]; "среднего качества мелодрама с троцкистской тенденцией"[2] — и т. д.

После переезда Набокова в Европу влиятельный критик и прославленный романист формально поддерживали приятельские отношения: изредка обменивались письмами и поздравительными открытками, в которых, однако, не осталось и следа от интеллектуального блеска и сердечного тепла, согревавшего послания "ранней, светозарной эры" их отношений. Некогда бурный поток их переписки мельчает и вырождается в хилый ручеек.

В январе 1964-го Уилсон навестил Набокова в его шикарной швейцарской резиденции "Монтрё-палас", и это свидание, казалось бы, воскресило былую приязнь, однако последовавшее вскоре "L'affaire Onéguine" поставило крест на их дружбе.

* * *

Набоков и Уилсон уже давно ломали копья по поводу пушкинского "романа в стихах", но одно дело — приватные споры где-нибудь на крылечке загородного коттеджа, за бутылкой шампанского, другое — публикация придирчивой статьи, в которой объявлялось, что как переводчик и комментатор "Евгения Онегина" Набоков потерпел сокрушительное фиаско[3].

Разгромная рецензия Уилсона на "абсолютно буквальный" набоковский перевод "Онегина" вызвала раздраженный ответ уязвленного переводчика. Защищая "своего бедного монстра", он выразил недовольство "странным тоном статьи", назвал ее "смесью напыщенного апломба и брюзгливого невежества"[4] и с легкостью уличил рецензента в нескольких языковых ошибках, сведя дискуссию к тому, что тот плохо знал русский язык (последнее было верно, хотя и не делало менее ухабистой ту "честную дорожную прозу", в которую ради чистоты буквалистской теории был превращен поэтический шедевр Пушкина). "Охочий до журнальной драки" Кролик показал волчьи зубы и вступил в полемику, которая вскоре перекинулась со страниц "Нью-Йорк ревью оф букс" на другие англоязычные издания и чем дальше, тем больше напоминала "Шоу Щекотки и Царапки", а не те "жаркие, блещущие остроумием споры", которые лет двадцать назад "лишь вдохновляли этих двух упрямых, воинственных и яростно независимых интеллектуалов"[5].

1. Из письма Роману Гринбергу от 21 сентября 1958 г. Цит. по: Друзья, бабочки и монстры. Из переписки Владимира и Веры Набоковых с Романом Гринбергом (1943–1967) / Публ. Р. Янгирова // Диаспора: новые материалы. – Париж; СПб., 2001, с. 524.
2. Гершон Свет. Встреча с автором "Лолиты" // Новое русское слово, 1961, 5 февраля, с. 8.
3. E. Wilson. The Strange Case of Pushkin and Nabokov // New York Review of Books. 1965. July 15, pp. 3–6; рус. перев. см.: Классик без ретуши. С. 387–392.
4. New York Review of Books, 1965, August 26, p. 25–26.
5. Б. Бойд. Владимир Набоков: американские годы. С. 29.

Разгоревшаяся в англо-американской прессе литературная война (в которой многие авторитетные литературоведы встали на сторону Уилсона) Набокова явно не вдохновляла. Статью Уилсона (скажем откровенно, несмотря на ошибки в частностях, справедливую в целом) он воспринял как предательство и личное оскорбление — в то время как тот искренне "считал свою рецензию здоровой и честной критикой, а вовсе не злобным поклепом"[1]. Сказался ли тут "феноменальный эгоцентризм"[2] Набокова, или здесь особенно ярко проявились принципиальные различия в том, как относятся к литературной критике западные и русские литераторы, — это уже не важно. Главное, что после тех оплеух, которыми противники обменялись в ходе "Онегинской" контроверзы, их дружба приказала долго жить. Вместе с перепиской...

Правда, Уилсон довольно неуклюже попытался помириться и пару раз одарил оппонента рождественскими открытками, в которых выражал сожаление по поводу завершения полемики, доставившей ему "столько наслаждения". Набоков, оказавшийся более тонкокожим, чем, вероятно, рассчитывал Уилсон, "ответил с натянутой вежливостью: 'Хотя мне наша "полемика" отнюдь не доставила того наслаждения, которое, как ты говоришь, она доставляла тебе, я хотел бы поблагодарить тебя за поздравление с Рождеством'"[3]. Когда же упрямый Банни через их общего приятеля Романа Гринберга обратил внимание обиженного пушкиниста на обстоятельную (и куда более критичную, чем уилсоновская) рецензию гарвардского профессора Александра Гершенкрона[4], развенчавшего буквалистскую теорию Набокова и раздраконившего его перевод "Онегина", тот прочитал "статейку" и ответил, отбросив всякую вежливость: "...а Уилсону, подсунувшему ее тебе, передай, что он прохвост"[5].

На несколько лет экс-друзья прекратили всякие контакты. Набоков, ставший международной знаменитостью, одно за другим издавал по-английски свои довоенные произведения и все прочнее утверждался на литературном Олимпе в статусе живого классика. Уилсон, поостывший к русской литературе, да и к изящной словесности вообще, все так же был по-кроличьи плодовит и много печатался, но обращался преимущественно к социокультурным и общественно-политическим темам. Кстати, в области политики они по-прежнему занимали прямо противоположные позиции. Уилсон, всегда питавший антипатию к американскому истеблишменту, горячо протестовал против вьетнамской авантюры США и, не стесняясь в выражениях, отказался от предложения Линдона Джонсона участвовать в

1. Б. Бойд. Цит. соч. С. 594.
2.. Г. Струве. Русская литература в изгнании. — Париж; М.: YMCA-Press; Русский путь, 1996, с. 288.
3. Б. Бойд. Цит. соч. С. 594.
4. A. Gerschenkron. A Manufactured Monument? // Modern Philology. 1966. May, pp. 336–347. Рус. перев. см.: Классик без ретуши. С. 396–416.
5. Из письма Р. Гринбергу от 18 февраля 1967. Цит. по: Друзья, бабочки и монстры... // Диаспора. С. 551.

официальной встрече. Напротив, Набоков, лишь два раза выбравшийся из своего монтрёйского убежища в США, исправно играл роль американского патриота в многочисленных интервью, выражая недоверие к вьетнамским репортажам Мэри Маккарти[1] и сожалея о "позиции недалеких и бесчестных людей, которые смехотворным образом сравнивают <...> Освенцим с атомной бомбой и безжалостный империализм СССР с прямой и бескорыстной помощью, оказываемой США бедствующим странам"[2]. В октябре 1965 года он даже послал верноподданническую телеграмму заболевшему Линдону Джонсону с пожеланием "полного выздоровления и скорейшего возвращения к той восхитительной работе, которую Вы делаете" (автор послания не уточнил, имеет ли он в виду бомбежки Северного Вьетнама или интервенцию в Доминиканскую республику)[3].

* * *

После долгой паузы Набоков, видимо, оправившийся от болезненной перепалки по поводу "Евгения Онегина", попытался возобновить переписку и, что называется, протянул Уилсону руку дружбы: в марте 1971 года он послал ему любезное письмо, на которое тот откликнулся столь же теплым посланием. Казалось бы, согласие между двумя незаурядными личностями восстановится и после бурных перипетий сюжет их долгого эпистолярного романа разрешится благополучной развязкой. Увы, этого не произошло. "Контрастно-тематическая" фуга их переписки, в которой два голоса на равных вели свои партии, увенчалась не гармоничным синтезом, а зловещим диссонансом. Дневниковый отрывок из книги Уилсона "На севере штата Нью-Йорк. Записки и воспоминания" (1971), в котором он описал визит к Набоковым в мае 1957 года и дал нелицеприятную характеристику своему злейшему другу в терминах фрейдовского психоанализа, сделал примирение невозможным. Монтрёйский небожитель, болезненно реагировавший на любые попытки копаться в его сокровенном "я", обрушился на непрошеного психоаналитика в гневном письме, напечатанном в "Нью-Йорк таймс бук ревью". Как и в середине 60-х, в эпоху "L'affaire Onéguine", их переписка попала на всеобщее обозрение. Правда, у тяжело больного Уилсона уже не было сил для борьбы, и он ответил кратко (и, на мой взгляд, достойно), процитировав фразу, с которой Дега обратился к англо-американскому художнику Уистлеру: "Ты ведешь себя так, как будто у тебя нет таланта"[4].

Набоков, конечно, не был лишен таланта. Не был он и настолько злопамятным и жестокосердым, чтобы бесконечно питать недоброе чувство к давнему другу и покровителю. Весной 1974 года, спустя два года после

1. Old Magician at Home // New York Times Book Review, 1972, January 9, p. 2.
2. Из интервью журналу "Лайф". Цит. по: Набоков о Набокове. С. 163.
3. V. Nabokov. Selected Letters, p. 378.
4. New York Times Book Review, 1971, November 7, p. 49.

смерти Уилсона, он по просьбе вдовы, собиравшей корреспонденцию мужа, перечитал всю многолетнюю переписку, расчувствовался и предложил издать ее отдельным томом. Договорившись с Еленой Уилсон, в 1976 году Набоков обратился в издательство "Макгроу-Хилл" и даже нашел редактора будущей книги, выдающегося литературоведа Саймона (Семена Аркадьевича) Карлинского (1924—2009), автора блистательных эссе о набоковской прозе. Занятый другими проектами, Карлинский отложил работу над изданием и смог приступить к ней лишь после того, как заказчик отступил "в ту область ночи, откуда возвращенья нет" и оба корреспондента наконец-то встретились и, возможно, примирились — хотя бы и по ту сторону "дымчатого занавеса".

Под присмотром двух вдов, вымаравших наиболее резкие замечания о современниках (в частности, пренебрежительные отзывы Набокова о Солженицыне, Василии Яновском и американском журналисте Солсбери), Карлинский подготовил к печати внушительный том из 264 писем, снабженный вдумчивым предисловием и содержательными примечаниями[1]. Впрочем, этот эпистолярный корпус оказался неполным: после смерти обеих вдов Карлинскому с помощью набоковского биографа Брайана Бойда удалось наскрести по архивным сусекам ни много ни мало еще пятьдесят девять писем, которые были включены в исправленное издание, вышедшее в 2001 году.

"Переписка Набокова—Уилсона" вызвала разноречивые отклики. Некоторые англоязычные рецензенты восприняли ее лишь как любопытную хронику противостояния двух капризных "литературных примадонн"[2], "поле битвы тщеславия, художнического самомнения и педантизма"[3]. Протоирею Александру Шмеману она показалась "неинтересной, поверхностной", отмеченной чрезмерной "одержимостью литературой"[4]. Не слишком лестно отозвался о ней известный славист Жорж Нива: "Я прочел эти письма сразу по выходе в свет первого английского издания 1979 года, и у меня осталось неприятное впечатление: к самолюбованию корреспондентов вскоре присоединяется глухое взаимное непонимание, которое постоянно усугубляется новыми недоразумениями. Особенно раздражал меня Уилсон: он идиотски пытался учить Набокова русской просодии и <...> так часто оказывался, сам того не желая, в роли высокомерного невежды, что вся переписка показалась мне чем-то на редкость негармоничным"[5].

1. NWL / Ed. by Simon Karlinsky. — N. Y.: Harper & Row, 1979.
2. A. L. Rowse. Two Literary Cats // Books and Bookmen, 1980, vol. 25. № 5, p. 14.
3. L. Edel. Rec.: The Nabokov—Wilson Letters / Ed. by Simon Karlinsky. — N. Y.: Harper & Row, 1979 // New Republic, 1979, May 26, p. 35.
4. А. Шмеман. Дневники 1973—1983. — М.: Русский путь, 2007, с. 462.
5. Ж. Нива. Возвращение в Европу. Статьи о русской литературе. — М.: Высшая школа, 1999, с. 300.

Тем не менее "Переписка Набокова—Уилсона" прочно вошла в культурный обиход Запада. Она не только была растащена на цитаты профессиональными "набокоедами" и стала незаменимым сырьем для многочисленных диссертаций по творчеству Набокова, но и была инсценирована в нью-йоркском театре, причем роль Владимира Набокова играл его сын.

К сожалению, "Переписка" до сих пор не переведена на русский полностью. Многие годы российские читатели могли судить о ней разве что по пристрастным пересказам набоковских биографов. Хочется верить, что наша публикация станет решающим шагом к полной русификации эпистолярного романа между знаменитыми литераторами, друзьями-антагонистами, которые, несмотря на этнокультурные стереотипы и всплески себялюбия, достаточно долго поддерживали взаимообогащающий диалог и в меру своих сил способствовали перекрестному опылению двух великих культур.

Время приглушило остроту их разногласий по политическим вопросам; их литературные симпатии и антипатии у каждого из нас могут вызвать недоумение, а споры по поводу русской просодии — скуку. Однако для любознательного читателя переписка Набокова—Уилсона представляет несомненный интерес — и как захватывающий рассказ о вживании выдающегося русского писателя в американскую культуру, и как экскурс в интеллектуальную жизнь Америки сороковых-пятидесятых годов прошлого века. К тому же запечатленная в ней драма зарождения, расцвета и угасания дружбы двух незаурядных личностей будет актуальна во все времена и привлечет не одних поклонников Набокова, но каждого, кто хоть один раз в жизни познал хрупкое счастье дружеской приязни и вкусил сладкую горечь ее увядания.

Профессор Карпович
Уэст Уордсборо
30 августа 1940

Мой дорогой мистер Уилсон,

написать Вам мне посоветовал мой двоюродный брат Николай. Сейчас я живу у друзей в Вермонте (здесь в основном лишь золотарник да ветер), но в середине сентября буду в Нью-Йорке. Мой адрес: 1326, Мэдисон-авеню, тел. At. 97186.

С искренним приветом[1]

В. Набоков.

---

40 Ист-49-я стрит
Нью-Йорк
12 ноября 1940

Дорогой Набоков,

рецензия на Руставели великолепна и очень занимательна. В дальнейшем, когда будете писать рецензии в "Нью рипаблик", ставьте сверху, как у нас принято, название книги и автора. А также число страниц и стоимость издания. Вкладываю для примера рецензию. И еще одно: пожалуйста, воздержитесь от каламбуров, к чему, я вижу, у Вас есть некоторая склонность. В серьезной журналистике они здесь не в чести. Кроме того, выражение I for one[2] в рецензиях обычно не употребляется. Лучше просто сказать: I или, если хотите выразиться сильнее, for myself либо for my part.

Позвоните — можем опять вместе пообедать. Надеюсь, вы на меня не в обиде за то, что я пошел к Гринбергам, хотя Вы меня пригласили раньше. В Нью-Йорке мы обычно бываем только по средам, и я счел, что у Гринбергов увижусь одновременно и с Вами, и с Истменами. Перед Гринбергами я в долгу: его мать и сестра очень тепло приняли меня в Москве.

Искренне Ваш

Эдмунд Уилсон.

---

1. Встречающиеся в письмах Набокова и Уилсона русские слова и предложения даются курсивом, а английские слова и выражения, выделенные авторами курсивом, даются прямым шрифтом вразрядку. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Что до меня (*англ.*).

40 Ист-49-я стрит
Нью-Йорк
12 декабря 1940

Дорогой Набоков,

как идут дела с "Моцартом и Сальери"? Прикладываю чек в качестве аванса за эту работу. Ваше *Приглашение на казнь* меня озадачило, и, боюсь, пока не подучу русский, лучше мне довольствоваться Толстым. Это все равно что сразу после Теккерея взяться за Вирджинию Вулф.

С наилучшими пожеланиями

Эдмунд Уилсон.

1941

Уэллсли-колледж
Уэллсли, Массачусетс
27 марта 1941

Дорогой Уилсон,

Вы — истинный чародей. Я чудесно пообедал с Уиксом, он принял мой рассказ, а заодно и меня с трогательной теплотой. Я уже прочел гранки и получил предложение написать им еще несколько маленьких шедевров.

Рассчитывал лицезреть Вас под раскидистыми дубами Новой Англии. Где Вы? Здешняя атмосфера временами напоминает мой дорогой старый колледж в Англии (Уикс, кстати, тоже учился в Тринити), где я был столь несчастлив — в перерывах между светлыми промежутками.

Мои лекции пользуются обнадеживающим успехом. Я между делом разделался с Максимом Горьким, мистером Хемингуэем и еще некоторыми, изувечив их трупы до неузнаваемости. Здешние профессора очаровательны. В своих лирических мемуарах мой предшественник, князь Сергей Волконский, преподававший здесь в 1894 году, вспоминает о "переливающемся девичьем смехе" и пр.

29-го отправляюсь в театр к Чехову в Риджфилд, Коннектикут, и в Нью-Йорк вернусь 4-го.

В надежде где-нибудь встретиться с Вами в самом скором времени.

Дружески Ваш

В. Набоков.

9 апреля 1941

Дорогой Кролик,

вот теперь всё безукоризненно: Ваш Моцарт и мой Сальери — единое целое. Смущает меня только одно: почему в конце, рядом с моим именем нет Вашего? В таких переводах самое важное — окончание, последний штрих, а ведь он-то Ваш. Не поставите ли и свою подпись тоже?

Готовясь к лекциям по русской литературе, я был вынужден перевести с десяток пушкинских стихотворений, а также несколько отрывков. Не знаю, чего стоят мои переводы, но моему чувству пушкинской поэзии они отвечают больше, чем все на сегодняшний день существующие. Посылаю Вам одно стихотворение и еще три. В последней строке "Поэта" я попытался передать фонетический эффект "широкошумных дубрав".

Да, я очень досадовал, что не простился с Вашей женой, а все из-за Вашей энергии, сбившей меня с толку. На днях побывал у Найджела Денниса; мы отлично поговорили, он дал мне книгу на рецензию ("Шекспир и 'Глобус'"). И договорились насчет статьи ("Искусство перевода").

В гранках править было нечего — разве что не хватало Вашей подписи, но как с этим быть — ума не приложу.

Искренне Ваш

Владимир.

Уэллфлит, Масс.
27 апреля 1941

Дорогой Владимир,

Ваш перевод "Анчара" — лучший перевод пушкинского стихотворения и один из лучших поэтических переводов, какие мне приходилось видеть. Единственное, с чем бы я поспорил, это His neighbours в последней строке. Не лучше ли The dwellers? "Поэт" также превосходен.

По-моему, оба эти стихотворения Вам обязательно надо напечатать. Если хотите, я пошлю их в "Партизэн ревью", да и Клаус Манн с удовольствием их возьмет. Полагаю, что он заплатит Вам больше, чем "П. Р.". Есть еще "Кеньон ревью" — буду рад послать Ваши переводы и туда тоже. У Вас есть сжатость и энергия языка, чего обычно переводчикам так не хватает.

Мы купили здесь дом, но, чтобы жить в нем, его еще предстоит привести в порядок. Надеюсь, что Вы у нас обязательно побываете. Наши лучшие пожелания Вашей жене и всяческих успехов в Ка-

лифорнии. Боюсь только, что Калифорния Вас околдует и Вы больше никогда не вернетесь обратно — это худшее, что может произойти в Америке с талантливыми европейцами. Взять, к примеру, Хаксли и Ишервуда (о Хаксли, впрочем, я никогда не был особенно высокого мнения). Это ведь все равно что очутиться в волшебной стране Йейтса или оказаться под Венусбергом. Погода у нас который день стоит прекрасная, и остальной мир мнится поэтому каким-то нереальным. Так что не забывайте про Восточное побережье.

Всегда Ваш

Эдмунд У.

P. S. Совсем забыл: на Вашем месте я бы, не стесняясь, попросил Уикса заплатить за Ваш рассказ, не откладывая, — я, во всяком случае, всегда так поступаю. Объясните ему, что в мае Вы уезжаете и хотели бы получить деньги до отъезда. Мне говорить ему об этом не хочется: я и без того постоянно кого-то "Атлантику" рекомендую, и Уиксу может не понравиться, если я вдобавок стану указывать ему, когда следует платить авторам.

ЭУ.

---

35 w. 87
29 апреля 1941

Дорогой Кролик,

очень рад, что Вам они [переводы пушкинских стихов. — *А. Л.*] понравились. Через год-другой с такого рода вещами справляться буду гораздо лучше.

Да, журнал Клауса Манна, думаю, — мысль хорошая. Спрошу, не заинтересуют ли его мои переводы.

Уиксу я написал, и он прислал мне 150. Очень был тронут, что Вы помните про мои надобности.

Еще два рассказа (более длинные) сейчас переводятся для "Атлантик мансли", и дело вроде бы спорится. Хотите смешную историю: Рахманинов обратился ко мне с просьбой перевести на английский язык слова его кантаты "Колокола". В действительности речь идет о несуразном переводе Бальмонта "Колоколов" Эдгара По. Но поскольку стихотворение По на рахманиновскую кантату не ложится, я должен переделать оригинал в соответствии с околесицей Бальмонта. Результат будет, подозреваю, устрашающий. Я также перевел для своих лекций несколько стихотворений Лермонтова, придется в скором времени взяться и за Тютчева. Роман, который я сочинял сразу по-английски, я послал в "Нью дирекшнз", но, боюсь, он им не подойдет. В Музее я описал несколь-

ко новых видов бабочек и бестрепетно вырвал восемь зубов — впрочем, стоило действию наркоза закончиться, как боль сделалась невыносимой. Так что, как видите, баклуши я не бью, и если столь подробно говорю о своих делах, то лишь потому, что Вы — мой великий покровитель.

Насчет Запада, думаю, Вы совершенно правы. Я, однако, обязуюсь вернуться сюда в октябре или даже раньше. Даже без постоянной работы (которой у меня никогда не было) эту зиму мне кое-как продержаться удалось. Волнует меня, собственно, только одно: за вычетом нескольких тайных визитов, я совершенно прекратил регулярные сношения со своей русской музой, а ведь я слишком стар, чтобы измениться конрадикально (неплохо, согласитесь?), да и Европу я покинул посреди огромного русского романа, который, если не выпустить его наружу, начнет вскоре из меня сочиться.

Удастся ли нам увидеться до моего отъезда? Стартую я 26 мая с женой, ребенком и тремя сачками для ловли бабочек.

Дружески жму Вашу руку.

Ваш В. Набоков.

Стэнфордский университет
Факультет славистики
Пало-Альто, Калифорния
25 мая 1941

Дорогой Кролик,

завтра утром отбываю в Калифорнию с сачками, рукописями и новенькой вставной челюстью. Вернусь в сентябре. Не завернете ли летом в Пало-Альто?

Посылаю очередной перевод: монолог Скупого рыцаря. На этот раз я постарался передать пушкинский ритм как можно точнее. Вплоть до звукоподражания. Так называемая alliteratio pushkiniana[1]. Для Манна этот монолог слишком велик, и я плохо себе представляю, куда бы его пристроить. Не могли бы Вы быть его крестным отцом — если, конечно, сочтете перевод приемлемым. И буду ужасно признателен за поправки и замечания. Вы что, выпускаете очередное литературное приложение?

Трагедия сборов достигла своего апогея; комедия же наступит, когда мы обнаружим — после того как все чемоданы и саквояжи будут забиты до отказа и заперты, — что из угла на нас угрюмо смотрят забытые детские кубики и мой Даль.

1. Пушкинская аллитерация (*лат.*).

Крепко жму Вашу руку. Наши наилучшие пожелания Вашей жене.

Ваш

В. Набоков.

Уэллфлит, Масс.
20 октября 1941

Дорогой Владимир,

только что прочел "Себастьяна Найта", которого получил от Лафлина в корректуре, и он совершенно обворожителен. Просто поразительно, какая у Вас прекрасная, ни на кого не похожая, искусная английская проза. Вы и Конрад — единственные иностранцы, овладевшие литературным английским в такой степени. Вся книга сделана превосходно, но особенно мне понравилось то место, где рассказчик разыскивает русских женщин, с которыми С. Найт мог бы сойтись в санатории. Еще понравились описание книги Найта про смерть и похожая на сон одна из последних глав книги, где рассказчик едет в Париж на поезде (равно как и длинный сон рассказчика). Мне сразу же захотелось прочесть Ваши русские книги, и я возьмусь за них, как только почувствую себя немного увереннее в *русском языке*. <...>

Может, приедете всей семьей на День благодарения (третий четверг в ноябре) и останетесь еще на некоторое время? Очень рады были бы вас видеть — места у нас всем хватит. Если же на праздники вам нужно будет остаться в Уэллсли, приезжайте на выходные — в любое время после первого ноября. Впрочем, еще до праздников мы можем оказаться в Бостоне в воскресенье, и тогда нам ничто не помешает вместе пообедать. <...> Я, собственно, так и не сказал Вам, отчего мне так нравится Ваша книга. Она написана на высоком поэтическом уровне — Вы сумели стать первоклассным англоязычным поэтом. Уж не припомню, когда бы новая книга так брала меня за живое, так увлекла, как Ваша.

Наши лучшие пожелания вам обоим.

Всегда Ваш

Эдмунд Уилсон.

Уэллфлит, Масс.
3 декабря 1941

Дорогой Владимир.

(1) Было бы неплохо, если бы Ваш агент сообщил театральному агенту, что, насколько Вам известно, обычный гонорар в таких случаях составляет $ 100 в месяц, и поэтому Вы считаете, что долж-

ны получить за год по меньшей мере $ 500. Разумеется, в этом случае Вы рискуете потерять $ 200 — но ведь это всегда лотерея.

(2) Мои похвалы едва ли способствуют тому вниманию, которое Вы, судя по всему, к себе привлекаете. Я расхваливал многих, но им это нисколько не помогало. Думаю, Ваш быстрый успех вызван исключительно Вашим литературным дарованием. Случай и в самом деле очень странный — особенно если учесть, что по своему складу Вы совершенно не вписываетесь в современную литературную моду.

(3) Объяснить, что собой представляет Генри Джеймс, очень непросто. Когда я впервые прочел его в колледже, он мне не понравился; у него есть серьезные недостатки, и все же он — я в этом убежден — великий писатель. Как ни странно, сегодняшние молодые люди читают его запоем. С другой стороны, очень трудно уговорить вновь за него взяться тех, у кого он с первого раза "не пошел". Любопытно, произведет он на Вас впечатление или нет. Я бы на Вашем месте попробовал сначала прочесть его ранние вещи: "Американца" или "Вашингтон-сквер", а уж потом что-то из поздних — скажем, "Золотую чашу". Его проза страдает некоторой вялостью, расслабленностью — исключение составляют разве что книги, написанные в середине жизни: "Что знала Мейзи", например. Все остальные романы, которые я Вам рекомендовал, относятся ко второму периоду.

Всегда Ваш

Эдмунд У.

Мне очень нравится его автобиография в стиле Пруста: "Маленький мальчик и другие. Заметки сына и брата".

1942

Уэллфлит, Масс.
3 февраля 1942

Дорогой Владимир,

не могли бы Вы переслать это письмо Алданову, если знаете его адрес? Он прислал мне кое-что из своих сочинений, а я его адрес потерял. Вы видели неглупую рецензию Кэй Бойл в "Нью рипаблик" на Вашу книгу? Только что прочел "Смех во тьме". Роман мне понравился, если не считать малооправданного финала. Я подумал было, что незадачливый герой научится на слух улавливать цвет и распознает местоположение девушки, "услышав" ее красное платье или какой-то другой предмет туалета. Вы эту книгу сами переводили? Перевод очень хорош. Я заметил, кстати, что в одном месте кончик сигары вы переводите tip. Держу пари, что soulful conver-

sation, которую ведет с девушкой в начале романа хозяйка квартиры, — это не что иное, как буквальный перевод "душевной беседы".

Всегда Ваш

Эдмунд Уилсон. <...>

---

13 мая 1942

Дорогой Кролик,

обидно, что Корнелл Вас отклонил. Моя позиция в Уэллсли, к сожалению, — явление онтогенетическое, а не филогенетическое. Создана она была специально для меня. У меня было всего-то с десяток лекций, за которые мне платили 3000 долларов в год. Недавно несколькими профессорами была предпринята героическая попытка оставить меня еще на один год или, по крайней мере, учредить курс по русской литературе, но все эти усилия кончились ничем. Причина та же: отсутствие средств. Сюда я приехал, сознавая, что у моей работы будущего нет, но, как и у всякого человека, у меня зародилась тайная надежда, что дело как-нибудь да сладится. Не сладилось — и почва начинает уходить из-под ног.

Операция, которую перенес Дмитрий, оказалась серьезнее, чем мы предполагали. Вчера он вернулся домой и должен будет теперь некоторое время полежать в постели. Вы видели в последнем "Лайфе" на редкость непристойную фотографию хорошенькой русской балерины (по-моему, Тумановой)? Она стоит, опершись на голову слона, а тот продел свой хобот между ее голых ляжек и обвил их самым что ни на есть фаллическим образом.

Надеюсь Вас скоро повидать, дорогой друг.

Ваш Набоков.

Здешний преподаватель французского языка, по совместительству астролог, только что сообщил мне, что Гитлер умрет 23 мая. Ждать, стало быть, осталось десять дней.

Уэллфлит, Масс.
22 мая 1942

Дорогой Владимир,

"Весну в Фиальте" следует первым делом послать в "Нью-Йоркер". Напишите У-му Максвеллу, что это я Вас надоумил. Боюсь только, им рассказ покажется слишком длинным, но, если Вы его сократите, они, может статься, его и возьмут. Если же нет — попробуйте отдать его в "Харперс-базар" (572 Мэдисон-авеню, Нью-

Йорк). Напишите Мэри Луиз Эзвелл и сошлитесь на Мэри и на меня. Нам с Мэри рассказ понравился, но, с точки зрения журнала (пожалуй, и с нашей тоже), ему не хватает интриги. От истории, действие которой происходит в Фиальте, ждешь большего.

Отдельной бандеролью возвращаю Вам также "Отчаянье" и "Новый журнал". "Отчаянье" мне понравилось, но "Смех во тьме" — лучше. Самое удачное, мне кажется, место в романе — сразу после убийства. Прочел *Русалку* и Вашу концовку. Хорошо зная Ваши приемы, я даже несколько удивился тому, сколь эта концовка сдержанна. Поначалу я было решил, что князь не поверит русалочке, сочтя все случившееся вздором, и отправит ее восвояси, нарушив тем самым коварные планы ее матери.

Очень был рад Вас повидать. Сердечный привет от меня Вашей жене и Дмитрию. Надеюсь, он уже поправился. Если надумаете перед летними разъездами к нам наведаться, мы Вам — сами знаете — всегда рады. Достаточно будет написать записку или послать телеграмму.

Всегда Ваш

Эдмунд У.

---

16 июня 1942

Дорогой Кролик,

огромное спасибо, Беннингтон звучит ужасно привлекательно. Сегодня же пишу Льюису Джонсу. Забавно сознавать, что русский знаешь лучше всех — во всяком случае в Америке, да и английский — лучше любого русского в Америке, а в университет при этом устроиться не можешь. Следующий год не сулит мне ничего хорошего. Единственное, что мне удалось найти, — это место научного сотрудника сроком на один год (годовая зарплата 1200 долларов, с 1 сентября) в Музее сравнительной зоологии; рабочий день — три часа, и все бабочки в моем распоряжении. Если бы удалось сочетать работу в Музее с чтением лекций в колледже, было бы чудесно. И, конечно же, я от этой работы откажусь, если появится место более высокооплачиваемое. <...>

У меня только что побывал секретарь одного писателя (имя забыл), этот писатель сочинил нечто под названием "Табачная дорога", теперь же пишет роман из советской жизни. Vous voyez ça d'ici?[1] Хотел выяснить, как писать по-английски такие слова, как "немецкий", "колхоз" (который он пишет kholholtz) и тому подобное. Его героя зовут Владимир. Проще некуда. Меня подмывало подсунуть ему набор неприличных слов, которые бы он употреблял в

1. Можете себе представить? (*франц.*)

значении "доброе утро" и "спокойной ночи". (К примеру: *Разъеби твою душу*, — сухо сказал В.) <...>

Получил письмо от Пирса, очень мил, просит прислать еще вирши, и я отправил ему стихотворение, которое сочинил по Вашему наущению и которое прикладываю. "Харперс-базар" отослал мне обратно "В в Ф." ["Весну в Фиальте". — *А. Л.*], которая, по всей вероятности, обречена быть вечным бумерангом.

В начале следующей недели отбываем в Вермонт, где пробудем (в ветхом фермерском доме, осаждаемом огромными, неповоротливыми дикобразами, гнусно пахнущими скунсами, светлячками и вполне сносными ночными бабочками) до середины августа.

Нет, Кролик, Вы глубоко заблуждаетесь. Экономный Пушкин никогда бы не допустил, чтобы с ума сошли сразу два персонажа — и старый мельник, и князь. Моя концовка в полной мере соответствует окончаниям всех легенд, связанных с русалками и феями в России, — возьмите, к примеру, "Русалку" Лермонтова или стихотворение "Русалка" Алексея Константиновича Толстого. Пушкин никогда не ломал хребет традиции, он лишь переставлял внутренние органы — с менее эффектными, но более жизнеспособными результатами. Уверяю Вас, было бы куда забавнее, примчись князь во дворец в состоянии буйного умопомешательства, или же, что еще лучше, прокрадись он домой и намекни княгине на ту кошмарную историю, которая с ним произошла, но в планы Пушкина это не входило.

Хорошо бы увидеться в самом скором времени. Не позвоните ли в субботу? Мой сын сочинил то, что он называет "анекдотом", про мать, которая по своей доброте, перед тем как отшлепать сына, дает ему веселящий газ.

Ваш очень *дружески*

В. Набоков.

Уэллфлит, Масс.
8 августа 1942

Дорогой Владимир,

как дела? Опять с огромным удовольствием взялся за Пушкина. Жаль, что Вас нет рядом: Нина Чавчавадзе в такого рода вещах разбирается неважно. *Каменный гость* меня разочаровал; не возьму в толк, отчего это Мирский считает его шедевром. Вот *Цыганы* — это шедевр, да и юмористические вещи *Граф Нулин* и *Домик в Коломне, по-моему*, совершенно прекрасны, хотя и менее популярны. В Кембридже, впрочем, я обратил внимание, что начинающим изучать русский язык в летней школе вменялось учить наизусть *Графа Нулина*! Что собой представляют теории про *Домик в Коломне*, о которых пишет Мирский? Что-то в них есть, по-моему, сомнительное. Вам известно, что это за теория про графиню, которую герой ви-

дит в церкви и которая не имеет никакой очевидной связи с сюжетом? И еще, как Вы думаете, что хотел сказать Пушкин своей *Гавриилиадой*? Что нельзя сказать наверняка, был ли Христос сыном дьявола Гавриила или Бога? Райский сад у Пушкина великолепен — по мне, он лучше, чем у Мильтона.

Мы здесь, невзирая на Клифтона Фэдимена и Перл-Харбор, продолжаем заниматься насущными делами. Надеюсь, Вере на природе лучше. Обязательно дайте нам знать, когда вернетесь.

Всегда Ваш

Эдмунд У.

1943

230 Ист-15-я стрит
Нью-Йорк
11 января 1943

Дорогой Владимир,

жаль, что мне не удалось задержаться в Кембридже и пришлось ехать прямо в Нью-Йорк. Сверху — мой адрес; наш телефон: Грэмерси 7—4579.

Кажется, мне удалось наконец-то найти переводчика для Ваших книг. В Смит-колледже я познакомился с исключительно умной русской женщиной, которая безупречно говорит и пишет по-английски. Здесь она живет с одиннадцатилетнего возраста, но русский язык сохранила и к тому же изучала русскую литературу в Лондоне у Мирского. Я прочел ее диссертацию о влиянии Достоевского на английскую литературу — работа интересная и хорошо написана. У нее есть отличный материал о плохих английских переводах с русского; она напечатала несколько английских переводов отрывка из "Записок из мертвого дома" в параллельных колонках, чтобы продемонстрировать, насколько все они чудовищны. Провела у нас Рождество и очень нам понравилась. Я дал ей Ваш "Подвиг", и он произвел на нее огромное впечатление. Предупреждаю, она обожает Достоевского, но в ее любви нет ничего мистического или отталкивающего. Зовут ее Элен Мучник, 69 Бельмон-авеню, Нортгемптон, Массачусетс. По-моему, Вам стоило бы встретиться с ней в Бостоне.

Известно ли Вам, что Вы сыграли со мной, причем совершенно непроизвольно, самую свою злую шутку? Я был уверен, что вы сочинили за Пушкина стихотворение о бессоннице, которое так похоже на мое. О чем я и сообщил Мэри, а также многим своим знакомым и даже процитировал это стихотворение как пример столь свойственных Вам виртуозных литературных розыгрышей. Я дал себе слово, что ни за что на свете не доставлю Вам удовольствия,

раскрыв Пушкина и не найдя там этого стихотворения. Но потом, однажды вечером, я все-таки раскрыл Пушкина и обнаружил, что стихотворение-то, оказывается, существует! Я был вне себя от бешенства.

Надеюсь, Вера уже дома и поправляется. Если соберетесь в Нью-Йорк, дайте знать.

Кстати, Вы уже получили американское гражданство? Для Гуггенхайма это может иметь значение.

Ваш отрывок в "Атлантике" мне очень понравился. Прекрасно написан.

Лучшие пожелания от нас обоих.

Эдмунд У.

Я обнаружил формулу русской поэзии:

И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

В обоих двустишиях повторяются в другом порядке слова из предыдущих строф. В Вашем "Расстреле" ведь примерно то же самое?

---

230 E 15-я стрит
7 марта 1943

Дорогой Владимир,

как живете? Мы соскучились. Элен Мучник из Смит-колледжа написала мне очень доброжелательное и разумное письмо про Ваш *Подвиг*. Хотел Вам это письмо переслать, да куда-то его задевал. Дайте ей что-нибудь перевести из Ваших вещей. На днях познакомился с очень хорошенькой русской, Ириной Куниной, она сотрудничает с *Новоселье*м. Вам что-то про нее известно? Вчера вечером по ее приглашению ходили на вечер *Новоселья* и ушли с ощущением, что *Новоселье* — это своего рода сталинская "агитбригада". Весь вечер звучали выступления и стихи, прославляющие оборону Ленинграда. "Установка", по всей вероятности, выполнена не была, ибо почти все речи получились одинаковыми и настолько прямолинейными, что даже Мэри из-за постоянных восклицаний и имен собственных понимала, о чем идет речь. Все как безумные цитировали *Медного всадника* — порой совершенно не к месту. На протяжении всей своей речи мадам Кунина не уставала повторять:

Петербург тире Ленинград. Домой я вернулся в угнетенном состоянии.

Что-нибудь слышно про стипендию фонда Гуггенхайма? В настоящее время Вы преподаете в Уэллсли? Черкните пару строк.

Читаю Тютчева. Он, безусловно, очень значителен — совершенно не похож ни на одного известного мне поэта. Но не слишком хорошо известен, так ведь? Прочел все пушкинские поэмы. Патриотическая *Полтава*, хоть и написана прекрасно, меня разочаровала. Мне показалось, что такие вещи, как *Братья разбойники* и незавершенный *Тазит*, более интересны и более пушкинские. Привет Вере.

Всегда Ваш

Эдмунд У.

---

29 марта 1943

Дорогой Кролик,

я получил гуггенхаймовскую стипендию. Спасибо, дорогой друг. *У тебя удивительно легкая рука.* Я заметил, что всякий раз, когда ты принимаешь участие в моих делах, успех мне обеспечен.

Между тем из Нью-Йорка пришла очень печальная весть; кажется, я говорил тебе о своем близком друге, одном из *соратников* отца, Иосифе Гессене, — ему только что удалось бежать из Франции. Так вот, он умер. Посылаю тебе небольшой очерк, который я о нем написал по-русски в "Новое русское слово".

В Нью-Йорке буду проездом в среду и четверг, 14 и 15 апреля. Позвоню в среду днем, если дашь мне свой телефон.

Уикс (под стаккато коротких "ха-ха") не без некоторого энтузиазма отзывается о "Помощнике режиссера", моем новом рассказе, который я ему предложил. Напечатан будет в майском номере. За энтузиазм, мне кажется, следует платить. Меня не устроил гонорар за "Мадемуазель О" (глухие дамы со всех концов этой трогательной страны до сих пор пишут мне письма. "Мистер Набоков, — говорят они, — если б Вы знали, что значит быть глухим, Вы бы описали "Мадемуазель О" с куда большим сочувствием"), составивший 250 долларов. Новый рассказ примерно такого же размера, но с изюминкой покрупнее. Хочу я за него по меньшей мере 500. Что скажешь?

Ты видел последний ("русский") "Лайф"? *Вот говнюки!* Эта непристойная фотография Дэвиса! Подпись под портретом Пушкина! Стиль! Петр Великий "е д и н о л и ч н о з а г н а л Россию в прогресс"!

Твой

В.

---

5 апреля 1943

Дорогой Кролик,

очень хочется с тобой повидаться — скажем, в среду вечером, 14-го, в 8.30. Благодарен тебе за Принстонский клуб. Думаю, однако, что остановлюсь, как всегда, в "Веллингтоне". Дай же мне свой номер телефона.

Уикс заплатил мне за рассказ 300 и добавил благоговейным шепотом: "Мы даже Кролику больше не платим!" (!)

Вот стихотворение, которое я отправил издателю "Новоселья" в ответ на их благодушную просьбу прислать что-нибудь "новенькое".

Каким бы полотном батальным ни являлась
советская сусальнейшая Русь,
какой бы жалостью душа ни наполнялась, –
не поклонюсь, не примирюсь

со всею мерзостью, жестокостью и скукой
немого рабства; нет, о нет –
еще я духом жив, еще не сыт разлукой,
– увольте, – я еще поэт!

Я потихоньку распространяю слух, что "Владимир Познер" — мой псевдоним.

С нежным приветом

В.

Уэллфлит, Масс.
1 ноября 1943

Дорогой Володя,

вот корректура моей статьи о Пушкине для "Атлантика". Первую статью из этой серии ты, скорее всего, уже видел — она вышла в одном номере с твоим рассказом. Статьи эти могут показаться тебе пресноватыми, но ведь они ни на что не претендуют, это всего лишь первые впечатления иностранца, не более того. В дальнейшем собираюсь их расширить, доработать и выпустить отдельной маленькой книжкой, а потому буду тебе благодарен за любые соображения и замечания. Корректуру, пожалуйста, верни. Я предложил Уиксу, чтобы он каждой моей статье предпослал твои поэтические переводы. Идея, думаю, удачная.

Мне предложили место рецензента в "Нью-Йоркере", и я решил подписать с ними контракт на один год. (В следующем году пиши побольше, чтобы мне было что рецензировать.) Таким образом, с первых чисел декабря и до конца зимы мы будем в Нью-Йорке. Может, побываете у нас, пока мы не уехали? У нас сейчас Нина Чавчавадзе, и мы все очень хотим вас видеть. Мэри сейчас в Нью-Йорке — ищет квартиру, иначе бы тоже написала. Может быть, приедете на День благодарения (25 ноября), как три года назад (когда ты создал свое эпохальное стихотворение о холодильнике)? Были бы вам очень рады. Мы торжественно закроем сезон и постараемся создать вам массу неудобств, чтобы тебе было о чем писать в "Нью-Йоркере".

Только что прочел "Вий" Гоголя — вне всяких сомнений, один из величайших рассказов в своем роде. Маленькая деревянная церквушка на краю города, возле которой воют собаки, просто замечательна.

Всегда твой

Эдмунд У.

Уэллфлит, Масс.
10 ноября 1943

Дорогой Владимир,

в День благодарения мы на вас очень рассчитываем. Подвести нас будет с вашей стороны непростительно, ибо мы собираемся заказать гигантскую индейку в расчете и на вас тоже. Не говоря уж о том, что нам с тобой надо бы посидеть над переводами. Те, что я успел прочесть, превосходны: твой английский дает сбой в редчайших случаях.

Боюсь, что с моими пушкинскими переводами уже ничего не поделаешь, хотя я и попросил Уикса попытаться по крайней мере исправить честной и *да ведь*. Совершенно согласен: мой перевод Ты волна моя волна никуда не годится. Спасибо тебе за то, что ты в него вник.

У меня возникла идея, которую я бы хотел с тобой обсудить. Что, если мы вместе поучаствуем в книге о русской литературе: я — своими эссе (несколько их дополнив), ты — переводами? Поскольку контракт с Лафлином ты еще не подписал, ты вправе по своему усмотрению распоряжаться своими поэтическими переводами, к которым ты — почему бы и нет? — добавишь несколько прозаических. К примеру, "Вий", который представляется мне шедевром, был переведен много лет назад в выпущенном в Англии сборнике, и достать его, скорее всего, уже невозможно. Выручку мы бы разделили пополам и что-то бы заработали — с учетом растущего интереса к русскому языку, такая книга, подозреваю, расходилась бы не-

плохо. Она наверняка будет в своем роде единственной. Возможно, ты бы предпочел выпустить свою собственную книгу, но все же подумай о моей идее.

Я обнаружил два великолепных русских глагола: *примелькаться* и *приедаться*. Как бы ты их перевел?

Всегда твой

Эдмунд У.

Кембридж Бостонский
23 ноября 1943

Дорогой Кролик,

на некоторых [зубах. — *А. Л.*] выступили маленькие красные вишенки-абсцессы — и человек в белом халате остался доволен, когда не стало ни их, ни зубов, исторгнутых из малиновых десен. Мой язык ощущает себя во рту подобно человеку, вернувшемуся домой и обнаружившему, что вся его мебель куда-то запропастилась. Вставная челюсть готова будет только на следующей неделе — и я теперь оральный калека. О том, чтобы ехать на Кейп-Код (заявил дантист) не может быть и речи. Ужасно обидно.

Я лежал в постели и глухо стонал, чувствуя, как мороз наркоза постепенно сменяется жаром боли; работать я не мог, и хотелось только одного — хорошего детектива, и в эту самую минуту в комнату вплыл "Вкус меда". Мэри была права, детектив мне тоже ужасно понравился, хотя энтомологические описания, разумеется, — сплошное вранье (в одном месте автор спутал Пурпурного императора с ночной бабочкой Император). Но написан детектив отлично. Интересно, Мэри сообразила, почему имя сыщика раскрывается в самом конце? Я сообразил.

Я был так расстроен и так мучился от зубной боли, что мои пометки на полях твоей корректуры получились какие-то очень уж сварливые. Замечательно, что есть человек, который способен писать о русской литературе так, как ты. И все же твой Тютчев мне понравился меньше, чем все остальные. Ты беседовал с ним так, словно сопровождал его по дороге на почту, или сидел за чаем chez la petite princesse N-sky[1], или — под розовыми каштанами на европейском курорте, — но ты не побывал у него дома и не проговорил с ним всю ночь напролет.

У Хаусмана действительно есть с ним сходство, ты совершенно прав, — но откуда взялся этот штукатур де Виньи? У Хаусмана есть что-то про мертвеца, чей плащ — весь земной шар; совершен-

1. У маленькой княгини Н-ской (*франц.*).

но буквально — гигантская роба. И это еще одно связующее звено с Тютчевым.

Старый добрый Лафлин пишет мне, что предложил тебе приписать к стихотворениям несколько слов. Я по-прежнему надеюсь, что ты справишься и со всем остальным.

Будь добр, пришли замечания к моим переводам.

Когда мое лицо отражается в какой-нибудь сферической поверхности, я часто замечаю свое странное сходство с Ангелом (воителем) — теперь этот же эффект достигается и обыкновенным зеркалом.

Самые теплые пожелания вам обоим от нас обоих. <...>

Уэллфлит, Масс.
23 ноября 1943

Дорогой Владимир,

очень были огорчены, узнав, что ты мучаешься зубной болью. Не давай им вырывать слишком много зубов — в Америке любят вырвать побольше. У меня сохранилось несколько зубов, которые отлично мне служат, а между тем дантисты уже много лет назад настаивали, чтобы я их удалил. Ужасно жаль, что вы не приедете на День благодарения. Может, приедете на следующей неделе, перед нашим отъездом (в воскресенье)? Думаю, нам с тобой и в самом деле надо поговорить: 1) о твоих тютчевских переводах; 2) о том, как вести себя с Лафлином и 3) о задуманной нами книге.

Лафлин написал мне льстивое письмо с просьбой о предисловии. Он мне не простит, если я уговорю тебя не давать ему переводы, и может отказать в публикации книги Фицджеральда — вот почему мне хочется уладить этот вопрос в первую очередь. Впрочем, он в любом случае может отказаться печатать Фицджеральда, и тогда препятствий не возникнет. Ты просто вернешь ему аванс из тех денег, которые получишь от другого издателя.

Большое тебе спасибо за твой комментарий к моей статье. Он мне очень помог, и я кое-что исправил. Уикс пишет, что хочет получить всё на этой неделе, поэтому посылаю ему твои тютчевские переводы. Говорит, что сможет дать под них две страницы, и я надеюсь, что войдут все. Есть несколько строк, которые, мне кажется, стоило бы доработать — там имеются кое-какие английские огрехи, но эту правку можно будет внести и в корректуре. В целом же переводы прекрасны, и теперь англоязычный читатель впервые сможет оценить, что собой представляет Тютчев.

Только что прочел "Шинель" и хочу теперь почитать твой перевод этой повести. <...> Прочел также маленький сборник эссе о русской поэзии твоего друга Ходасевича — превосходно. В одном из них он устанавливает связь между "Домиком в Коломне", "Пико-

вой дамой", "Медным всадником" и историей, которую Пушкин рассказал у Карамзина, а кто-то записал и опубликовал. Это настоящий шедевр, нечто вроде литературного детектива, к чему я и сам питаю склонность.

У меня много соображений о нашей совместной книге — надеюсь обсудить их при встрече. Если ты потратился на зубных врачей, позволь мне одолжить тебе денег, чтобы ты смог к нам приехать. Я разбогател — впервые в жизни.

Всегда твой

Эдмунд У.

P. S. Не думаю, что у Гоголя *даже* следует переводить словом even, это, скорее, in fact или as a matter of fact. У Диккенса это тоже есть. *Тут же* и *словом* употребляются у него в том же тоне, не правда ли? Микобер и другие персонажи Диккенса говорят примерно так же, как человек, который рассказывает историю капитана Копейкина. Эти фразы Гоголя — авторский эквивалент *так сказать* (тому подобное) комического повествователя. Сходным образом собственный стиль Диккенса имеет много общего со стилем Микобера. Гоголь хочет, чтобы создалось впечатление, что он и сам недалеко ушел от придурковатых и болтливых людишек, которых так любит изображать.

---

8 Крейджи-сёркл
Кембридж
10 декабря 1943

Дорогие Мэри и Кролик,

надеюсь, что сейчас вы уже в Нью-Йорке. Выходные получились на зависть, вот только контракт с Лафлином остался лежать в твоем кабинете (или в другом, более подходящем месте) — во всяком случае, я его с собой не взял и не припоминаю, чтобы ты его мне давал. Все это не столь уж важно, но на заметку взять следует. <...> Я напишу ему еще одно письмо, где будет сказано, что в конечном счете я бы предпочел не включать "Шинель" в гоголевский сборник. Тогда мы сможем поместить ее в том нашей классики. Я перечитал *Вий*, и, честно говоря, большого энтузиазма он у меня не вызвал — это одна из наиболее слабых гоголевских вещей, *поверь мне*!

По-моему, некоторые подробности Тегеранской конференции просто восхитительны, ну, например: "Сталин свободно общался со своими гостями через переводчика", или: "Сталин поднял свой бокал и трезвым взглядом оглядел собравшихся". Судя по фотографиям, совершенно очевидно, что на конференции присутствовал не настоящий Сталин, а один из его многочисленных двойников — гениальный ход со стороны Советов. Возможно даже, это

был не живой человек, а экспонат из Музея восковых фигур, поскольку так называемый переводчик, некий мистер Павловск (!), который запечатлен на всех фотографиях в качестве своеобразного Puppenmeister'a[1], несомненно, руководил движениями наряженной во френч куклы. Обрати внимание на отутюженную стрелку на брюках псевдо-Дядюшки Джо на экспонате № 3. Такие отутюженные брюки бывают только на восковых фигурах. Думаю описать, как в действительности обстояло дело, ведь, согласись, придумано виртуозно, особенно когда манекен передвигался с места на место и выпивал 34 тоста, резким движением поднося бокал к губам. Мистер Павловск — истинный маг и чародей.

Получил письмо из "Нью рипаблик" с просьбой отрецензировать пару книг. Одна — антология русского юмора, составитель некий Курнос, я ее еще не читал. Вторая — сборник, составленный Герни. Поскольку в настроении я пребываю скверном, хочется надеяться, что обе книги никуда не годятся.

Об "Окне Иуды", Мэри, я мнения невысокого. Это далеко не шедевр. Мать Гоголя пребывала в уверенности, что все книги, вышедшие при жизни ее сына, написал он и что вдобавок он является создателем пароходов, паровозов и фабрик. Его это приводило в бешенство, и гоголевские письма к матери, в которых он все ее домыслы отрицал, чрезвычайно забавны. Иначе говоря, этот меткий выстрел в глазок камеры не слишком убедителен — надо было придумать что-нибудь получше.

Вчера у нас разразилась чудовищная гроза. Надеюсь, ваш дом на Кейп-Код уцелел — ведь в противном случае контракт с Лафлином погиб бы безвозвратно.

Передайте, если увидите, мой нежный *привет* Гринбергам. Надеюсь, в Покипси вы не сели на мель?

Преданный Вам

В.

№ 25 Уэст 43-я стрит
15 декабря 1943

Дорогой Владимир,

вот он, роковой контракт. Сотрудник "Даблдей" болен, и увижу я его не раньше начала следующей недели, поэтому ничего определенного сказать пока не могу. Если — на что хочется надеяться — тебе удастся забрать у Лафлина эти две книги, ты должен будешь подписать с ним новый контракт только на книгу о Гоголе. В этом

1. Кукловода (*нем.*).

контракте, разумеется, не должно быть пункта о приобретении издателем прав. В остальном, думаю, контракт должен касаться исключительно книги о Гоголе.

Относительно нашей с тобой будущей книги, будет, мне кажется, лучше, если ты включишь в нее только поэтические переводы. "Шинель" же пускай войдет в твою книгу о Гоголе, ей там самое место, к тому же у нас у обоих найдутся дела поинтересней, чем корпеть над переводом Гоголя. (В антологии Курноса есть перевод "Шинели", на днях я просмотрел его в книжном магазине — английский язык у него хромает, и довольно сильно.) Забыл сказать тебе в Уэллфлите, что было бы, по-моему, неплохо перевести сцену Репетилова из "Горя от ума"; но и эта работа потребует больше сил, чем она того стоит. Напишу тебе об этом подробнее, когда переговорю с "Даблдей".

Да, Тегеранская конференция была великолепна, особенно когда Рузвельт поднял меч и изрек: "Сердце и впрямь из стали!" Разумеется, кончилось все каким-то старым как мир сговором, который предпочитают держать в секрете.

Очень приятно было видеть вас у нас в Уэллфлите. С тех пор как мы переехали в Нью-Йорк и вселились в удобную, тихую, но пустоватую квартиру, мне очень не хватает моего Уэллфлита, меня не покидает ощущение, будто живу я теперь в безвоздушном пространстве. Думаю, что аэропланы, которые меняют нашу точку зрения на постоянство и значимость человеческого обиталища, наносят заодно ущерб и нашему интеллекту, и нашему воображению. Сегодня город значит для меня ничуть не больше, чем после Первой мировой, когда я приехал сюда впервые, и у себя дома на Кейп-Код мне и в самом деле лучше — там у нас по крайней мере есть иллюзия полноты жизни. И всего прочего.

Всегда твой

ЭУ.

1944

8 Крейджи-сёркл
Кембридж 38, Масс.
3 января 1944

Дорогой Кролик,

по всему судя, ты великолепно справился с продажей нашей книги. Spassibo. Вкладываю копию своего письма Лафлину. Вера провела со мной серьезный разговор относительно моего романа. После того как роман был нехотя извлечен из-под вороха бумаг с описанием бабочек, обнаружились две вещи. Во-первых, что он хорош, и, во-вторых, что по крайней мере первые страниц двадцать можно смело печатать и отсылать в издательство. Что и будет незамедлительно сделано. После многочисленных измен возлег я нако-

нец со своей русской музой и посылаю тебе большое стихотворение, которое она от меня зачала. Может статься, оно отправится в "Новый журнал". Вот увидишь, читается оно куда легче, чем некоторые мои предыдущие творения. Прочти же его, будь добр. Вдобавок, я почти закончил рассказ по-английски.

Маловразумительная статья о кое-каких маловразумительных бабочках, напечатанная в маловразумительном научном журнале, явится очередным образцом набоковианы, который в скором времени попадет тебе в руки.

Когда герой оказывается в Испании в конце XV века, ему совершенно необязательно встречаться с неким генуэзским мореплавателем. Алданов же поступает прямо противоположным образом. Это мой единственный упрек близкому другу и талантливому писателю.

Я ужасно позавидовал Вере, когда она рассказала мне, что тебя видела.

Мы оба желаем тебе и Мэри безупречного года.

В.

Собирался отправить тебе это письмо, когда получил твое. *Прилагаемое письмо* уже послал Лафлину, но, боюсь, был с ним достаточно суров. *Или нет?* Спасибо, что порекомендовал меня издателю русских рассказов. Из литературной продукции, созданной за четверть века советской власти, я мог бы отобрать с десяток недурно написанных небольших вещиц (Зощенко, Каверин, Бабель, Олеша, Пришвин, Замятин, Леонов — *и обчелся*). Наибольшую неприязнь добрые старые Советы вызывают у меня потому, что сочиняют гнусную литературу, и тем не менее как человек тактичный я мог бы при желании выбрать из горы гнили несколько съедобных слив, хотя ощущал бы себя нищим, копающимся в мусорном баке.

---

18 января 1944

Дорогой Кролик,

<...> посылаю тебе: a) стихотворение, которое некоторое время назад отправил в "Нью-Йоркер"; b) еще один отрывок из "Онегина"; первая строка первой строфы — Верина находка: best tradition соответствует *честных правил*, и c) тридцать семь (37) страниц моего романа "Человек из Порлока". Если сочтешь его приемлемым, пожалуйста, предварительно изучив, перешли в "Даблдей" (и, конечно же, Дорану). Там еще масса сорняков, которые я со временем выполю, но в целом первые главы "Человека из Порлока" останутся без изменения. В конце книги, в которой будет 315 страниц, возникнет и получит развитие идея, за которую раньше еще никто не брался.

(3) Подаю на продление гранта Гуггенхайма и посылаю Мо образцы своих трудов за этот год. Последнее время меня обуял довольно утомительный порыв литературной активности, и сейчас я с облегчением переключаюсь вновь на своих Lycaenidae. Роман будет завершен к концу июня перед поездкой в округ Мендосино, Калифорния, где я хочу поискать Lycaeides scudderi lotis, которые покамест известны лишь в двух образцах — "голотип" и то, что в своей статье я назвал "неотип".

(4) Передай от меня привет Николаю и скажи ему, что он до сих пор не ответил на мое длинное письмо, которое я то ли написал ему, то ли только написать собрался.

(5) Я придумал рифму, сочетающую дактилическое и женское окончания, а также много других мелких фокусов. Жаль, что ты обсуждал мое стихотворение с другом Алдановым — уже двадцать лет он взирает на мое литературное поприще с подозрением и благоговейным страхом, полагая, что дело всей моей жизни — стереть братьев-писателей с лица земли. В моем стихотворении нет, разумеется, ничего подобного; нет в нем ничего и про Сталина — но ведь Алданов рассматривает литературу как своего рода гигантский Пенклуб или масонскую ложу, требующую от писателей как талантливых, так и talentlos[1], взаимного расположения, предупредительности, взаимопомощи и благожелательных рецензий. Никогда не обсуждай с ним Ходасевича. <...>

Всецело твой

В.

Не говори Алданову, о чем мой роман, — он может счесть, что я стремлюсь кому-то утереть нос. <...>

№ 25 Уэст, 43-я стрит
24 января 1944

Дорогой Владимир!

(1) Я только что видел Доналда Элдера и передал ему твою рукопись. Скоро получишь договор на русскую книжку. Надеюсь, ты оценишь ее многочисленные красоты. Тебе обязательно надо побеседовать с Элдером, он говорит, что они собираются переделать (после войны) свои книги по природоведению, и твои предложения могут их заинтересовать.

(2) Роман мне очень нравится — ужасно хочется дочитать его до конца. В рукописи ты найдешь кое-какие мои замечания. Мне ка-

1. Бездарных (*нем.*).

жется, есть три английских глагола, которые тебе не даются; это discern, reach и shun (который ты иногда путаешь с shirk[1]). В остальном же роман написан очень хорошо. Единственно, в чем бы я тебя упрекнул, так это в том, что порой фразы у тебя получаются слишком запутанные — как в случае с iron beetle[2]; с общим стилем это сочетается плохо. Стихотворение также отличное.

(3) Насчет *Евгения Онегина*. Получается он у тебя превосходно, но тебе не кажется, что вещи более короткие подходят больше? Мы ведь не можем напечатать весь роман, который к тому же несколько раз, пусть и посредственно, уже переводился.

(4) Николай не материализовался, но грозится объявиться в конце недели.

(5) Да, я был несколько разочарован, обнаружив, что Алданов — типичный европейский литератор. Уж не парижская ли жизнь сделала его таким? Он очень нас позабавил тем, что с ужасом рассказывал, сколь опрометчиво ты, на его взгляд, критикуешь некоторых американских писателей и как он изо всех сил пытался тебя урезонить. Он полагает, что Дж. Ф. Маркуэнду нет равных. Его взгляды по ряду вопросов представляются мне весьма недалекими, и вместе с тем во многих отношениях, о чем свидетельствует "Пятая печать", человек он, судя по всему, по-настоящему умный.

(6) Мэри настаивает, чтобы я обратил твое внимание на подсчеты, которые ты делал на полях своего письма, — они неверны.

Всегда твой

ЭУ.

---

7 февраля 1944

Дорогой Кролик,

некий "Американский поэт" обратился ко мне с просьбой перевести русских поэтов ("особенно солдатских, сегодняшнего дня"), а Общество Браунинга — выступить у них с докладом о русском "подвиге" "с примерами из литературы". У меня был грипп, и я написал довольно сердитое письмо "Американскому поэту", где говорилось, что солдатские стихи мне неизвестны, если не считать отдельных, взятых наудачу строк, которые еще слабее той военной поэзии, которую пишут солдаты других стран. Чувствую, что совершил gaffe[3], — впрочем, платить они, насколько я понимаю, не собирались, а потому я в любом случае ничего бы им не дал. Ты этих людей знаешь? Общество Браунинга прислало мне свою программу немецких исследований, которая кончается словами: "...в заключительных печальных звуках

1. Различать, достигать, избегать... увиливать (*англ.*).
2. Букв.: железный жук (*англ.*).
3. Ошибку (*франц.*).

("Gretchen am Spinnrode"[1] Шуберта в исполнении мисс Генриетты Грин, которая с учетом ее англосаксонского имени могла бы задуматься, что́ она исполняет) этого свежего, юного голоса (голоса Гретхен, никак не Генриетты), в словах "Mein Hertz ist sehr" (sic! вместо "ist schwer"![2]) ощущается жалобный крик тонущей, измученной Германии, трогательной, доброй, дружеской Германии, ищущей пути спасения. Найти ей эти пути так же важно для всего мира, как и для самой Германии. Исходя из этого, сохраним же надежду, что за столом мирных переговоров не будет духа ненависти и мести, а будут царить всепрощение, любовь — и просвещенное своекорыстие!"

Я написал им, что Гретхен утешилась летними платьицами, которые ее солдатик привез ей из польского гетто, и что ни кастрация, ни менделизм, ни хозяйская ласка не способны превратить гиену в прелестную, сладко мурлычущую кошечку. Вероятно, я совершил еще одну бестактность, но всех этих людей я знать не знаю, к тому же они мне не нравятся. Пожалуйста, расскажи мне про них, если тебе что-нибудь известно.

Я внимательно перечел наш с тобой договор и должен сказать, что ты создал истинный шедевр. Я также получил чек (750) от Д. Д., и эта сумма решает многие мои финансовые проблемы. Хочу от души поблагодарить тебя, дорогой Кролик, за то, что ты все уладил. Ты сделал огромное дело, и меня не покидает чувство, что мой вклад меньше, чем моя доля. Может, тебе бы понравились *Египетские ночи*? Пошли мне перечень названий (но, если можно, стихи, а не прозу).

Тебе понравился мой offrande[3]? Это иллюстрация к строчке из моего стихотворения (в томе *Возвращение Чорба*) *К музе. Гроздь винограда, груша, пол-арбуза.*

Увидимся в марте.

Твой В.

№ 25 Уэст 43-я стрит
1 марта 1944

Дорогой Вий! Я только что видел Доналда Элдера, его беспокоит отсутствие новостей о твоем романе. У меня впечатление, что они склонны его взять. По-моему, тебе следует ковать железо, пока горячо. Когда ты будешь в Нью-Йорке? В этом месяце Николай приезжает сюда со всей семьей на неделю.

Всегда твой

ЭУ.

---

1. "Гретхен за прялкой" (*нем.*).
2. Мне на сердце очень (...тяжело) (*нем.*).
3. Приношение (*франц.*).

26 марта 1944
Отличная рифма: Notebooks of night
Sebastian Knight

Дорогой друг,

посылаю тебе копию своей статьи о классификации голарктических чешуекрылых. Она вызвала большой переполох в человеко-чешуекрылом сообществе, ибо переворачивает устоявшиеся представления. Сейчас готовлю к публикации мою основную работу по этой группе, а поскольку необходимо сделать сотни рисунков, на бабочек уходит почти все время. Это будет монография страниц на 250. Таксономическая часть читается, как roman d'aventures[1], поскольку в ней описываются кровавые распри между энтомологами, а также всякого рода любопытные психологические казусы. В 1938 году во всем мире насчитывалось пять (5) человек, которые хоть что-то знали про ту группу, о которой я веду речь; одного из них уже нет в живых, а второй, эльзасец, куда-то подевался. Такие вот дела.

Твоя статья о магии мне очень понравилась, хотя мне, право, кажется, ты мог бы упомянуть ведущего русского колдуна, который совершенно озадачил чародея с Кейп-Код. Кстати о мысе Код. Поскольку денег на поездку в Колорадо или в Калифорнию у нас нет, мы подумали, что было бы недурно провести июль—август на мысе. Вера с мальчиком могли бы отправиться туда уже в середине июня. Ты не подсказал бы, как снять в ваших местах коттедж? Есть ли поблизости какое-нибудь агентство или частное лицо, сдающие помещение на лето? Или же пансион (недорогой)? Этим летом хочу закончить роман. В одном из последних "Нью-Йоркеров" было *прелестное* стихотворение о снеге и Шерлоке Холмсе.

В данный момент правлю корректуру "Гоголя" и послал бы ее тебе на суд, не знай я, как много тебе и без того приходится читать. Элдеру отправил краткое содержание своего романа. Старый добрый Гуггенхайм грант мне не продлил, и я нахожусь в бездонной финансовой дыре. Недели через две предложу "Нью-Йоркеру" рассказ. На прошлой неделе за 150 долларов прочел в Йейле лекцию по русской литературе. Лафлин заплатил мне доллар семьдесят за бандероль "Гоголя", а также за фотостат.

Меня умилил фаллический подтекст пистолета, которым поигрывала Джоан в перерыве между "интимным актом" с "полностью обнаженным" Чарли Чаплином. По всей вероятности, "седовласому комедианту" пришлось выбирать между тем, кто "разрядится" — он сам или пистолет, и он благоразумно избрал вариант менее летальный. А может, пистолет понадобился в качестве возбуждающего средства? С этими великими любовниками ведь никогда не знаешь...

1. Авантюрный роман (*франц.*).

Мой скромный поэтический экспромт про *советскую сусальнейшую Русь* "тайно" переписывался и расходился среди русских социалистов круга Керенского, что позволяло им ощутить давно забытый трепет от распространения *запрещенных стихов*, как при царе, — пока наконец один из этих социалистов не опубликовал мое стихотворение анонимно в *Социалистическом вестнике*, представив его (в конце антисталинской статьи) в той особенной вкрадчивой, ритуальной манере, в какой распространялись рукописи революционных стихов полвека назад. В глаза бросаются две очаровательные вещи: 1) такие благородные гражданские стихи являются общественной собственностью и 2) имя поэта не разглашается, ибо в противном случае он будет сослан в Сибирь (или на Лабрадор) президентом Рузвельтом. Если ты знаком с обычаями, milieu[1] и стилем русской либеральной публицистики 1845—1945 годов, то оценишь изысканный юмор ситуации.

Очень хочу тебя видеть.

В.

---

8 мая 1944

Дорогой Кролик,

с Кейп-Код мы связались, но дела наши складываются так, что мы до сих пор не уверены, сможем ли поехать. <...>

Я прекрасно понимаю, что в бедственном положении моего кошелька (несколько сот долларов, которые тают в банке, плюс моя жалкая музейная зарплата и еще примерно 800 долларов, которые я заработаю в Уэллсли в следующем семестре) виноват я сам. Я слишком много времени уделяю энтомологии (до 14 часов в день), и хотя в этом отношении я делаю кое-что, имеющее серьезное научное значение, я иногда ощущаю себя пьяницей, который лишь в минуты просветления сознает, что упускает уникальные возможности.

План: сбежать от бабочек в коттедж на Атлантическом побережье по меньшей мере на пару месяцев и закончить роман (кстати, Доран из "Даблдей" сообщил, что по первым главам они решение принять не могут; я отправил им довольно невнятный пересказ остальных глав, mais ils ne marchent pas[2]). Помимо финансовых проблем нас беспокоит здоровье Дмитрия, мы решили его обследовать и, если возникнет необходимость, оперировать в здешней детской больнице у доктора Гросса, которого "очень рекомендуют". <...>

Корректуру "Гоголя" я тебе посылать не стал: она мне надоела, и я отослал ее обратно Лафлину.

1. Окружением (*франц.*).
2. Дело стоит на месте (*франц.*).

25 числа этого месяца отправляюсь с речью на банкет в Корнелле ("Книга и чаша") и заеду в Нью-Йорк, если удастся организовать русское *выступление* 27-го.

Небольшой рассказ, который я пишу с перерывами уже несколько месяцев, сейчас перепечатывается и в конце недели будет послан в "Нью-Йоркер".

Ужасно хочется тебя повидать, душевный привет вам обоим от нас обоих.

В.

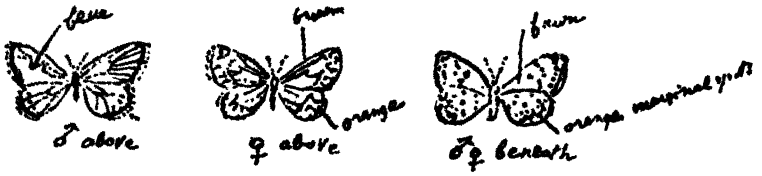
Я почему-то пропустил твою статью в последнем "Нью-Йоркере". С чего бы это?

---

29 июня 1944

Дорогой друг,

как это обычно бывает после посещения Уилсонов (Дмитрий до сих пор хихикает из-за твоей открытки — особенно ему понравилось отсутствие определенного артикля), на меня снизошло вдохновение, и я сочинил еще одну потрясающую главу своего романа. К сентябрю думаю закончить. Я также перевел три пушкинских стихотворения: 1. *Мороз и солнце – день чудесный...* 2. *Что в имени тебе моем...* 3. *Недаром вы приснились мне...* (*Подражание Корану.*) Последнее могло бы быть написано сегодня — с аллюзией на партизан и некоторые маленькие европейские государства. Сильная простуда, которую я подхватил, пока мы ждали такси на Южном вокзале (и которая теперь перекинулась на Веру и Дмитрия), разлучила меня с моими жучками. Ты не пишешь, понравилась ли тебе моя статья о Lycaeides. Вот как они выглядят



Получил чек из "Нью-Йоркера" (300 + 200) и поблагодарил миссис Уайт. Надеемся вскоре с вами увидеться. Теперь я почти наверняка назову свой роман "Game to Gunm". Уикс с восторгом схватил у меня мой рассказ.

Veuiller agreer, cher maître, l'expression de mes sentiments devoués[1].

В.

---

1. Примите, дорогой мэтр, заверения в моих лучших чувствах (*франц.*).

Уэллфлит, Масс.
4 июля 1944
День нашего незабываемого освобождения от проклятых британцев.

Переводы из Пушкина пришли. Мне они очень понравились, хотя и есть некоторые прорехи, которые хотел бы с тобой обсудить и залатать. Только что прочел *Египетские ночи* — они меня скорее разочаровали. Не думаю, чтобы стихотворение стоило переводить, как ты когда-то мне предлагал. Здесь есть, как мы говорим, "ситуация", но развития она не получает. Твоя статья про бабочек для меня слишком специальна, и судить о ней не берусь.

Всегда твой

ЭУ.

---

28 июля 1944

Дорогой Кролик,

если удобно, мы приедем, вооружившись сачками, в пятницу. Напиши как есть, не стесняясь. Прости, что пишу так поздно. Посылаю это письмо специальной почтой.

Сегодня мне снилось, что я вместе с Ходасевичем и Уиндэмом Льюисом (автором чудовищно скучной и примитивной вещи под названием "Дураки от рождения") хожу по разрушенному нормандскому городку и тут вдруг вижу тебя, ты же — одновременно и ты сам, и Черчилль.

Когда приедем, попытаемся подыскать себе пансион с отдельной ванной — хотим провести на побережье недели две. Не знаешь, есть ли такой поблизости?

Жму руку.

Твой В.

Уэллфлит, Масс.
31 августа 1944

Дорогой Владимир,

мы с удовольствием прочли твою книгу о Гоголе. Есть места просто блестящие: обличение *пошлости* — безукоризненно и очень важно. Вместе с тем мне все же кажется, что в кое в чем ты, против обыкновения, поверхностен и превратен. Я написал на твоего "Гоголя" рецензию в "Нью-Йоркер", где (коль скоро я так и не дождался от тебя корзины с цветами) как следует тебя побранил. Это, впрочем, была не настоящая рецензия — настоящих в "Нью-Йоркере" не пе-

чатают. Хочу как-нибудь пройтись с тобой по всей книге и обсудить ее во всех подробностях. В одном, по-моему, ты должен обязательно повиниться; я имею в виду твое весьма странное заявление, будто Пушкин ничем не мог помочь Гоголю потому, мол, что речь тут не может идти о влиянии; именно это слово — влияние — ты употребляешь. Даже если бы Пушкин не был — вопреки тому, что ты пишешь, — иногда очень близок к Гоголю (в *Медном всаднике, Пиковой даме* и, с чем ты и сам согласился, когда мы об этом с тобой говорили, в *Истории села Горюхина*), он отличался исключительным разнообразием и широтой своих литературных интересов. Вне всяких сомнений он был тем самым человеком, который мог подбрасывать Гоголю идеи. Его отношения с другими писателями — например, с Мицкевичем — свидетельствуют о всегдашней готовности Пушкина к сопереживанию. И потом, разве такие пьесы Мольера, как "Мизантроп" и "Дон Жуан", однозначны? Верно, Мольер — не поэт, как Гоголь, но ведь и эти пьесы — не булка с сосиской. Ты прояснил мне несколько мест, которые я не сумел оценить по достоинству: клички игральных карт, например, или историю про поручика, который беспрестанно примеривает новые сапоги. История с этим поручиком поначалу меня озадачила. Потом только я понял, что делает он это без всякой для себя выгоды; но прелесть этого эпизода я оценил, лишь прочитав твою книгу.

Мы тут общаемся с Челищевым, который нам полюбился. Гоголь тоже ему очень близок, и говорит он о нем примерно то же самое, что и ты. Он, однако, сказал мне, что считает *Вия* одним из его величайших произведений, и я с ним согласен. Ты, на мой взгляд, довольно своевольно многое в творчестве Гоголя отвергаешь. Я сейчас читаю *Вечера* и готов с тобой о них поспорить. Привет Вере. Скучаем без вас.

Всегда твой

Эдмунд У.

---

11 октября 1944

Дорогой Кролик,

убил месяц, готовя для публикации первую часть моей книги про бабочек, и очень намучился с рисунками. Сегодня рукопись уходит в типографию, а между тем деревья — вперемежку зеленые и ржаво-коричневые, как гобелены. Enfin c'est fait[1]. Лет 25 эта книга будет служить необходимым и даже незаменимым подспорьем, после чего какой-нибудь другой субъект докажет, как я был неправ. В этом вся разница между наукой и искусством. <...>

1. Наконец, дело сделано (*франц.*).

Твоя статья о детективах мне очень понравилась. Разумеется, Агату читать невозможно — но вот Сэйерс, которую ты не назвал, пишет хорошо. Почитай "Преступление дает о себе знать". Твое отношение к детективам поразительным образом схоже с моим отношением к советской литературе, так что в целом ты совершенно прав. Надеюсь, что в один прекрасный день ты изучишь литературу *советского молодняка* за четверть века, и тогда я буду с исключительным удовольствием наблюдать за тем, как колики и рвота придут на смену легкой тошноте, которую ты ощущал, читая нижеследующие перлы: "Лицо его было непроницаемым и чуть рассеянным, каким оно бывало всегда, когда у него пробуждался (просыпался) интерес", "С долю секунды девушка, не отрываясь, смотрела на долговязого с трубкой" (Р. Т. Скотт "Бомбейская утка"), "Высокий следователь слегка пожал плечами" (там же), "Завтра в девять у нас состоится короткое дознание, весьма, уверяю вас, неформальное... вас оно наверняка позабавит, мистер Робб", "Он откинулся на стуле, сложив кончики пальцев, чуть нахмурившись и погрузившись в мысли, о сути которых догадаться было невозможно", "Нет, — быстро сказал Робб, — убийство было совершено ровно на 22 минуты позже", "Я говорю с дядей Луисом? — без труда догадалась она. — А я — с его племянницей, — отозвался он" (Эрнест Брамах), "Добрый вечер, мистер Келтон, — сказал капитан полиции. — Дело, увы, обстоит не лучшим образом" (Ричард Коннелл "Укус шмеля"), "А ваш второй пистолет?" — "Это самый заурядный пятизарядный автоматический пистолет американского производства. И лежит он в боковом кармане серого костюма, который висит в моем шкафу" (там же).

А вот истинные жемчужины моей коллекции — обрати внимание на прелестные совпадения:

Я уставился на него в полном замешательстве. "Вы хотите сказать..." — начал было я. "...что ее никто и не думал убивать", — закончил за меня он.

(Дж. Д. Бирсфорд "Искусственная родинка")

Он выхватил вышеозначенную фотографию и швырнул ее в лицо потрясенному инспектору. "Бирсфорд! Бирсфорд убийца своей собственной жены".

(Энтони Беркли "Шанс отомстить")

Я внес правку и вернул Лафлину корректуру Пушкина—Лермонтова—Тютчева. "Превратности времен" проданы Уиксу. Ужасно хотел бы тебя повидать.

В.

36 Виста-плейс
Рэд-бэнк, Нью-Джерси
19 января 1945

Дорогой Владимир,

ты наверняка очень обрадуешься, узнав, что я принялся за твои русские сочинения и в данный момент с огромным удовольствием читаю *Машеньку*. Некоторые сцены очень хороши, например, первая, где они застряли в лифте, а также то место, где он узнает самого себя в кинематографе. Правильно ли я понял, что Людмила отдается Ганину на полу таксомотора? Не думаю, чтобы у тебя был подобный опыт, — иначе бы ты знал, что такого не бывает.

"Нью-Йоркер" посылает меня в Англию и во Францию, и через месяц я уеду. Меня только что всего искололи прививками от бессчетных болезней.

Привет Вере.

Эдмунд У.

---

20 января 1945

Мой дорогой Кролик,

бывает; и не раз бывало в берлинских таксомоторах образца 1920 года. Помнится, я задавал этот вопрос многочисленным русским таксистам, белогвардейцам и чистокровным аристократам, и все как один говорили, да, именно так дело и обстоит. Боюсь, американская техника любви в таксомоторах мне совершенно неведома. Некто Пиотровский, поэт à ses heures[1], рассказывал мне, как однажды вечером он подвозил кинозвезду и ее спутника. Из природной вежливости (дворянин в изгнании и все прочее) он, когда машина остановилась, распахнул перед клиентами дверцу, и парочка in copula[2] вылетела головой вперед и проплыла мимо него, как "четвероногий дракон" ("Отелло" он читал).

Наслаждаясь "Машенькой", не забывай, что книжку эту я написал 21 год назад — то был мой первый опыт в прозе. Девушка действительно существовала.

Лафлин пишет, что всеми силами стремится издать мою книгу стихов, но *у метранпажа запор*. В нашем с ним договоре есть пункт, где говорится, что, если книга не выйдет до первого января 1945

1. Здесь: среди прочего (*франц.*).
2. Совокупляющаяся (*лат.*).

года, он теряет все права на ее публикацию, а заодно и деньги, которые мне выплачены. Дождусь 1 февраля. Что происходит с нашей книгой в "Даблдей"?

Хочу повидать тебя до твоего отъезда. В Нью-Йорке буду в субботу вечером и в воскресенье 10—11 февраля. Как тебе понравилось, что всю вину в Греции старикан возложил на троцкистов?

Твой

В.

Как ты мог назвать этого шарлатана Манна в одном ряду с П. и Д.? [Прустом и Джойсом. — *А. Л.*]

Альберго-делла-Читта
Виа Систина
Рим
31 мая 1945

Дорогой Володя,

на днях я шел по этой маленькой улочке, где находится моя гостиница, с любопытством разглядывал ряд hôtels borgnes[1], чьи наглухо закрытые двери открываются лишь поздно вечером, впуская солдат с их подружками, — и, представь мое удивление, когда на одном из фасадов относительно респектабельного жилого дома я обратил внимание на мраморную доску, повешенную здесь в 1901 году русской колонией, с бронзовым барельефом головы Гоголя и надписью: *Здесь Гоголь писал "Мертвые души"*. Еще раньше я обнаружил, что через улицу от меня находится дом Д'Аннунцио, на соседней — дом Стендаля, у подножия Испанской лестницы, спускающейся к Виа Систина, — дом, в котором умер Китс, да и дом *немецкого пошляка* Гёте тоже, как выяснилось, находится неподалеку. Пока что (увы!) я еще не сочинил здесь ничего, что могло бы сравниться с "Мертвыми душами" или с лучшими стихами Китса, — тем не менее (благодаря оккупационным войскам союзников) у меня превосходный номер на предпоследнем этаже с балконом, где я провожу часть дня и откуда любуюсь Римом.

Обо всех и обо всем в письме не расскажешь — вместо этого приведу тебе отрывок из письма Полли Бойден, которое я только что получил из Труро; отрывок этот, убежден, потешит твое неутолимое нарциссическое тщеславие. "Я случайно прочла, — пишет она, — 'Гоголя' Набокова, и книга мне так понравилась, что я купила 'Себастьяна Найта'. Думаю, я ни разу в жизни не встречала человека, который был бы в большей мере художником, чем Набоков, и у меня, когда я читала эти замечательные книги, замирало серд-

1. Сомнительных отелей (*франц.*).

це от сознания того, что ведь я и в самом деле встречалась с ним — это все равно что 'увидеть воочию Шелли'. И это несмотря на то, что последний абзац 'Подлинной жизни' получился каким-то слишком уж недвусмысленным. У меня возникло такое впечатление, будто Набоков вдруг, всего за несколько строк до конца романа, признал себя побежденным!"

Из всех римских новостей тебе, должно быть, больше всего понравится сообщение о том, что Марио Прац, интеллектуал, довольно эксцентричный автор "La Carne, la Morte & il Diavolo nella Letteratura Romantica"[1], который учит русский язык и только что одолел *Шинель*, с большим энтузиазмом отзывался о твоей гоголевской книжке, которую он где-то раздобыл и экземпляр которой попался в книжном магазине и мне. В остальном же Европа, как ты, наверно, догадываешься, находится в состоянии довольно плачевном. Руины итальянских городов производят впечатление настолько тяжелое, что хочется убежать от них подальше; ничто еще не оказывало на меня воздействие столь удручающее. Итальянцы постоянно просят увезти их в Америку (куда перебрались многие их друзья и родственники) или же добиться того, чтобы Италия стала одним из американских штатов. Рим почти совсем не пострадал и прелестен, хотя двоюродная сестра Нины, которую я обещал разыскать, живет в районе, куда угодила бомба; дом напротив нее разрушен до основания, стекла в квартире бедной пожилой женщины выбиты и застеклены либо чем-то непрозрачным, либо не застеклены вообще. На могиле итальянского фашизма собрались, кажется, представители всех национальностей — попробую написать про это в "Нью-Йоркер", быть может, что-то вроде рассказа.

Надеюсь, дела у тебя спорятся. Передай от меня привет Вере и Дмитрию. Подумать только: Чичиков был *выдуман* Гоголем на этой славной маленькой улочке под чистым итальянским небом, так далеко от мира "Мертвых душ". Как твои бабочки и как твой роман?

Всегда твой

ЭУ.

---

8 Крейджи-сёркл
Кембридж, Масс.
17 июня 1945

Дорогой Кролик,

я уже начал было за тебя беспокоиться, когда получил два твоих милых письма. От миссис Уайт я узнал, что ты в Италии. *Адриатические волны... О Брента!..* И замечательный ответ Ходасевича:

1. "Плоть, смерть и дьявол в романтической литературе" (*итал.*).

Брента – рыжая речонка, и т. д. У *Блока* и *Бунина* тоже есть чудесные стихи об Италии.

Италия Италией — но когда ты возвращаешься? Кстати, Николай сейчас тоже в Европе: послан в Германию в чине полковника. *Чудеса.*

Две или три недели назад я пристроил в "Нью-Йоркер" один свой рассказ — и отлично на нем заработал. К сожалению, некий господин по имени Росс принялся его "редактировать", и я написал миссис Уайт, что не могу принять его нелепую и несносную правку (всевозможные вставки, дабы "увязать мысли" и прояснить их "среднему читателю"). Такого у меня еще не было, и я уже собирался расторгнуть договор, когда в журнале вдруг пошли на попятный, и, если не считать одной пустяшной "связки", о которой миссис Уайт попросила меня в качестве личного одолжения, — рассказ остался более или менее нетронутым. Я вовсе не против того, чтобы правили мою грамматику, но дал вполне недвусмысленно понять "Нью-Йоркеру", что dorénavant[1] не потерплю, чтобы мои рассказы "исправляли" и "редактировали". *Я ужасно был зол.* Миссис Уайт написала мне несколько писем, дважды звонила по телефону и в конце концов приехала сюда ко мне (по пути в Мейн). Сейчас все улажено. <...> Я бросил курить и глубоко несчастен. В июле, может статься, поедем в Нью-Гэмпшир. Переписка, которую мы по этому поводу вели, оказалась весьма поучительной. Так, словосочетание "современные удобства" означает, что в доме имеется ватерклозет, но нет ванны. "Христианская клиентура" звучит еще более забавно — и примерно так же заманчиво.

Пиши же, *друже* (это — *звательный падеж* от *друг*).

Вера шлет привет, а Дмитрий — ветрянку.

Твой

В.

---

8 Крейджи-сёркл
Кембридж
27 сентября 1945

Дорогой Кролик,

очень рады были узнать, что ты de retour[2]. Без тебя было ужасно скучно. Спасибо за приглашение. С удовольствием бы приехали, но сделать это удастся разве что на выходные, в Колумбов день, да и то не наверняка. Было бы замечательно, если б приехал в Бостон ты.

Мне стало известно о твоих домашних делах от всезнающего общего друга после нашей последней встречи в Нью-Йорке (когда

1. Впредь (*франц.*).
2. Вернулся (*франц.*).

мы с тобой говорили о матримониальных проблемах Никки; теперь он — полковник Набоков, пребывает в Германии с культурной миссией). Я надеялся, что все как-нибудь *утрясется*, но из твоего письма делаю вывод, что надеяться не на что. Не знаю, что и сказать, разве что "крайне" расстроен всей этой историей; к тому же с тобой напрямую я об этом не говорил и вынужден был поэтому цедить слова и сопоставлять различные слухи.

Большую часть лета мы провели в Уэллсли. Я бросил курить и чудовищно растолстел. Кинематографическая фирма в Париже приобрела права на мой роман ("Камера обскура", она же — "Смех во тьме"). Из двух моих европейских братьев младший, как выяснилось, работает переводчиком в американских войсках в Германии; меня он разыскал, обнаружив в "Нью-Йоркере" мой рассказ. Другой же мой брат брошен был немцами в один из самых страшных концентрационных лагерей (под Гамбургом) и там погиб. Это сообщение потрясло меня до глубины души, ибо я не мог себе представить, чтобы такого, как Сергей, арестовали (за "англосаксонские" симпатии); то был совершенно безвредный, ленивый, восторженный человек, который безо всякого дела курсировал между Латинским кварталом и замком в Австрии, где жил со своим другом.

Делаю я то же самое, что и в прошлом году: препарирую бабочек в Музее и обучаю русскому языку девиц в Уэллсли. Я многое забыл, Чинара. Желание писать порой нестерпимо, но коль скоро я не могу писать по-русски, то не пишу вообще. Чинара — это русский язык, а не женщина.

Мы сдали экзамены на гражданство, и теперь я знаю наизусть все поправки к Конституции.

Твоя статья о Греции мне очень понравилась, в особенности же — описания природы. Но где, скажи на милость, ты обнаружил там ели? В 1919 году я провел в Греции пару месяцев, охотясь на бабочек в Кефисии и в других местах. Все эти мраморные колонны и статуи, когда они покрашены, выглядят, должно быть, на редкость аляповато. Греция для меня — это маслины, и только.

Что ж, Кролик, очень надеюсь, что скоро увидимся. Пожалуйста, пиши почаще.

В.

---

30 октября 1945

Дорогой Кролик,

прошлой ночью прочел "Крах". Первоклассная, здоровая литература. Очень мне понравилось — равно как и твое стихотворение. Подари мне свою книгу на Рождество и не забудь про дарственную надпись. Отлично написанная вещь; отлично написанная и весьма здравая.

Как поживаешь? В Бостон не собираешься?

Я перевел кое-что из Лермонтова и написал довольно большой кусок романа.

Сколько всего хочется рассказать тебе, показать, обсудить с тобой.

В.

Книга Симонова не лучше и не хуже всего того вздора, который издается в России последние 26 лет (исключение составляют Олеша, Пастернак и Ильф–Петров).

---

24 декабря 1945

Дорогой Кролик,

существуют несколько причин, объясняющих, почему "Гамлет" — даже в жутких, изуродованных сценических версиях — привлекает и истинного ценителя, и зрителя невзыскательного. 1. Всем нравится, когда на сцене появляется призрак. 2. Короли и королевы также привлекательны. 3. Число и разнообразие смертей в этой пьесе велико, как нигде, а потому a) убийство по ошибке; b) отравление (в пантомиме); c) самоубийство; d) смерть от воды и от лазания по деревьям; e) дуэль; f) снова отравление и прочие прелести за кулисами не могут не доставлять удовольствие. Между прочим, критикам никогда не приходило в голову, что Гамлет ведь убивает короля в середине пьесы; то, что жертвой оказывается не король, а Полоний, не отменяет того факта, что Гамлет с королем разделался. Антология убийств.

Мы все же надеялись, что ты у нас в эти дни появишься. <...> Я в поте лица тружусь над романом (и очень хочу показать тебе пару новых глав). Ненавижу Платона, на дух не переношу Лакедемон и все идеальные государства. Я вешу 195 фунтов.

Душевно твой

В. Набоков.

Спасибо за восхитительного Афанасьева!

1946

1 февраля 1946

Дорогой Кролик,

спасибо за твои замечания (хотя я и не понял, что ты имел в виду под моей "американизацией"). Лермонтов в самом деле банален, *мир печали и слез* — пошлость (к тому же тавтология), и коль скоро я

к нему достаточно равнодушен, я не стремился улучшить те места, которые вызывают у тебя вопросы. Впрочем, все, на что ты обратил внимание, совершенно справедливо. Кстати, в черновике у меня был конь с черной как смоль гривой.

Десятого числа этого месяца я принимаю участие (вместе с Эрнестом Симмонсом и каким-то драматургом) в радиопередаче про гоголевского "Ревизора" из серии (кажется) "Приглашение к знаниям". Поэтому еду в Нью-Йорк и буду очень рад тебя там увидеть. Приеду 9-го, во второй половине дня. Пока не знаю, где найду un gîte[1]. На две ночи. В понедельник должен вернуться.

Когда увидимся, расскажу о многом; развею туман своей академической карьеры. Мое положение в колледже, где я преподаю, столь шатко, и платят мне так мало, что очень хочется подыскать что-нибудь более надежное и выгодное. Я слышал, например, что вроде бы имеется какая-то вакансия в Принстоне. Мое финансовое положение оптимизма не внушает. Тем более что я не особенно рассчитываю, смогу ли пристроить свой роман (через пару месяцев он будет закончен). Этим я хочу сказать, что на литературные заработки надеяться не приходится. Идиотская популярность, которой, судя по тому, что права оспаривают 14 агентов, пользуются мои книги в Европе, ничего, кроме раздражения, у меня не вызывает, поскольку платят европейцы франками или лирами, да и переводы чудовищны.

Твоя статья о Чайковском превосходна. Но надо было ему и его братцу всыпать за либретто к операм. И всыпать как следует.

Надеюсь на скорую встречу.

В.

---

7 февраля 1946

Еду отсюда одиннадцатичасовым в субботу, поэтому у тебя буду, думаю, в районе 4-х.

Дорогой Кролик,

вижу, что мой нехитрый намек свое действие возымел. Большое спасибо. Я отправил тебе телеграмму, но выяснилось, что сейчас "забастовка" или что-то в этом роде, поэтому телеграмма может опоздать или затеряться.

Видел бы ты *Пиковую даму* в старые времена в Мариинском театре! Костюмы были пошиты по моде начала XVIII века, так что отношение восьмидесятилетней старой графини к версальскому двору и к Марии Антуанетте было по меньшей мере нелепым, а либретто — отвратительным! Примерно в 1912 году, однако, *Музыкальная драма* в эту и некоторые другие оперы внесла ряд изменений.

1. Здесь: приют (*франц.*).

(Помнится, в последней сцене "Кармен" двое английских туристов в ладно скроенных клетчатых пиджаках фотографируют происходящее, а на стене висит настоящий плакат "Corrida de toros"[1].)

Буду очень рад скоро с тобой увидеться.

В.

В февральском номере журнала "Эллери Куинн" тебе досталось от какого-то господина.

[*На полях*]

Загадка: превосходный перевод на французский язык песни из пушкинских "Цыган" в либретто Галеви к "Кармен". (Возможно, этот перевод был найден в бумагах Мериме?)

---

16 февраля 1946

Дорогой Кролик,

я по-прежнему в постели, "пребываю в блаженном покое". По возвращении температура у меня была около 102.

Рад был тебя повидать. "Встретить американца всегда приятно, ибо я принадлежу к тем людям, которые полагают, что ни безумие монарха, ни заблуждения министра в давние времена не помешают нашим детям в один прекрасный день стать гражданами огромной страны под флагом, в котором 'Юнион Джек' будет сочетаться со 'Звездами и полосами'" ("Знатный холостяк"). <...>

Толстый том [Шерлок Холмс. — *А. Л.*] оказался отличным спутником, хотя отредактирован он довольно неряшливо. Например, совершенно очевидно, что "Установление личности" должно предшествовать "Союзу рыжих" (а не следовать за ним, как в этом томе), ведь в нем имеется ссылка на героиню предыдущего рассказа.

В наши дни люди не бледнеют так часто, как они бледнели (и бледнеют до сих пор) в художественной литературе. Когда преступник не отъявленный негодяй, но обвиняется в убийстве, его обыкновенно отправляют в Америку, после чего корабль, как правило, куда-то пропадает вместе со всей командой. Больное сердце пригождается, когда убийцы делают свое дело со вкусом.

Вспоминая различные подробности своего весьма приятного пребывания [в Нью-Йорке. — *А. Л.*], я с ужасом сообразил, что в разговоре с Оденом спутал его с Айкеном и расхваливал последнего, используя второе лицо единственного числа. Теперь-то я понимаю, отчего в его глазах промелькнул испуг. Как глупо — такое, впрочем, случалось со мной и раньше.

1. Бой быков (*ист.*).

Спасибо за замечания. Скоро пришлю тебе остальное — но в более или менее окончательном виде, так что опечаток и ляпсусов будет меньше, и действовать тебе на нервы они не будут.

Яйцо и малиновая сумка имели у Дмитрия огромный успех. Мы — все трое — шлем тебе наши приветы.

ЭВ

---

8 Крейджи-сёркл
2 марта 1946

Дорогой Кролик,

спасибо за оперативность. К сожалению, я в ближайшее время не буду в Нью-Йорке, а потому не смогу побывать в Принстоне и встретиться с твоим другом. Разумеется, я приеду *специально*, если ты сочтешь, что из этого что-то получится. Я пребываю в очень скверном настроении, так как постоянного места в Уэллсли не предвидится, а быть преподавателем с низкой зарплатой мне надоело. В следующем году (мне дали понять, что речь может идти только о годовой вакансии) мне предложили 3000 долларов в год за десять часов в неделю — а всего недель 37. Больше же всего меня беспокоит полное отсутствие гарантий.

Все это — между нами; мне бы не хотелось, чтобы об этом знали мои друзья.

Надеюсь весной закончить роман. Один из переводов Лермонтова и стихотворение-кошмар, которые мне вернули в прошлом году из "Нью-Йоркера", должны выйти в "Атлантике", а остальные переводы Лермонтова отправлены в "Русское обозрение".

До сих пор испытываю приятный трепет, вспоминая тот теплый прием, который ты оказал мне в Нью-Йорке.

Будь здоров.

---

24 марта 1946

Дорогой Кролик,

огромное спасибо за чешуекрылых. Большинство из них принадлежит к Ebriosus ebrius[1], но есть некоторое количество, при-

1. Беспробудный пьяница (*лат.*).

надлежащих к семейству vinolentus[1]. По крайности, одна особь представляет собой аутентичную A. luna, неясно увиденную сквозь стакан (джина). Человек, рисовавший этих насекомых, обладал следующими свойствами:

1, Не был энтомологом.

2, Смутно представлял себе тот факт, что чешуекрылые имеют четыре, а не два крыла.

3. Столь же нетвердо был знаком скорее (очень относительно, разумеется) с ночными бабочками (Heterocera), нежели с бабочками (Rhopalocera).

4. Последнее обстоятельство может означать, что одно время он, должно быть, проводил июнь (ибо luna, запавшая ему в память, встречается только в начале лета) в сельском коттедже, в штате Нью-Йорк; ночи там теплые, темные, томные.

5. Он не был курильщиком, ибо в противном случае пустая коробка из-под сигарет "Риджент", где хранились рисунки, содержала бы в себе несколько крошек табаку — в том случае, если бы он пользовался ее содержимым раньше; в действительности же она просто попалась ему на глаза и он ею воспользовался. [На полях: Логика железная]

6. Не исключаю, что рядом с ним была женщина. Она передала ему ножницы, чтобы вырезать из оберточной сигаретной бумаги экземпляр Vino gravis[2]. Ножницы были маленькие и острые, поскольку была предпринята попытка — впрочем, неудачная — вырезать одну из ночных бабочек на бумажной салфетке.

7. На крышке коробки от сигарет видны едва заметные следы помады.

8. Когда он начал рисовать, он еще не приступил к еде, поскольку первое чешуекрылое (pseudo luna) было нарисовано на бумажной салфетке, когда та была еще сложена.

9. Он не был живописцем, но, может статься, был писателем; впрочем, наличие шариковой ручки ничего еще не доказывает: он вполне мог одолжить ее у находившейся рядом женщины.

10. Все могло начаться с самой обыкновенной завитушки, однако дальнейший процесс носил характер вполне сознательный.

11. В целом изображенные им ночные бабочки напоминают cherteniat diablotins[3].

12. У него создалось впечатление, что тельце ночной бабочки — это всего лишь брюшко; он разъял его сверху донизу, что, возможно, означает, что желудку он доверяет больше, чем сердцу; он счел бы, что уместно объяснить то или иное свое действие причинами материальными, а не сентиментальными.

1. Налившийся вином (*лат.*).
2. Букв.: опьяненный вином (*лат.*).
3. Чертенята (*франц.*).

13. Беседу поддерживала женщина.

Вот и все, дорогой Ватсон. С нетерпением жду встречи с тобой! Твоя книга вызвала среди моих литературных друзей настоящую "сенсацию". Меня одинаково мало привлекают и "пахучие дыни" Мэрион Блум, и bonnes grosses joues[1] Альбертины; зато я с радостью последую за Родольфом ("Avançons! Du courage!"[2]), когда тот ведет Эмму в заросли папоротника к ее лучезарному концу. Я хочу сказать, что только в этом, чисто физиологическом смысле я критиковал prouesses[3] твоего героя.

С любовью.

Твой

В.

---

8 Крейджи-сёркл
Кембридж 38, Масс.
Керкленд 24–58
25 мая 1946

Дорогой мой Эдмунд,

Что же это – надеялся, что ты залетишь в Бостон, а тебя все нет да нет... Когда же мы увидимся?

Я кончил роман. Перечитал и частично переписал главы, которые ты видел, еще пара недель уйдет на устранение всего лишнего. На книгу я потратил четыре года и сейчас перевожу дух, а рядом лежит мой розовый и пухлый новорожденный. Я, помнится, говорил тебе, что первую часть (с твоими исключительно полезными замечаниями) мне прислали обратно из "Даблдей". Теперь собираюсь отправить им весь машинописный текст и посмотреть, что они скажут. Не знаю, удалась ли эта вещь, но она во всяком случае честна, то есть соответствует, насколько это в силах человеческих, тому образу, который я в себе вынашивал. Очень надеюсь, что "Даблдей" или кто-то еще купит ее – денег чертовски не хватает: собственно, по этой причине не могу позволить себе отправиться в столь необходимый мне отпуск. Но я рад, что наваждение и бремя исчезли. Это также означает, что теперь я смогу что-нибудь написать для "Нью-Йоркера" (который все это время терпеливо сносил мою бездеятельность). <...>

Как дела? Что происходит? Твоя рецензия на Троцкого мне понравилась, хотя, боюсь, далеко не все знают разницу между "думой" и "Думой". <...>

"Себастьян", благодаря твоим безудержным похвалам, пользуется в Англии успехом. Я открыл новую бабочку среди тех, что

1. "Славные, толстые щеки" (*франц.*).
2. "Ну же! Смелей!" (*франц.*) Перевод Н. Любимова.
3. Проделки (*франц.*).

были присланы мне из Оксфорда и собраны на Каймановых островах.

Напиши мне.

Всецело твой

В.

---

8 Крейджи-сёркл
Кембридж 38, Масс.
Керкленд 24–58
21 июня 1946

Дорогой Кролик,

мне бы ужасно хотелось посмотреть, как ты подъезжаешь, сидя очень прямо, в допотопном автомобиле. Спасибо за приглашение на Кейп-Код. Отослал роман в "Даблдей". Называется он (предварительно) "Solus Rex" (черный король — один) — термин из шахматной задачи. Спасибо, что подготовил их к шоку. Насколько я помню, ты говорил о романе и с Тейтом тоже? Вопрос: могу я послать второй экземпляр в "Холт", не дождавшись ответа из "Даблдей"? В литературных кругах это bien vu[1]? Или не принято? Моими книгами занимаются мелкие агенты, и я в подобных вещах мало что смыслю.

Найдя у себя: 1) неизлечимую болезнь сердца, 2) язву, 3) рак пищевода и 4) камни во всем организме, — я лег во вполне приличную клинику на тщательное обследование. Врач (профессор Зигфрид Таннхойзер) счел, что нахожусь я в приличной форме, но страдаю от острого нервного истощения, вызванного сочетанием энтомологии, Уэллсли и романа, и порекомендовал взять двухмесячный отпуск. Поэтому мы сняли коттедж в Нью-Гэмпшире на озере Ньюфаунд и едем туда в середине следующей недели. Уикс заплатил мне аванс.

Настроен я крайне антибритански. Посоветуй Дмитрию какие-нибудь хорошие книжки.

Твой

В.

Лафлин спрашивает, каково будущее "Трех русских поэтов"? Он, вероятно, распродал тираж, да и срок, который я ему назначил, подошел к концу. Каковы планы относительно нашей книги в "Даблдей"? Я сделаю, как ты скажешь. Если до выхода нашего тома в "Даблдей" есть еще полтора-два года, Лафлин может захотеть переиздать "Трех поэтов".

---

1. Здесь: считается приличным? (*франц.*)

8 Крейджи-сёркл
Кембридж 38, Масс.
Керкленд, 24–58
18 июля 1946

Дорогой Кролик,

"прихожу в себя" (от того, что было, по существу, нервным срывом) в Нью-Гэмпшире. Место чудовищное (шоссе, лавочники, bourgeois en goguette[1], объявления вроде: "Нееврейская клиентура" — в одном из таких местечек я устроил скандал), но мы заплатили вперед и уехать до 18 августа все равно не можем. Из Нью-Гэмпшира на месяц отправимся в Уэллсли.

"Даблдей" еще не ответил. Не думаю, чтобы им пригодился мой роман, и, как только они пришлют обратно рукопись, я перешлю ее тебе, а второй экземпляр — "Холту".

Как всегда, очень хочу тебя видеть.

Твой В.

---

13 сентября 1946

Дорогой Кролик,

спасибо за твое милое письмецо. Я снова вполне здоров — здоровее некуда. Чуть не забыл: если тебя будут обвинять в сочинении аморальных книг, пожалуйста, сошлись на следующие издания:

"Интерлюдия на острове". "Ридерз Дайджест", сентябрь 1946, глава 25, с. 123.

"Там, где дуют сильные ветры". "Интернешнл дайджест", сентябрь 1946, глава 3, с. 95.

Вот где настоящая непристойность. Пусть твои адвокаты предъявят эти книги в суде. В "Интерлюдии" рассказывается про моряков, которые разглядывают в телескоп принимающих душ медсестер; весь смысл истории — в родинке на правой ягодице одной из девиц. "Сильные ветры" — в основном про то, как совокупляются эскимосы (см. с. 106–107), а их дети "воспроизводят действия родителей, которые хихикают, радуясь способностям своих отпрысков". На 108-й странице иллюстрация: двое малышей пытаются совокупляться, а их родители "хихикают". Подобные "дайджесты" с удовольствием читают во всех школах. Быть может, эти два примера тебе пригодятся.

1. Веселящиеся буржуа (*франц.*).

Очень хочу тебя видеть. Я — в Музее с 9 до 12 утра в понедельник, среду и пятницу. Было бы замечательно, если б ты приехал во вторник, или в четверг, или в субботу.

Лафлин хочет переиздать моих "Трех поэтов", но заодно — обеспечить себе "гарантии" на пять лет. Я их ему предоставлю, если ты уверен, что нам не понадобится этот материал для нашей книги в "Даблдей" до 1951 года. Поскольку Лафлин вскоре собирается в Европу, не мог бы ты черкнуть мне по этому поводу пару строк?

Я написал в "Даблдей" (Бредбери), чтобы они поторопились: мой роман они читают с мая, должны были выучить его наизусть. Всей рукописи ты еще не видел, а мне очень хочется, чтобы ты ее прочел. На днях был в Нью-Йорке и видел Романа [Якобсона. — *А. Л.*]; мы загорали у него на крыше, а потом я играл в шахматы с Яновским.

Перечитываю Толстого и Достоевского. Последний — третьестепенный автор, и слава его для меня непостижима.

Крепко жму твою руку.

В.

Между 13 и 30 сентября 1946

Дорогой Кролик,

вчера меня посетил Маккормик. Романы о "диктаторах", сказал он, сегодня не востребованы. Читатель предпочитает "эскапистскую" литературу, а стало быть, мой роман "не ко времени". Тем не менее его интересовало, не хочу ли я подписать контракт, такой же, как у некоего Стоуна (определенная сумма в год, на которую писатель живет, пока пишет). Ты ведь знаешь, как я устал от тяжкого и неблагодарного преподавательского труда, а вернее, от неспособности совмещать преподавание с сочинительством. Поэтому я сказал, что принять такое предложение буду рад. Он спросил, сколько я получаю в Уэллсли (3000), и я ответил (3000). Поскольку расстаться с Уэллсли означает расстаться со всеми надеждами получить звание "ассоциативного" профессора и пр., сумма, которую я запрошу, будет, разумеется, несколько больше. Мы заговорили о возможном переиздании "Книги бабочек" Холланда, которую они в свое время выпустили (последнее издание 1931 года). Маккормик спросил, что я пишу или собираюсь писать, но я затруднился объяснить ему tout de go[1], что собой представляет новый роман, который я задумал, и написал ему об этом только сегодня, да и то в общих чертах.

1. Сразу же (*франц.*).

Повторюсь, очень буду рад, если дело с контрактом сложится, но ничуть не меньше мне хочется как можно скорее опубликовать мой роман про Круга. Как ты считаешь, из этого что-нибудь получится?

Еще одно. Тейт, которому я показал рукопись в частном порядке (дав понять, что не передаю ее в его издательство "Холт"), шлет мне письма и телеграммы с просьбой приехать в Нью-Йорк (за его счет). Я ему отвечаю, что, пока "Даблдей" не даст ответ, ничего сделать не смогу.

Мы с Маккормиком договорились, что первого октября, во вторник, он увидится на совещании со "своими директорами", и тогда они примут решение с учетом того, что я их план одобряю.

Пожалуйста, напиши мне. Уверен, ты и на этот раз, как всегда, мне помог, но без твоего совета мне все равно не обойтись.

Твой В.

Очень хочется узнать поподробнее про твой "процесс". Материалом, который я тебе предложил, защита сможет воспользоваться? Все эти "дайджесты", "подмигивания", "подглядывания" и т. д. — вот кого надо судить! "Округ Гекаты", напротив, чист, как глыба льда в операционной.

---

8 Крейджи-сёркл
Кембридж 38, Масс.
Керкленд 24—58
1 октября 1946

Дорогой Кролик,

не знаю, где ты. Чем кончился нью-йоркский процесс? Я был в Нью-Йорке незадолго до тебя (свидетель — Тейт). Мой роман достанется тому, кто предложит бóльшую цену, — "Холту".

Наконец-то я сравнил "Чумной город" Уилсона с *Пиром во время чумы*. Последний является на удивление точным переводом первого, за исключением двух песен, которые не имеют с уилсоновскими ничего общего (и у Пушкина гораздо лучше). Мой собственный перевод *Пира* на английский во многом, увы, близок к уилсоновскому оригиналу, но в целом его превосходит.

Будь добр, черкни мне записку.

Твой В.

"Холт" дает аванс 2000. "Даблдей" предлагает только 1000. В "Холте" книга понравилась, "Даблдей" остался к ней равнодушен.

Минден-инн
Минден, Невада
17 ноября 1946

Дорогой Володя,

ужасно был рад, когда узнал про твою книгу. А они готовы субсидировать тебя, пока ты пишешь следующую?

Я снял номер в маленькой, но отличной сельской гостинице, где веду тихую, деятельную и здоровую жизнь. Читаю ранние книги Мальро и прихожу к выводу, что он, вероятно, крупнейший современный писатель. Тебе когда-нибудь приходилось читать "La Condition Humaine"[1]? Интересно было бы узнать твое мнение.

Я здесь женюсь, потом на несколько дней поеду в Сан-Франциско, а потом отправлюсь обратно на восток. Из Невады я уезжаю 10 декабря, а в Нью-Йорк приезжаю 18-го. Рождество и остаток зимы проведу в Уэллфлите. Очень надеюсь, что вы нас навестите. Женюсь я на девушке по имени Елена Торнтон (в девичестве — Мамм), она дочь винодела, производителя шампанского. Ее мать русская, фамилия ее матери Струве. Она дружит с Ниной и Николаем, и ты, может быть, про нее от них слышал. Все складывается так замечательно, что боюсь, как бы не стряслось что-нибудь ужасное — землетрясение в Сан-Франциско, например.

Мое дело слушалось в начале ноября, и решение будет вынесено 27-го. Напиши мне сюда. Ужасно хочется дочитать твой роман до конца. Привет Вере.

Всегда твой

Эдмунд У.

---

27 ноября 1946

Дорогой Кролик,

ужасно был рад твоему письму из Невады. Мы с Верой желаем тебе и твоей жене mnogo samovo luchezarnovo shchast'ia. Надеемся в самом скором времени увидеть вас обоих.

Мой роман — его окончательное название "Под знаком незаконнорожденных" — отправлен в печать. Второй экземпляр рукописи более или менее расчленен (кое-что, думаю, будет опубликовано в журналах), поэтому я по-прежнему не могу прислать тебе роман целиком. Что-то мне подсказывает, что было бы лучше всего, если бы ты судил о романе только по его окончательной — если не по изданной, то хотя бы по корректурной — версии, тем более

1. "Удел человеческий" (*франц.*).

что первые главы я существенно изменил. Так что можешь считать, что романа ты еще не видел. Хочу, чтобы он попал к тебе целиком и стал настоящим сюрпризом — своего рода свадебным подарком.

Шарж Дэвида Левина

Et maintenant — en garde[1]. Отказываюсь понимать, отчего тебе нравятся книги Мальро. Или это шутка? Или литературный вкус — вещь столь субъективная, что два разумных человека расходятся по столь ничтожному поводу? Твой Мальро — самый обыкновенный третьеразрядный писатель (но хороший, добрый, очень приличный человек). J'ai dressé[2] небольшой список вопросов (относительно "La Condition Humaine"), на которые жду от тебя ответа.

1. Что это за прелюбопытные couvertures, в которые envelloppés femmes,enfants et vieillards[3]? Боже, что за сочетание! Сочетание, повторяющееся в десятитысячный раз! И где, чёрт возьми, автор видел, чтобы чихали на морозе?

2. Что прикажешь понимать под grand silence de la nuit chinoise (попробуй заменить: de la nuit americaine, de la nuit belge[4] и т. д., и посмотри, что получится, и, пожалуйста, не забудь, что Китай состоит из огромного числа биотически разных областей). С детства помню поразившую меня надпись золотыми буквами: Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens. Так вот творчество Мальро принадлежит к Compagnie Internationale des Grands Clichés[5].

3. Разве сверчки (проклятый Богом сверчок — приевшаяся примета местного колорита), éveillé[6] из-за прихода одного из действующих лиц (с. 20), а также комары (с. 348), могут появиться ранней весной в Шанхае? Очень сомневаюсь.

4. Ты никогда не замечал, как плохие писатели силятся придать индивидуальность своим (безнадежно аморфным) персонажам, наделяя их каким-нибудь речевым трюком (подобно тому, как Голсуорси, или Хью Уолпол, или какой-нибудь еще английский *середняк* снабжали кого-то из своих героев собакой и вынуж-

1. А теперь — берегись (*франц.*).
2. Я составил (*франц.*).
3. Одеяла... кутаются женщины, дети и старики (*франц.*).
4. Великое молчание китайской ночи... американской ночи, бельгийской ночи (*франц.*).
5. "Международная компания спальных вагонов и европейских экспрессов"... "Международная компания великих штампов" (франц.).
6. Разбуженные (*франц.*).

дены были потом всякий раз, когда герой появлялся, на эту собаку ссылаться)? Никогда не поверю, что ты в состоянии вынести постоянно встречающиеся bong Тчена, 'bsolument Катова и прочие soi disant[1] особенности речи, от которых меня передергивает (все они весьма типичны для автора, который, подобно Мальро, начисто лишен чувства юмора). Этим приемом широко пользуются русские (советские) писатели в трогательном стремлении придать некоторую оригинальность или привлекательную черту тупо сдержанным, волевым, бескомпромиссным коммунистам, которых они изображают; то же самое делают и авторы детективов со своими сыщиками.

5. Какого рожна дал он своему русскому bonhomme[2] фамилию, кончающуюся на "в" и производную — чего он, разумеется, не знал (я называю это la vengeance du Verbe[3]) — от старого русского слова "кат", которое означает "палач"? Быть может, он позаимствовал "Schatow" из немецкого перевода (или из французского перевода, воспользовавшегося немецкой транслитерацией) романа Достоевского и заменил первые согласные на "к" от Каляева. La vengeance pure du Verbe bafouillé[4].

6. Что следует понимать (с расовой, политической, визуальной, любой другой точки зрения) под Russe du Caucase[5] (с. 101), каковой является чрезвычайно несносная любовница французского капиталиста-индивидуалиста, почерпнутого у Лоти и Декобра? И как тебе нравится "beau visage d'Américain un peu (скажем, процента на три) Sioux"[6]?

7. Фраза "quand j'étais encore socialiste-revolutionnaire"[7], оброненная между делом коммунистом Катовым (как сказала бы лягушка: когда я была еще головастиком), разумеется, напрочь лишена смысла и филогенетически, и онтогенетически, но, вероятно, понадобилась, чтобы попытаться объяснить его склонность к террористической деятельности.

8. Неужели ты и в самом деле отказываешься признать, что "La Condition Humaine" (равно как и его же "Temps du Mépris"[8]) — это сплошное нагромождение штампов? Проанализируй тривиальность таких предложений, как "jamais il n'eut cru" и т. д. (с. 202) или "il fallait revenir parmi les hommes"[9] и бессчетное число прочих по-

1. Хорошо (вместо bon)... безусловно (вместо absolument)... так называемые (*франц.*).
2. Здесь: персонажу (*франц.*).
3. Месть слова (*франц.*).
4. Чистая месть невнятно произнесенного слова (*франц.*).
5. Кавказская русская (*франц.*).
6. "Красивое лицо американца, немного... похожего на туземца племени сиу" (*франц.*).
7. Когда я еще был социалистом-революционером (*франц.*).
8. "Время ненависти" (*франц.*).
9. "Он никогда бы не поверил"... "нужно было возвращаться к людям" (*франц.*).

шлостей (веера однотипных, невнятных пошлостей в современном стиле вроде simplicité héroique – qu'il mourut[1].)

9. A chevo stoiat odni eti zagolovki: Minuit, Trois Heures du Matin[2] и т. д!

10. Ты читал Пильняка, Лидина, Всеволода Иванова и других потомков Савинкова и Андреева, то есть писателей первого советского десятилетия, которые любили переносить действие в Китай и делали это куда лучше?

11. Ты не пробовал расспросить культурного китайца о чудовищных ошибках в "La Condition Humaine"? Конечно же, хуже всего – (ложный) упор на (точный) местный колорит. Умирающий англичанин вспоминает меловые скалы Дувра. Верно, он может про них вспомнить, но станет ли?

Вот к чему сводится моя позиция. Чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь, что значимо в литературе только одно: (более или менее иррациональное) shamanstvo книги; хороший писатель – это в первую очередь шаман, волшебник.

При этом не следует вытаскивать из рукава одни и те же вещи, как это делает Мальро.

Krepko zhmu tvoiu ruku, drug moi.

Tvoi

V.

Минден-инн
Минден, Невада
1 декабря 1946

Дорогой Володя,

я знал, что ты останешься недоволен, но Мальро мне действительно нравится. Некоторые твои оценки "La Condition Humaine" кажутся мне несправедливыми, прочие – малозначительными. Что до колдовства, то Мальро околдовал меня с тех самых пор, как я прочел "Les Conquérants"[3] (хотя к "Les Temps du Mépris" я равнодушен). "La Condition Humaine" представляется мне романом, который очень точно выразил боль и чувства своего времени; первый же выпуск "La Lutte avec l'Ange"[4], роман, написанный во время войны, – произведение еще более примечательное. (Должен признать, что чувства юмора у него нет: в "La Voie Royale"[5], хотя книга эта увлекательна, имеются непроизвольно смешные места.) Мальро, вне всяких сомнений, – единственный по-настоящему значи-

1. "Он умер в героической простоте" (*франц.*).
2. Полночь, Три часа утра (*франц.*).
3. "Завоеватели" (*франц.*).
4. "Борьба с ангелом" (*франц.*).
5. "Королевская дорога" (*франц.*).

тельный писатель, появившийся во Франции со времен Пруста. Неточности, штампы и шероховатости сами по себе творчества писателя не обесценивают. Кроме того, мы с тобой полностью расходимся не только относительно Мальро, но также относительно Достоевского, греческого театра, Ленина, Фрейда и еще очень многого, в чем, уверен, никогда не сойдемся. А потому не лучше ли заняться более продуктивной дискуссией, касающейся Пушкина, Флобера, Пруста, Джойса и др.? Кстати, твоя любовь к "Южному ветру" — отличный, с моей точки зрения, пример того, как человек, разбирающийся в литературе, жертвует своим вкусом в угоду ядовитому юмору, который вовсе не обязательно является показателем первоклассного дарования.

Знаешь ли ты Силоне? Я и его тоже здесь читаю — то, что не читал раньше. Он и Мальро принадлежат, мне кажется, к политико-социально-моральной, полумарксистской литературной школе, наиболее крупной со времен аналитического психологического романа. Впрочем, взгляды у них диаметрально противоположные. Силоне тебе должен понравиться больше — хотя писатель он менее значительный, чем Мальро.

Очень хочется поскорей увидеть твою книгу. Пусть отправят мне корректуру. "Воспоминания об округе Геката" были осуждены двумя голосами против одного. "Даблдей" собирается подать апелляцию. Инакомыслящий судья написал очень разумный вердикт; остальные двое — что довольно необычно — проголосовали "виновен" без объяснения причин. Все это крайне неприятно, да и накладно.

Жизнь я веду тихую, довольно приятную и искупительную. Места здесь своеобразные и пустынные — не столько романтические, сколько доисторические; кажется, будто кругом бродят привидения. На днях выиграл в рулетку кое-какие деньги, но потом все спустил. Впрочем, азартные игры — слабость великих русских писателей, мне недоступная. Как колдун-любитель я более или менее понимаю, как следует вращать рулетку и как играть в кости и в vingt-et-un[1] (Блэк-Джек), чтобы не остаться в накладе. Хорошенькие девицы в здешних игорных домах здорово поднаторели в этом искусстве — не успеваешь следить за их пальчиками; такая сноровка требует многомесячной подготовки. Специально хожу смотреть, как они работают.

Очень уже хочется вернуться в Уэллфлит; надеюсь, вы нас навестите. <...>

Всегда твой

ЭУ.

1. Двадцать одно (*франц.*).

№ 25 Уэст 43-я стрит
9 января 1947

Дорогой Владимир,

Рождество мы провели на Кейпе [на Кейп-Код. — *А. Л.*], сейчас приехали на несколько дней в Нью-Йорк, а завтра возвращаемся в Уэллфлит, где пробудем до конца зимы. Когда обоснуемся, вы, очень надеюсь, сможете к нам приехать. У нас сейчас живут Нина и Розалинда.

На днях, на русской рождественской вечеринке, я познакомился с твоим кембриджским соседом по комнате К., жена у него, насколько я знаю, испанка. Он сказал, что хотел бы с тобой встретиться. Я попытался выспросить его про твою жизнь в Кембридже, но он сказал лишь, что ты был чудной малый и поразил его сочинением английских стихов.

Насчет Генри Джеймса. Он может, как утверждает Эзра Паунд, не произвести вообще никакого впечатления, если начать с его худших вещей. Зато если прочел все самое лучшее и понял, как развивалось его литературное дарование, почти все, что он написал, становится интересным. Почти все его длинные романы быстро устаревают, а вот вещи покороче более удачны. Обязательно прочти том, куда вошли "Что знала Мейзи", "В кафе" и "Ученик". Эти повести — мои любимые.

Аллен Тейт в восторге от твоего романа. Очень хочу прочесть его в корректуре. Но зачем, скажи на милость, было подписывать с ними контракт, в котором не оговаривается аванс на твою следующую книгу? Этого никогда нельзя делать.

Всегда твой

ЭУ.

---

25 января 1947

Дорогой Кролик,

nakonetz-to посылаю тебе свой роман. "Авторский экземпляр" уже отправлен в типографию. Из него я перенес только основную правку. Поэтому пусть тебя не смущают отсутствие запятых перед придаточными предложениями и прочие мелочи. Если же тебе попадутся вещи и в самом деле вопиющие, пожалуйста, prishcholkni ikh. Хотя первые главы ты уже видел, начни, если можно, читать

сначала: кое-что я изменил к лучшему и, кстати, поместил в текст великолепную луну. Нечего и говорить, что твое мнение о "Незаконнорожденных"... no, vprochem, ty vsio znaesh sam. Надеюсь, что вскоре мы с тобой полностью перейдем на русский язык.

Твоя очередная попытка покопаться в моем прошлом очень забавна, особенно потому, что мое прошлое ты воссоздаешь примерно так же, как я воссоздаю прошлое Себастьяна. Человек по имени К. был — и, вероятно, остался — типичным русским фашистом старой школы, chernosotentzem i durakom. Моим соседом по комнате К. был, слава богу, всего один семестр, ибо в конце учебного года он провалил экзамены за первый курс и вынужден был Кембридж покинуть. Себя он считал человеком необычайно начитанным, но в действительности прочел в своей жизни лишь две книги: "Sionskie Protokoly" и "L'homme qui assassina"[1] Фаррера. В дальнейшем к этому списку прибавился еще "Остров Сан-Мишель". Мы делили с ним довольно убогую гостиную, и он, бывало, швырялся в меня вещами или, когда я пытался читать, гасил огонь в камине. Его экзаменационная работа была посвящена демократии и начиналась со слов, мгновенно решивших его судьбу. Первое предложение было: "Демократия — латинское слово". Ко всему прочему, это был совершенно непереносимый сноб, при этом женщины считали его остроумным и весьма привлекательным. Не говори об этом Нине Чавчавадзе, она уверена, что мы с ним были закадычными друзьями. Мы и в самом деле часто играли в теннис, и в начале 20-х я чуть было не женился на его кузине — но и только.

Хочу задать тебе вопрос в связи с рецензиями для "Нью-Йоркера". Вопрос это деликатный, ибо меньше всего мне бы хотелось заступать на твою территорию. Если ты опять все возьмешь в свои руки, это будет, конечно же, превосходно. Но если между уилсоновскими текстами и впредь останутся просветы, не мог бы я их заполнить своими рецензиями, как по-твоему? Ты бы не мог nashchupat' pochvu в "Нью-Йоркере", или же мне самому написать об этом миссис Уайт? Ответь мне со всей откровенностью, что ты думаешь об этой моей довольно вздорной идее — должен же я что-то предпринять для улучшения своего финансового положения! Осенью я отказываюсь от кураторства в Музее — уж очень мешает он моей литературной работе. С Вериной помощью я переписал около тридцати лекций по русской литературе и дважды в неделю читаю их в Уэллсли. Я рассчитывал, что теперь, когда Кросс умер, у меня появится шанс попасть на отделение славистики в Гарвард. Но, по всей вероятности, я не тот человек, который им нужен. Ничего не вышло и из затеи устроиться на русское радио. Добрый старый Ника получил место, которое было обещано мне...

1. "Человек, который убил" (*франц.*).

Что ж, теперь самое время сесть поудобнее и приступить к чтению "Под знаком незаконнорожденных". Мы оба очень бы хотели вас видеть, но, к сожалению, сейчас покинуть Кембридж не можем. Не исключено, что окажусь в Нью-Йорке весной.

Над чем ты сейчас работаешь? Я прочел (а верней, перечел) "Что знала Мейзи". Чудовищно. Возможно, есть какой-то другой Генри Джеймс, и я постоянно берусь не за того, кого надо?

В.

Уэллфлит, Масс.
30 января 1947

Шарж Дэвида Левина

Дорогой Владимир,

роман "Под знаком незаконнорожденных" меня несколько разочаровал. Сомнения возникли у меня, еще когда я читал первые главы, которые ты мне показывал, и я выскажу тебе свое мнение, каким бы несправедливым оно тебе ни казалось. Есть на этот счет и другая точка зрения: я знаю, например, что Аллену Тейту твой роман понравился необычайно; он говорил мне, что считает его великой книгой. На мой же взгляд, хотя в романе есть что похвалить: превосходный слог, тонкая ирония, — к твоим лучшим вещам его отнести нельзя. Прежде всего, мне кажется, у него тот же недостаток, что и у твоей пьесы про диктатора. Политика, социальные преобразования — это не твои темы, они тебе не даются по той простой причине, что тебя все эти вопросы совершенно не интересуют, ты никогда не брал на себя труд понять их. Для тебя такой диктатор, как Жаба, — это попросту вульгарное и гнусное существо, которое угрожает серьезным и значительным людям вроде Круга. Ты совершенно себе не представляешь, почему и каким образом Жабе удалось взять власть и что такое его революция. В результате — написанная тобой картина оказывается довольно невнятной. Только не говори мне, что истинный художник не должен иметь с политикой ничего общего. Художник может не принимать политику всерьез, но если уж он обращается к подобным темам, то обязан знать, что́ они собой представляют. Никто так не сосредоточен на чистом искусстве, так не погружен в него, как Уолтер Пейтер, чью книгу "Гастон де Лятур" я сейчас дочитываю. Но я со всей ответственностью заявляю, что он гораздо глубже проник в суть непримиримой борьбы между католиками и протестантами в XVI веке, чем ты — в конфликты века XX.

Мне также кажется, что тебе не слишком удалась вымышленная страна. Твоя сила — в наблюдательности, умении запечатлеть реально происходящее; объединив же германское и славянское, ты создал нечто, от реальности очень далекое — тем более когда сопоставляешь придуманную тобой страну с жуткой современной реальностью. В сравнении с нацистской Германией и сталинской Россией испытания твоего несчастного профессора выглядят отталкивающим бурлеском. Уже в первых главах Круг не показался мне слишком убедительным, я остался равнодушен к судьбе его жены и сына. Но я-то надеялся, что ты в конечном счете вывернешь его наизнанку, все переиначишь и покажешь, что наши представления о несправедливости и трагедии носят характер чисто субъективный — что-нибудь в этом роде. (Жаль, что ты отказался от мысли столкнуть лицом к лицу героя и его создателя.) В результате же у тебя получилось сатирическое описание событий, столь ужасных, что сатира к ним не применима, — ведь для того, чтобы что-то высмеять, нужно изобразить предмет хуже, чем он есть на самом деле.

И еще одно. "Незаконнорожденные" (за исключением той пьесы) — единственная твоя вещь, которая, по-моему, затянута. Действие лишено пушкинской легкости, которая всегда восхищала меня в твоих книгах. Я понимаю, что здесь ты стремишься к более густой прозе, чем, например, в "Себастьяне Найте", и некоторые места написаны превосходно, но иногда — только не посылай мне бомбу замедленного действия — "Незаконнорожденные" напоминают мне Томаса Манна.

Надо сказать, что по сравнению с рукописью, которую я видел, последний вариант существенно выигрывает. Надеюсь перечитать "Незаконнорожденных", когда получу книгу, и, может статься, оценю то, чего не оценил раньше. Кстати, я теперь вижу, что был неправ, поменяв в корректуре род derrière[1] — для меня почему-то это слово всегда женского рода. Одну вещь я, кажется, забыл поправить: девица говорит, что у Мака "a regular sense of humor"[2]. Так сказать нельзя. Она должна либо сказать: "He had a wonderful sense of humor" или "He was a regular card"[3]. Думаю, слово "regular" здесь вообще не годится.

Насчет "Нью-Йоркера". Я с ними договорюсь. Говорить надо с Уильямом Шоном, а не с миссис Уайт. Ты должен написать ему письмо, а я с ним созвонюсь. Думаю, мысль хорошая. В настоящее время мы с Гамильтоном Бассо пишем в журнал по очереди по одной рецензии в месяц, но я им задолжал несколько рецензий за прошлый год, поэтому пока ситуация останется прежней.

1. Задница (*франц.*).
2. "Ну, я скажу, у твоего нового отличное чувство юмора", — прошептала сестре Мариэтта (перевод С. Ильина).
3. Букв.: он то, что надо (*англ.*).

А что, радиопередачи ведет Николай? Я и не знал, что он уже вернулся из Европы.

Прежде чем поставить крест на Генри Джеймсе, попробуй прочесть его длинный роман "Княгиня Казамассима" и первый том его автобиографии "Маленький мальчик и другие". Эти вещи представляют две разновидности его творчества, с которыми ты, возможно, еще не познакомился.

Мы живем здесь, в Уэллфлите. Дни проходят довольно однообразно, но мы тихо трудимся во благо человечества. Нина останется у нас, пока Пол не вернется из Китая. В Нью-Йорке мы едва ли окажемся раньше конца марта. Я по-прежнему работаю над книгой о своем путешествии в Европу. К тому времени, когда она выйдет (следующей осенью), она безбожно устареет.

Да, с Лафлином я порвал окончательно. Давным-давно он попросил меня об одной услуге, я послал ему письмо, где написал, что я думаю о том, как он ведет дела. Сколько времени, например, он никак не выпустит книгу твоих рассказов! Попробуй передать ее в "Холт".

Будь добр, не пиши в своих письмах русские слова латинскими буквами — мне так гораздо труднее их разобрать и приходится, чтобы понять, что ты хочешь сказать, мысленно переводить их в кириллицу.

Привет Вере. Надеюсь, ты простишь меня за то, что профессор Круг понравился мне меньше других твоих героев.

Всегда твой

ЭУ.

---

9 февраля 1947

Дорогой Кролик,

spasibo za pismo i zamechania — прости, я-то думал, что, вписывая эти русские слова, даю тебе скромные, неформальные уроки русского языка, но, по всей видимости, метод мой оказался плох.

Идея L'égorgerai-je ou non[1] ("Быть или не быть") — это, конечно же, хорошо известная гипотеза о том, что первые слова монолога Гамлета на самом деле означают: "Быть убийству короля или не быть?" <...>

Я, со своей стороны, тоже сомневался, что тебе понравится атмосфера моей книги, — особенно после того, как ты расхвалил Мальро. В исторических и политических вопросах ты придерживаешься определенной линии, которую считаешь непогрешимой. Это означает, что нам с тобой предстоит еще много увлекательных стычек, и ни тот ни другой не уступит ни пяди.

1. Убью я или нет (*франц.*).

Сейчас пишу еще одну книгу, которая, надеюсь, понравится тебе больше.

Мы с Верой шлем тебе совместный привет.

Твой

В.

Благодарю за ценную правку.

---

7 апреля 1947

Дорогой Кролик,

тысячу лет ничего от тебя не получал. Как живешь? До тебя дошло мое русское стихотворение? Роман недавно у нас побывал и высоко его оценил. Прилетел он на выходные с моим другом Георгием Гессеном, и мы чудесно провели время — и провели бы еще чудеснее, будь с нами ты.

Мой роман должен появиться в начале июня. Когда-нибудь ты его перечитаешь. Из издательства мне прислали совершенно абсурдную аннотацию на обложку, и после обмена телеграммами Тейт ее переписал. Он вообще все это время был чрезвычайно мил. В своем лекционном курсе, который я читаю в Уэллсли, я добрался до Толстого; повторится этот курс и на следующий год, а между тем положение мое по-прежнему шатко, зарплата мизерная, надеяться же на то, что "Под знаком незаконнорожденных" принесет деньги, не приходится. Пишу сейчас две вещи. 1. Короткий роман о человеке, которому нравились маленькие девочки; называться он будет "Королевство у моря". 2. Автобиографию нового типа — научная попытка распутать запутанный клубок человеческой личности; назвать ее собираюсь "The Person in Question"[1].

Я закончил свою основную энтомологическую работу, и на год-другой с бабочками расстанусь. Этим летом, если нам будет сопутствовать удача, собираемся поехать в Колорадо или куда-нибудь еще. В этом году Дмитрий отлично успевает в школе, получает прекрасные отзывы, и мы надеемся, что он попадет в хорошую закрытую школу. Росту в нем шесть футов. Как выясняется, любители французской литературы не любят автора bong и 'bsolument. Перечитал твою "Рану и лук", книга о Хемингуэе превосходна — за вычетом тех мест, где ты объясняешь взлеты и падения в его творчестве взлетами и падениями на книжном рынке. Прочел также "Взгляни на дом свой, Ангел" — роман, к которому я всегда боялся подступиться. И как же я был прав! Время от времени встречаются блестящие места, однако в целом книга очень плоха. Перечел "Американскую трагедию" — без комментариев.

1. Букв.: "Тот, о ком идет речь" (*англ.*).

Весна несется на роликовых коньках. Когда же мы увидим вас обоих?

Всегда твой

В.

№ 25 Уэст 43-я стрит
18 июля 1947

Дорогой Владимир,

вот какая мысль пришла мне в голову относительно нашего совместного русского проекта. Я договорился с "Оксфорд-пресс", что они переиздадут два моих старых сборника критических статей и один новый, и некто Водрин из этого издательства, который читает по-русски и кое-что знает о России, сказал мне, что уже давно хочет уговорить тебя издать у них переводы стихов Блока. Я бы, со своей стороны, с удовольствием отказался от участия в нашей с тобой русской книге: сейчас про Россию и без того много чего выходит, к тому же мне хочется заняться американской литературой — теми авторами, которые до сих пор еще толком не исследованы. Вот почему я задал "Оксфорд-пресс" вопрос: не согласились бы они вернуть издательству "Даблдей" тот аванс, который издательство выдало нам, и подписать с нами два новых контракта. Со мной — на сборник эссе, куда вошли бы мои статьи из "Атлантика", а с тобой — на книгу, которую мы должны были сделать вместе, а теперь сделаешь ты один, — на сборник русской поэзии в переводе на английский со вступлением и, возможно, примечаниями. Водрин с радостью за эту идею ухватился, "Даблдей" же вынужден был согласиться. Весь вопрос в том, готов ли ты за такую книгу взяться. Я дал Водрину понять, что мы оба рассчитываем на аванс помимо тех 750 долларов, которые получены за наш совместный проект. Пожалуйста, дай мне знать (пиши в Уэллфлит), что́ ты обо все этом думаешь.

Наша большая и сложная семья устроилась в Уэллфлите как нельзя лучше. Все, кроме меня, играют в шахматы как безумные, и на днях сын Елены обыграл местного чемпиона — за шахматной доской они просидели несколько часов и даже опоздали на ужин. Теперь оба мечтают сразиться с тобой — о твоем мастерстве они наслышаны от Розалинды.

Очень надеюсь, что колорадские бабочки тебя не разочаровали. Джеффри Хеллман из "Нью-Йоркера", любитель чешуекрылых, приехал этим летом на Кейп-Код, но остался, как и ты, недоволен.

Привет Вере и Дмитрию.

ЭУ.

Коламбайн Лодж
Национальный парк в Роки-маунтен
Истс-парк, Колорадо
24 июля 1947

Дорогой Кролик,

мне очень жаль, что рвется наша сиамская связь, но в остальном твой план более чем приемлем, и я очень тебе благодарен, что для меня все так удачно устроилось.

Кое-какие переводы у меня уже готовы. Скажи, какой планируется объем сборника — 80 страниц, 100 страниц? Чем меньше, тем лучше. И когда, ты думаешь, я мог бы получить новый аванс? Чем скорей, тем лучше — я в данный момент (как обычно, летом) сижу на мели.

Занят я здесь в основном тем, что с огромной радостью, хоть и в поте лица, ловлю бабочек. Живем мы в очень уютном, отдельно стоящем домишке. Здешняя природа выше всяких похвал, какая-то часть моего естества, должно быть, родилась в Колорадо, ибо я с радостным сердцебиением постоянно узнаю многое из того, что меня окружает. В своем интересном списке (речь идет о книге Мучник) ты забыл про Олешу.

Будешь ли в Нью-Йорке в начале сентября? На обратном пути мы остановимся там дня на три-четыре.

С удовольствием сражусь в шахматы с твоей семьей!

Всегда твой

Владимир.

1948

Уэллфлит, Масс.
7 апреля 1948

Дорогой Володя,

твои переводы в этой небольшой английской книжке чертовски хороши — хотя последняя строчка в *Белеет парус одинокий* — наглядный пример того, что овладеть английским сослагательным наклонением ты не в состоянии.

Сартр только что выпустил книгу под названием "Situations"[1], где есть небольшой очерк про тебя, про "La Méprise"[2]. Он тебе не попадался? Кстати, Кэтрин Уайт говорит, что она рекомендовала

1. "Ситуации" (*франц.*).
2. Букв.: "Ошибка". Так во французском переводе назывался роман Набокова "Отчаяние".

тебя в Корнелл, когда Морис Бишоп сообщил ей, что у них открылась вакансия.

Не забудь, что ты к нам приезжаешь.

И привет Вере.

ЭУ.

---

10 апреля 1948

Дорогой Кролик,

две недели провалялся в постели с тяжелым бронхитом. Из-за огромной работы, которую мне предстоит проделать в Музее перед отъездом из Кембриджа, болезнь оказалась очень некстати. Кроме того, куча дел, которая свалится на меня теперь, не даст нам, боюсь, возможности приехать на Кейп-Код. Нашу встречу преследует нечто вроде fatalité[1] — нам так хотелось повидать вас всех, и вот теперь наш визит откладывается уже в третий или в четвертый раз.

Твое скабрезное стихотворение я прочел с удовольствием. Что-то, по-моему, не то во французском сочетании sera dù genre humain — в таком виде оно, боюсь, лишено всякого смысла.

Was в последней строчке "Паруса" ["Белеет парус одинокий". — *А. Л.*] не случайно: в there were я ощущаю какую-то какофонию, невнятицу.

Прочел "Мартовские иды" [Уайлдера. — *А. Л.*] — по-своему довольно забавно, в целом же крайне неубедительно. Роман слишком легковесен, к тому же в Англии такого было уже много. У Мориса Бэринга получалось это ничуть не хуже. В последнем номере "Нью-Йоркера" Коннолли написал какую-то чудовищную фрейдистскую чушь про "отцов-писателей".

Привет от нас вам обоим.

В.

Рентгеновские снимки моих легких составили целую картинную галерею, а на следующей неделе мне предстоит леденящая душу операция, именуемая бронхоскопией. *Не было печали, так черти накачали.*

Уэллфлит, Масс.
20 июля 1948

Дорогой Володя,

пишу рецензию на книгу воспоминаний свояченицы Толстого и хочу перевести отрывки из толстовского дневника. Вот что он

1. Рок (*франц.*).

пишет про свою связь с крестьянкой до брака: "*Уже не чувство оленя, а мужа к жене...*", что я понял как "It is no longer the feeling of a rutting stag, but of a husband for a wife". Однако Чавчавадзе полагает, что *олень* несет здесь такую же смысловую нагрузку, как наше слово stag в словосочетаниях stag-line, a stag party[1], то есть любовник без пары. Не мог бы ты прояснить ситуацию? Ни в одном словаре такого значения нет. Как поживаешь? Как идут дела в Итаке?

Всегда твой

ЭУ.

---

957 Ист-стейт-стрит
Итака, Нью-Йорк
23 июля 1948

Дорогой Кролик,

да, в этом контексте *олень* попросту означает stag во время спаривания. Ничего общего с американским словосочетанием "stag dinner"[2] это слово в данном случае не имеет. Здесь может быть какая-то аллюзия с самками оленя, но, чтобы в этом убедиться, надо бы посмотреть текст.

Без тебя скучно. В этом году мне не до охоты на бабочек и не до тенниса. У нас очень уютный дом с прелестным садом. Перечел несколько русских книг. Горький-прозаик тянет самое большее на три с плюсом, но за воспоминания о Толстом заслуживает почти пять с минусом.

Шлем тебе с Еленой приветы. На здоровье не жалуюсь, зато всё вместе взятое навевает тоску.

Твой

В.

---

957 Е Стейт-стрит
Итака
(до 10 сентября)
3 сентября 1948

Дорогой Кролик,

большое спасибо за две книги Бишопа, которые ты мне прислал. Прочел их с интересом — в основном потому, что когда-то мы с ним приятельствовали.

1. Букв.: "кавалер без дамы, одинокий любовник" (*англ.*).
2. Холостяцкий обед (*англ.*).

Увлекся твоим Тэнглвудом, но стоило мне дойти до музыкальной части, как бросил, точно за раскаленный кусок угля ухватился.

Перечитал мемуары Горького (воспоминания о Толстом и т. д.) и, *увы*, нахожу, что это ничуть не лучше всей прочей его продукции. Впрочем, в молодости, помнится, кое-что из его воспоминаний о Толстом мне нравилось. В 1918 году я жил в доме (в Гаспре, в особняке графини Паниной в Крыму), где бывали Горький и Чехов (sic) у больного Толстого. Досконально изучил и проверил шеститомное (советское) издание Пушкина в "Academia" — некоторые переводы с французского там совершенно смехотворны. Обнаружил замечательное стихотворение Парни 1777 года "Epître aux Insurgents"[1] (американским). Вел оживленную переписку в отношении чудовищного перевода "Под знаком незаконнорожденных" (романа, который я выпустил пару лет назад, — прочти его как-нибудь) на немецкий язык. Мой медовый месяц с "Нью-Йоркером" все еще продолжается — послал им еще два отрывка [автобиографических. — *А. Л.*], написанных здесь. В одном из них я вспоминаю, как сочинял свое первое стихотворение (в 1914 году), — но не уверен, что Россу он [отрывок] понравится. Дмитрий, благодаря своему тренеру из Корнелла, мастерски играет в теннис, а вот в шахматы — разве что сносно. Вера купила машину и очень быстро научилась водить. Я видел да не смог поймать очень редкую перелетную бабочку (L. bachmanni). На здоровье не жалуюсь. Мы сняли огромный, славно обставленный дом. <...> Гостям всегда рады. Тебе не попадалась книга некоего Хаймана, который обвиняет нас с тобой в том, что я заимствую у тебя, а ты — у меня (отличный случай симбиоза)? Много лет назад я написал очень смешную вещь о человеке, в котором сочеталось увлечение марксизмом и фрейдизмом, теперь же вижу, что этим всерьез увлечены некоторые критики, которыми восхищается Хайман. Почему бы нам с тобой не создать научный прозаический перевод "Евгения Онегина" с подробными комментариями?

Как ты, как *Елена*? Вера шлет привет вам обоим. Ты не сочинил новых стихов "чарующего" "вольтерьянского" типа (в русском смысле)?

Твой В.

Интересно, "Даблдей" хотел бы издать том моих переводов ("Три поэта" и несколько новых переводов)?

[*На полях первой страницы*]

В другой своей публикации (в "Эксент", по-моему) он (Хайман) называет меня "царистом-либералом" — точно так же, как Молотов называет Зензинова и Вейнбаума "белогвардейскими бандитами".

1. "Послание повстанцам" (*франц.*).

[*На полях второй страницы*]

Хотелось бы, чтобы кто-нибудь объяснил мне, почему за тридцать лет, с 1830-го по 1860 год, в России не родилось ни одного великого писателя. Как ты думаешь?

Уэллфлит, Масс.
1 октября 1948

Дорогой Володя,

не вы ли с Верой говорили мне, что, на ваш взгляд, Фолкнер не заслуживает внимания? Только что прочел его "Свет в августе", книгу, мне кажется, совершенно замечательную; у меня есть лишний экземпляр — посылаю его тебе. Прочти обязательно.

По-моему, мы с тобой оба отличились в последнем "Нью-Йоркере". Эта вещь удалась тебе, как никакая другая. Если ты еще не видел статью в "Атлантике" про музей Толстого — посмотри. Она смешная, но меня ужасно расстроила. Одними только злодеяниями большевиков не объяснишь, отчего нация, которая произвела на свет Толстого, в дальнейшем способствовала деградации интеллектуальной жизни. <...>

Уэллфлит, Масс.
15 ноября 1948

Дорогой Володя.

<...>

(2) Ты в самом деле ответил мне на мое письмо о Фолкнере? Последнее время некоторые наши письма куда-то деваются. Мне любопытно, прочел ты "Свет в августе" или нет. Разумеется, у него нет идеи (разве что в брошюре, приложенной к этой, последней, его книге); есть, собственно, только одно — интерес к драматизации жизни. Несмотря на его неряшливость, мне кажется, между вами есть немало общего. Меня он совершенно ошарашил — читаю его не отрываясь. Думаю, это самый замечательный современный американский прозаик.

(3) Никак не могу взять в толк, как это тебе удается, с одной стороны, изучать бабочек с точки зрения их естественной среды, а с другой — делать вид, что можно писать о человеческих существах, пренебрегая всеми общественными проблемами. Я пришел к выводу, что ты с молодости воспринял слишком близко к сердцу лозунг fin de siècle[1] "Искусство для искусства" и никак не можешь выки-

1. Конца века (*франц.*).

нуть его из головы. Скоро пришлю тебе свою книгу — она, очень может быть, поможет тебе решить эти вопросы. <...>

(9) Обязательно пришли мне свой перевод "Игоря" ["Слова о полку Игореве". — *А. Л.*]. Я только что получил тщательно подготовленный том "La Geste du Prince Igor"[1], изданный в Нью-Йорке Ecole Libre de Hautes Etudes[2] под редакцией Якобсона и других. Ты этот том видел? В него вошли переводы на разные языки, доказательства подлинности *Слова*, примечания и т. д.

(10) Когда приеду в Нью-Йорк, попробую что-нибудь предпринять по поводу нашего с тобой великого русского тома.

Привет Вере. И когда же ты вновь окажешься в наших краях?

Всегда твой

ЭУ.

Уэллфлит, Масс.
2 декабря 1948

Дорогой Володя,

надеюсь, тебе удастся уговорить "Нью-Йоркер" дать тебе написать про *Слово*. Мне рекомендовать им тебя бессмысленно — а вот ты смог бы убедить их сделать из этой публикации громкую историю. Сегодня днем позвоню Шону и подам ему эту мысль. Только не говори им, что книга написана в основном по-французски. Думаю, из-за нападок французов на подлинность *Слова* может получиться очень забавная история. Вместе с Романом Гринбергом я побывал однажды на заседании Ecole Libre, где обсуждались эти проблемы. Дискуссия получилась très mouvementé[3]. Тема литературная переросла в патриотическую. Вернадский прочел доклад, в котором отметил, что французы сначала, во время нашествия Наполеона, уничтожили текст *Слова*, а теперь вдобавок хотят лишить русских чести быть создателями поэмы. Всякий раз как он доказывал, записывая слова на доске, что подлинность описанного в поэме древнего оружия или платья подтверждается последующими археологическими изысканиями, присутствующие в аудитории русские разражались аплодисментами. Ему оппонировал французский или бельгийский византолог с вкрадчивыми манерами и ухоженной бородой, который снисходительным тоном пытался доказать, что *Слово* — подделка. Его постоянно перебивал гневными выкриками Роман Якобсон. Кончилось тем, что мсье византолог сказал: "M. Jakobson, c'est un monstre"[4]. В аудитории воцарилась

1. "Слово о князе Игоре" (*франц.*).
2. Свободной школой высших исследований (*франц.*).
3. Очень оживленной (*франц.*).
4. "Господин Якобсон — монстр" (*франц.*).

гробовая тишина: все вспомнили про необычную внешность бедного Якобсона и испугались, что собрание может закончиться рукоприкладством. Однако докладчик продолжал: "Je veux dire qu'il est un monstre de science — il est philologue, sociologue, anthropologue"[1] и т. д. Это заседание проходило в те дни, когда русские оказывали Германии героическое сопротивление после позорного фиаско французов, и меня поразило, как русские умеют использовать события в литературном мире в качестве предлога для полемики на темы политические. Так и вижу, как ты провозглашаешь, качнувшись в противоположном направлении, под углом в сорок пять градусов, что литература с общественными институтами не имеет ничего общего. <...>

1949

Уэллфлит, Масс.
11 января 1949

Дорогой Володя,

спасибо за письмо. Я рад, что ты просветил меня относительно дуэли в "Евгении Онегине", но сказанное тобой не отменяет того факта, что Онегин коварно воспользовался рассеянностью Ленского, ибо он его действительно ненавидел, что, насколько я помню, ты в свое время отрицал. Ты, конечно, можешь считать, что Онегин "свой пистолет... стал первым тихо поднимать" просто потому, что он более опытен, — я же думаю, что, судя по действиям обоих дуэлянтов, Пушкин намекает на то, что Онегин замыслил убийство Ленского заранее.

Читаю *Воскресение* Толстого, роман (пока что) представляется мне лучше, чем про него обычно говорят. Жаль, что я не прочел его, когда писал рецензию на Кузьминскую, ибо теперь я понимаю, что в книге прямо говорится о трагической связи между людьми различных классов — то есть поднимается тема, которой, к моему сожалению, Толстой не касается в других романах.

У нас все по-старому. Если повезет, в середине февраля на несколько месяцев переберемся в Стэмфорд.

Всегда твой

ЭУ.

---

1. "Я хочу сказать, что это ученый монстр, ведь он филолог, социолог, антрополог" (*франц.*).

Университет Корнелл
Голдуин-смит-холл
Итака, Нью-Йорк
Середина апреля 1949

Дорогой Кролик,

моя нью-йоркская лекция отложена, она состоится 7 мая. От Романа я получил приглашение на 16 апреля, но теперь отменено и оно. Ты будешь в Нью-Йорке в мае? Очень хотим вас обоих повидать. Спасибо за приглашение в Стэмфорд, но придется повременить и с этим.

Твой очерк про индейцев мне очень понравился. Ты видел, что написал в "Лайфе" про чету Перонов Дос Пассос? Он что, спятил? Или это какая-то нео-радикальная причуда – хвалить Эвиту? Или написанное им следует воспринимать как сатиру? Или – от одной этой мысли перо дрожит в моей руке – уж не уверовал ли он в истинную церковь?

Кажется, я говорил тебе, что в середине июня мы собираемся на машине в Юту для участия в июльской писательской конференции в Солт-Лейк-Сити.

До этого надо будет обязательно увидеться.

Твой

В.

Университет Корнелл
Голдуин-смит-холл
Итака, Нью-Йорк
23–25 мая 1949

Дорогой Кролик,

всего пару слов между двумя лекциями. Идет последняя неделя учебного года. В двадцатых числах июня мы сядем за руль и помчимся на запад – сначала на писательскую конференцию в Юту, а затем в Титонский национальный заповедник в Вайоминге, на поиски бабочки, которую я описал, назвал, обласкал – но сам ни разу не ловил.

Ужасно обидно, что никак не можем отозваться на твои любезные приглашения. Нам так хочется повидать вас обоих! В пятнадцатых числах июня Дмитрий вернется домой из школы, я же последующие двадцать дней собираюсь писать как заведенный. Свою книгу воспоминаний я продал *на корню* в "Харперс", причем на вполне приличных условиях. Через год поставлю точку. Я так и не

дождался от тебя благодарностей за чудесную амфисбену, которую тебе подарил: partizan – Nazitrap[1].

Собираюсь предложить Водрину небольшую книжку об "Онегине": полный прозаический перевод с комментариями, ассоциациями и прочими пояснениями каждой строки – все то, что я подготовил для своих университетских занятий. Пришел к убеждению, что переводить в рифму больше не стану – власть рифмы абсурдна и с точностью не сочетаема.

Никто не хочет печатать (слишком длинно или слишком "научно") статью, которую я написал (12 страниц на машинке) о "Slove o Polku Igoreve". "Нью-Йоркер" от нее отказался, и я не уверен, что "Партизэн" va marcher[2].

Вера отвезла меня на машине в Нью-Йорк и обратно по очень красивой, поросшей нежной растительностью местности, и я сыграл несколько необычайно увлекательных партий в шахматы с *Романом*, Г. Гессеном, *Николаевским* и *Церетелли*. Тебя очень не хватало.

Привет от нас обоих вам обоим.

В.

Уэллфлит
Кейп-Код, Масс.
28 сентября 1949

Дорогой Володя,

рад был твоей открытке. Лето у нас выдалось напряженным и в семейном (мальчики только что вернулись в школу), и в литературном отношении. Я дописал пьесу, для которой сейчас ищу режиссера, и собрал сборник статей, написанных мною еще в двадцатые годы.

Летом к нам, вместе со своей чудно́й и farouche[3] подругой (ты ее знаешь?), приезжал Глеб Струве. Мы с ним много говорили о русском и английском стихосложении, и теперь я уяснил себе, чем объяснялось отсутствие взаимопонимания в нашей переписке на эту тему, имевшей место несколько лет назад. Хочу поделиться с тобой плодами своего просвещения. Струве объяснил мне, что в русских словах, какими бы длинными они ни были, имеется, по существу, только одно ударение. Я никогда раньше не обращал внимания на то, что в русских словарях дается только один ударный слог, в английских же – указываются и дополнительные ударения тоже. Тем самым в русском стихе эмфаза отлична от стиха английского. В английском стихе второй ударный слог образует ритм точно так же, как

1. Нацистская западня (*англ.*).
2. Здесь: она подойдет (*франц.*).
3. Дикой, нелюдимой (*франц.*).

и основной. Искусство английского стиха у великих поэтов от Шекспира до Йейтса частично основывается на перемещении этих ударений. В русской же поэзии нет ничего похожего — вот почему ты отказываешься понимать то, что называется ритмическим сбоем, а я называю "сбиться с ноги". Смещение ударения, синкопирование в русском стихе невозможно. В русском белом стихе невозможны такие строки, как: "Never, never, never, never, never" в "Короле Лире" или: "Cover her face; mine eyes dazzle: she died young" в "Герцогине Мальфийской". Русское метрическое искусство проявляется в другом; число слогов в русском стихе отличается четкой размеренностью, чего в английском стихе, где имеется много дополнительных, вторичных ударений, которыми поэт жонглирует, почти совсем не бывает. О жонглировании ты не раз пытался мне втолковать, но ошибался, полагая, что у нас, в английском языке, происходит то же самое. Ты представлял себе, по всей вероятности, что такое слово, как "constitution" в пятистопном ямбе произносится constitúshun, тогда как в действительности актер, обученный чтению стихов, произнесет это слово con-sti-tú-ti-ŏn: ti-ŏn — полный ямб (в древнеанглийском on был oun). Русский стих, собственно говоря, позаимствовал метрические формы английского и немецкого стиха, но использовал их для иной поэтической мелодики, чем и вызвано отсутствие взаимопонимания между нами. Ты не учитываешь наше смещение ударения — вот почему, когда мы работали с тобой над "Моцартом и Сальери", тебя раздражали, казались неверными мои предложения по замене ямба на хорей. В данном случае ты был прав, ведь всю трагедию ты переводил ямбом, но нет и не может быть хорошего английского поэта, которому бы пришло в голову прибегнуть к такому метру, если он пишет поэму белым стихом. Я же, со своей стороны, теперь понимаю, что, читая русскую поэзию, никогда не чувствовал, как она должна звучать. Мне она всегда казалась слишком монотонной в своей упорядоченности, размеренной, точно школьное упражнение. И эта размеренность озадачивала, ведь поэтам такого класса ничего не стоило свой стих разнообразить. Надеюсь, ты как-нибудь прочтешь мне какое-то русское стихотворение и разъяснишь тот эффект, который я не уловил. (Твои рассуждения о поэтических формулах в воспоминаниях, напечатанных в "Партизэн ревью", были для меня весьма поучительными.) С другой стороны, оттого, что твои английские стихи столь же размеренны, что и русские, ты не используешь весь ресурс английского стихосложения. <...>

Летом я много читал Чехова и остался под большим впечатлением; я не мог даже себе представить, сколь многообразна, широка описываемая им жизнь. Особенно он интересен в связи с тем, что происходит сегодня в Советской России, ведь многие типы, которых он рисует, — крестьяне, сумевшие выбиться в купцы, недовольные и несведущие чиновники, — это ведь те же самые люди, которые впоследствии заняли в стране ведущие посты. Читал также и Фолкнера. Твоя неспособность оценить его дар — для меня за-

гадка. Объясняю это, пожалуй, лишь тем, что трагедию ты не признаешь в принципе. Ты не пробовал читать "Шум и ярость"?

Всегда твой

Эдмунд У.

---

9 ноября 1949

Дорогой Кролик,

не писал тебе раньше, так как моя книга (автобиография) отнимает все свободное время. Я всегда говорил тебе, что в русских словах есть только одно ударение. Не раз упоминал я в нашей переписке и о том, что длинные английские слова имеют тенденцию дублировать ударение (чаще, правда, в американской речи, чем в британской). Я не очень понял, в чем смысл твоего примера с ударением на конечном -ion; впрочем, это чем-то напоминает перемену окончания *-ие* на *-ье* в соответствующих русских существительных, таких, как zhelanie — zhelan'e. Задумайся над этим. Мы продолжим спор, в котором я собираюсь взять верх, когда наконец я приеду к тебе или ты — ко мне.

Рассказ о моем первом любовном приключении должен вскоре появиться в "Нью-Йоркере", а вот другой отрывок [из автобиографии. — *А. Л.*] о моих студенческих годах мне пришлось из журнала забрать — в редакции хотели, чтобы я переписал некоторые места (которые читателям могли бы показаться обидными или, по крайней мере, странными) про Ленина и царскую Россию. Все это примерно те же вполне невинные вещи, которые я когда-то писал тебе про американских радикалов и их отношение к ленинизму и т. д. Печально.

Мне еще осталось написать страниц пятьдесят, и пока мотор мой работает без перебоев. Боюсь, что эта книга тебе не понравится, но сбросить с себя ее бремя я обязан.

Долой Фолкнера!

Твой

В.

1950

36 Виста-плейс
Ред-бэнк, Нью-Джерси
14 апреля 1950

Дорогой Володя,

сюда я приехал ухаживать за своей матерью: ей было очень плохо, она попала в больницу, но теперь ей лучше. Говорил с Еленой

по телефону, она сказала, что пришло письмо от Веры; пишет, что у тебя грипп. После банкета в связи с годовщиной "Нью-Йоркера" я тоже слег и лишился голоса — ларингит. В тот вечер было столько неприятных сцен с самыми funestes[1] последствиями, что стоило бы их описать в духе "Хиросимы" Джона Херси. Каждый преследует свои мелкие интересы, переходя от стола к столу, с танцплощадки в ресторан, не обращая никакого внимания на растерянность, скуку, раздражение или опьянение остальных гостей, не сознающих гигантского масштаба катастрофы, губительной для всех.

Собирался написать тебе, прочитав твою чудесную последнюю главу [из автобиографии. — *А. Л.*]. Ты упоминаешь Аббацию, и я вспомнил, что встретил этот городок у Чехова, в связи с чем у меня возник вопрос по русской грамматике. Я заметил, что в прилагательных женского рода единственного числа в творительном падеже у Чехова встречаются то окончание *-ой*, то *-ою*. Сначала я подумал, что прилагательные на *-ою* употребляются с существительными в творительном падеже на *-ю*, например: *длинною, отборною бранью*, <...> но потом (в первом абзаце *Моей жизни*) обнаружил, с разницей всего в несколько строк, *с благотворительной целью* и *с благотворительною целью*. В чем же тут дело? Есть какое-то правило или нет? Пол Чавчавадзе полагает, что окончание на *-ою* употребляется, когда автору нужен лишний слог, но к данному отрывку эта логика не применима. (Не трудись с ответом, пока не поправишься. Здесь я пробуду всю следующую неделю, после чего вернусь в Уэллфлит. Не исключено, впрочем, что дальше Нью-Йорка мне отсюда уехать не удастся.)

Читаю Жене́. Тебе, надо полагать, это имя известно. Его чудовищно неприличные книги стали издаваться и продаваться только теперь. Гомосексуалист и вор, он большую часть жизни просидел за решеткой. Говорят, что Кокто, пытаясь вызволить его из тюрьмы, заявил властям, что Жене — величайший из ныне живущих французских писателей, и должен сказать, что с этим, пожалуй, нельзя не согласиться. Я прочел "Notre-Dame des Fleurs" и "Journal du Voleur"[2], и обе книги, особенно первая, произвели на меня очень сильное впечатление. Этот писатель абсолютно ни на кого не похож — просто не укладывается в голове, каким образом он, мальчишка из приюта, в юности — вор и бродяга, сумел набраться знаний и развить в себе столь блестящий дар. Его язык, интонация так же уникальны, как и его жизненный опыт. Ему, как мало кому до него, удалась тема психологической амбивалентности (золотое слово!) подчинения и подавления, чему столько свидетельств в современном мире и чем интересуешься и ты тоже. Я дам тебе

1. Злосчастными, мрачными, пагубными (*франц.*).
2. "Богоматерь цветов"... "Дневник вора" (*франц.*). В русском переводе (Е. Гришина, С. Табашкин) роман называется "Богоматерь цветов" (Жан Жене. Богоматерь цветов. — М.: Эргон, Азазель, 1993), имя же главного героя в тексте не переводится, а транслитерируется: Нотр-Дам-де-Флёр.

"Notre-Dame des Fleurs", если тебе эта книга еще не попадалась. Надеюсь, ты уже пошел на поправку. Привет Вере.

ЭУ.

802 Е. Сенека-стрит
Итака, Нью-Йорк
17 апреля 1950

Дорогой Кролик,

большей частью русские писатели употребляют и "-ой" и "-ою", что не может меня не огорчать. В каком-то смысле это сравнимо с взаимозаменяемостью which и that[1] у англоязычных авторов. Самым злостным нарушителем унификации был Толстой, у него подчас в одной фразе встречаются оба окончания: *За желтою нивой и за широкою сонной рекою.* Чавчавадзе, думаю, решил, что ты ведешь речь о стихах. Что до меня, то я, в душе педант, предпочитаю окончание *-ой*, за исключением тех случаев, когда возникает "музыкальная" нужда продлить жалобный вой творительного падежа.

Мы с Верой были очень рады твоим славным письмам. Почти две недели я пролежал в больнице. Вою и корчусь в муках с конца марта, когда грипп, который я подцепил на довольно скандальной, хотя и организованной из самых лучших побуждений вечеринке, вызвал чудовищную межреберную невралгию, вследствие чего, страдая от непереносимой, непрекращающейся боли и столь же непереносимого страха, вызванного мнимыми болями в сердце и почках, я очутился в руках докторов, которые на протяжении многих дней ставили на мне нескончаемые эксперименты, и это при том, что я клятвенно заверил их, что свою болезнь знаю наизусть и в точности таким же истязаниям подвергаюсь за жизнь уже в пятый раз. Я и сейчас еще не совсем здоров, сегодня у меня случился небольшой рецидив; я пока в постели, дома. В лекционном же зале меня прекрасно заменяет Вера.

Пишу последнюю (16-ю) главу книги. В "Нью-Йоркере" будет напечатана еще одна — пятнадцатая — глава, довольно замысловатая, о детстве моего сына, которую я только что им продал. В результате "Нью-Йоркер" приобрел двенадцать из пятнадцати предложенных журналу глав. Одна глава напечатана в "Партизэн", две же оставшихся, и та и другая приправленные политикой, не пристроены до сих пор. Возможно, одну из них пошлю в "Партизэн", хотя платят они не ахти.

Присылай же скорей книгу этого вора!!! Люблю неприличную литературу! На следующий год буду вести курс под названием "Европейская изящная словесность (XIX и XX век). Каких английских

1. Который... какой (*англ.*).

писателей (романы или рассказы) ты бы порекомендовал мне включить? Нужны по меньшей мере два автора. Намереваюсь главным образом опереться на русских, по крайности, на пятерых широкоплечих русских, для иллюстрации же западноевропейской прозы возьму, видимо, Кафку, Флобера и Пруста.

На мой взгляд, твое стихотворение — самое удачное из всех, которые ты написал в этом духе. Мне необычайно понравился стих про "пифку-пафку" — я бубнил его себе под нос, когда лежал, превозмогая боль, в клинике. Каждый вечер мне кололи (доходило до трех уколов за раз) морфий, но уменьшить боль до тупой и переносимой удавалось всего на час-другой. Просматриваю стихи и эссе Элиота, читаю сборник критических статей о нем и лишний раз убеждаюсь, что он — мошенник и прохвост (еще больший, чем смехотворный Томас Манн, — но более умный).

Напиши мне еще одно интересное письмо. После стольких недель боли нервы у меня совсем расшатались. Огромный привет всем вам от нас обоих.

В.

Уэллфлит, Кейп-Код
Массачусетс
27 апреля 1950

Дорогой Володя.

(1) Только что открыл *Медного всадника*, то место, которое я, потвоему, неверно перевел. Советский текст (*редакция Бонди, Томашевского, Щеголева*) звучит так: *Наш герой / Живет в чулане.* Я позвонил Полу Чавчавадзе и попросил его посмотреть это место в старом издании, и там он, вместо *в чулане*, обнаружил *в Коломне*, как ты и говорил. Советская редакция, по всей вероятности, восстановила несколько мест в поэме, которые были изменены по настоянию Бенкендорфа, — кое-какие мрачные подробности, например, описание лачуг, смытых наводнением. Надо будет посмотреть оригинал — может, найдется еще что-то.

(2) Русская грамматика. К вопросу о творительном падеже. Прежде мне было очень не по душе его употребление для обозначения переходного, неактуального состояния: *Когда я был мальчиком* или *Она воображала себя в будущем не иначе как очень богатою и знатною*, — теперь же такое употребление видится мне очаровательным нюансом. Но чем я до сих пор не в состоянии овладеть, так это предикативной формой прилагательных. Вот что я встречаю у Чехова: *Вы сегодня Бог знает какой скучный!* Почему не *скучен* или *скучны*? Может, все дело в слове *какой*?

(3) Послал тебе книгу Жене, интересно, что ты скажешь. Меня потряс язык, сочетание арго, заурядных коллоквиализмов, причуд-

ливого книжного языка и точных технических терминов. Гюисманс, который умел совмещать такие вещи лишь синтетически, был бы от Жене без ума. Есть у него вдобавок некоторая нарочитая неграмотность – что бы ты, например, сказал о том, как он употребляет одно из своих любимых словечек sourdre[1] (которое он иногда пишет soudre). Он изобрел от него причастие sourdi по аналогии, видимо, с ourdi[2], подобно тому, как Фолкнер придумал surviven по аналогии с driven[3] и т. д. У них с Фолкнером вообще немало общего; чем-то Жене напоминает и тебя – не этими солецизмами, разумеется.

(4) Посылаю тебе также небольшую бандероль с моими собственными сочинениями.

(5) Относительно твоей книги. Было бы, пожалуй, разумнее издать ее с несколькими прежде неопубликованными главами и объявить об этом на обложке читателю. Известно, что люди имеют обыкновение не покупать книг, отрывки из которых печатались в журналах. Пусть анонс напишут в "Харперс", а еще лучше, если его сочинишь ты сам; объясни, что в книгу вошли новые главы о политике, которых в "Нью-Йоркере" не было. Новые главы помогут завоевать читателя.

(6) Очень тебе сочувствую – тебе здорово досталось. Я тоже до сих пор не вылечился – что-то с голосовыми связками: Божья кара за то, что говорю слишком много и слишком громко. Кроме того, по мнению врача, мне обязательно надо похудеть на пятнадцать фунтов. Вот и приходится жить в беспросветном мире ингаляций и спреев, декстрозы и таблеток сахарина; я обречен говорить шепотом и держать в ванной весы.

(7) Про английских прозаиков. На мой вкус, два, безусловно, величайших писателя (за вычетом Джойса, поскольку он ирландец) – это Диккенс и Джейн Остин. Попробуй перечитать, если ты этого еще не сделал, зрелого Диккенса – "Холодный дом" или "Крошку Доррит". Джейн же Остин читать стоит все подряд – замечательны даже ее ранние, незаконченные вещи.

(8) Очень может быть, мы все же окажемся в ваших краях, когда Генри закончит школу. Тогда наконец и повидаемся. Сколько еще времени вы пробудете на Итаке?

Привет Вере.

ЭУ.

---

28 апреля 1950

Дорогой Кролик,

огромное спасибо за книгу – читаю с удовольствием. Она ужасно хороша – местами. Возникает ощущение, что писал ее

1. Бить ключом, проистекать (*франц.*).
2. Замысленный, подстроенный (*франц.*).
3. Пережитой (*искаж. англ.*)... загнанный (*англ.*).

littérateur[1] в тиши кабинета. Все же грубо-кровавые сцены убоги и искусственны и отдают Раскольниковым. Процесс над Нотр-Дам-де-Флёром — это просто очень посредственная littérature[2]. Жалко, что автор не ограничился описанием нравов tantes[3] — эта часть выше всяких похвал. Не могу взять в толк, зачем было называть книгу именем самого неудачного и наименее убедительного персонажа. Pièce de résistance[4] — это, конечно, Дивин: он-она написан(а) превосходно. Еще кое-что. Мне понравились замеры пениса, подаренного любовникам. Если вдуматься, такой же описательный метод был применен мною в отношении моих бабочек. И еще: описание совокуплений, когда с ними свыкаешься, в целом довольно традиционно, в том смысле, в каком традиционна порнографическая литература XVIII века с ее бесцветными "assauts", "ébats"[5], подсчетом оргазмов и пр. Искусственность этих описаний тем более бросается в глаза, что могучее здоровье этих людей вызывает подозрение (тем более что некоторые из них гетеросексуальны), и, право же, французы ведь принимают ванну — во всяком случае иногда. Я был несколько разочарован полным отсутствием среди героев девиц. Единственная jeune putain[6] была втиснута между мальчиками, целовавшими, как полные идиоты, друг друга.

Посылаю тебе свои заметки об английском стихосложении, которыми я пользовался на одном из занятий. Вникни в них.

Привет.

В.

---

5 мая 1950

Дорогой Кролик,

<...> насколько мне известно, правильное прочтение [в "Медном всаднике". — *А. Л.*] — *в Коломне.* Так в советском *Академическом Пушкине.*

Да, я заметил, что ты говоришь про старого доброго Жана [Жене. — *А. Л.*]. (Кстати, прислать тебе книгу в Уэллфлит?) Единственное известное мне значение soudre — это gush[7]. И он, и я читали Рембо-Жироду-Пруста и т. д.

Твоя идея насчет неопубликованных глав мне по душе. Насколько я могу судить, ты не из тех читателей, кого я смог бы "завоевать".

1. Литератор (*франц.*).
2. Литература (*франц.*).
3. Тетушек (*франц.*).
4. Несомненная удача (*франц.*).
5. "Приступами", "увеселениями" (*франц.*).
6. Юная шлюха (*франц.*).
7. Изливать чувства, разглагольствовать... извергать (*франц., англ.*).

Спасибо за предложения по моему курсу европейской словесности. Джейн [Остин. — *А. Л.*] мне не нравится, и вообще, к женской прозе я отношусь с недоверием. Писательницы принадлежат к другой литературной категории. Роман "Гордость и предубеждение" никогда не вызывал у меня теплых чувств. А вот совет включить в курс Диккенса du bon[1]. Перечитаю обе книги. Мой отец был большим любителем Диккенса; одно время он читал нам, детям, вслух отрывки из его романов — по-английски, естественно.

Мне пришлось оторваться от этого письма и, прежде чем сесть за него снова, я погрузился в "Холодный дом", который покамест превосходен. Вместо Джейн О. возьму Стивенсона.

Надеюсь, ты обрел свой добрый старый голос (хочется услышать его вновь; мы пробудем здесь до конца мая, а потом, может быть, съездим на неделю-другую в Бостон — тамошний зубной врач должен вырвать мне оставшиеся зубы). Наши планы на лето туманны. Возможно, в конце июня мы отправимся на запад. Когда у Генри церемония по случаю окончания школы? Вы собираетесь приехать до нее или после?

Очень благодарен тебе за "Furioso" (хорошо, однако, не всё стихотворение: рифма-собака ведет поэта-слепца), за книгу рассказов (мне понравился "Галахад", но что именно se passa entre eux[2] в сексуальной сцене, я понял не вполне) и за пьесу. Диалог в ней — высший класс, есть и несколько очень забавных мест (мне понравились Петриты). В метаморфозах Садовника есть что-то "сиринические" [От Сирин. — *А. Л.*]

Елене и тебе мы с Верой шлем поклон.

В.

[На полях рукой Веры Набоковой]

А теперь прочту пьесу я. Пока же огромное спасибо за милое dédicace[3].

Уэллфлит, Кейп-Код
Массачусетс
9 мая 1950

Дорогой Володя.

(1) Вот еще одна проблема. У Чехова читаю: *В открытую дверь было видно и улицу, тихую, пустынную, и самую луну, которая плыла по небу.* Я не понимаю, почему не написано: *были видны и улица... и луна.* В любом другом языке, из мне известных, "луна" и "улица" были бы подлежащими, здесь же они, судя по всему, дополнения, что ли-

1. Здесь: хорош (*франц.*).
2. Произошло между ними (*франц.*).
3. Посвящение (*франц.*).

шено логики. Подобная пассивная конструкция в русском языке встречается довольно редко, не так ли?

(2) Насчет Жене. Жестокосердный парень, который убивает, предает и до самого конца ни в чем не раскаивается, такой, как Нотр-Дам-де-Флёр, — это его идеал, он присутствует во всех его книгах, которые мне приходилось читать. Что касается порнографических сцен, то я с тобой соглашусь, но ведь это своего рода эротические фантазии, более или менее оторванные от реальности, такие фантазии возникают у людей за решеткой (как у маркиза де Сада в Бастилии). Подобные фантазии правомерны только потому, что посещают они не вымышленных персонажей автора, а сидящего в тюрьме Жене, который пытается запечатлеть в романе себя самого. Все мужчины в книге грезят наяву; даже Дивин, который несколько более убедителен, чем остальные, — в чем-то фантазер. Жизнь Жене в том виде, как он описывает ее в своих воспоминаниях, — "Дневнике вора", вне всяких сомнений, была очень нелегкой. Насколько мне известно, он отбывал пожизненное заключение, когда Сартр и Кокто вызволили его из тюрьмы. Меня очень позабавило его замечание, которое он, говорят, отпустил в адрес Жида: "Il est d'une immoralité douteuse"[1]. Пожалуйста, пошли книгу в Уэллфлит.

(3) Я изучаю черновики "Госпожи Бовари", изданные в прошлом году, и совершенно потрясен и даже немного удивлен тем, как работал Флобер. Самые великолепные места в окончательном варианте — здесь, в черновиках, подчас совершенно невыразительны и даже довольно корявы. Поражаешься, когда видишь, сколь велика дистанция в сцене, где Шарль Бовари, еще мальчиком, с тоской взирает из окна на Руан; сколь велика разница между: "Sous lui, en bas, la rivière qui fait de ce quartier de Rouen comme une Venise de bas étage, coulait safran ou indigo, sous les petits ponts qui la couvrent"[2] и "La rivière, qui fait de ce quartier de Rouen comme une ignoble petite Venise, coulait en bas, sous lui, jaune, violette ou bleue entre ses ponts et ses grilles"[3]. Такое впечатление, будто Флобер сначала собирает материал, а затем, в определенный момент, включает музыку и магию. Мне это особенно интересно, ибо таков — до известной степени — и мой метод. Ты же, насколько я могу судить, имеешь обыкновение начинать с самих слов.

(4) Насчет Джейн Остин ты ошибаешься. Думаю, тебе надо прочесть "Мэнсфилд-парк". Ее величие в том, что к своему творчеству она относится, как мужчина, то есть как художник, и совершенно не

1. "Он человек сомнительной безнравственности" (*франц.*).
2. "Под ним, внизу, река цвета шафрана и индиго, которая превращает этот квартал Руана в нечто вроде непритязательной Венеции, текла под маленькими, накрывающими ее мостами" (*франц.*).
3. "Под ним, между мостами, между решетчатыми оградами набережных, текла превращавшая эту часть Руана в маленькую неприглядную Венецию то желтая, то лиловая, то голубая река" (*франц.*). Перевод Н. Любимова.

так, как типичная романистка, из тех, что наводняют романы своими женскими грезами. Джейн Остин оценивает своих героев совершенно непредвзято. Каждая ее книга — исследование разного типа женщин, которых она видит вокруг. Джейн Остин стремится не к тому, чтобы выразить свои чаяния, а чтобы создать объективную картину, которая сохранится в веках. Она, на мой взгляд, входит в шестерку величайших английских писателей (вместе с Шекспиром, Мильтоном, Свифтом, Китсом и Диккенсом). Стивенсон же — писатель довольно посредственный. Не пойму, почему ты им восхищаешься, — впрочем, несколько совсем неплохих рассказов у него на счету имеется. Пару лет назад я пытался читать Генри и Руэлу "Новые арабские ночи" — одну из немногих книг Стивенсона, которая мне нравится, но мальчики не проявили к ней ни малейшего интереса. К своему удивлению я обнаружил, что в этих рассказах почти отсутствует описательность, герои же еще менее реальны, чем сказочные. "Шерлок Холмс", которого мы прочли только что и который многое почерпнул из "Новых арабских ночей", — произведение, по сравнению с книгой Стивенсона, куда более значительное. "Остров сокровищ" мне не нравился, даже когда я был ребенком.

(5) Ты, как всегда, напустился на английское стихосложение, но спорить на эту тему мне надоело.

(6) Не понимаю, что ты имеешь в виду, когда пишешь, что я не из тех читателей, кого ты смог бы завоевать. <...>

(9) Церемония вручения дипломов состоится у Генри 16 июня. Мы выезжаем неделей раньше. Если будете в это время в Бостоне, мы могли бы там задержаться и с вами встретиться. Было бы чудесно. Держи меня в курсе.

(10) Последнее время мне приходилось нелегко: одну неделю я провожу в Нью-Джерси, другую — здесь. Слегла моя мать, да и у меня нелады с голосовыми связками. На прошлой неделе мне сделали небольшую операцию, и, хочется надеяться, проблема голосовых связок будет решена раз и навсегда. Единственный плюс наших с тобой недавних недугов в том, что захворали мы одновременно и получили возможность возобновить нашу литературную переписку.

Всегда твой

ЭУ.

---

15 мая 1950

Дорогой Кролик,

<...> дочитал до середины "Холодный дом". Читаю медленно — делаю пометки для обсуждения романа на занятиях. Отличная вещь. Кажется, я говорил тебе, что мой отец прочел Диккенса от корки до корки. Быть может, именно оттого, что в возрасте двенадцати-тринадцати лет я слушал, как отец читает мне вслух (разумеется, по-анг-

лийски) "Большие надежды", я в дальнейшем, не сумев преодолеть психологическую преграду, больше Диккенса не перечитывал. Достал "Мэнсфилд-парк" и, думаю, использую его в своем курсе. Благодарен тебе за эти необычайно дельные советы. К Стивенсону у тебя неверный подход. Разумеется, "Остров сокровищ" — вещь не из лучших. Зато "Джекил и Хайд", единственный настоящий шедевр, который он написал, — повесть первоклассная, и на все времена. <...>

В Бостон должен ехать, чтобы вырвать шесть нижних зубов. План у меня следующий: в Бостон еду в воскресенье 28-го, в понедельник, вторник и, возможно, в четверг (31-го) хриплю у дантиста (чудесный швейцарец доктор Фавр), затем, беззубый, тащусь обратно в Итаку проверять экзаменационные работы и 6-го или 7-го возвращаюсь с Верой в Бостон на машине вставлять челюсть; в Бостоне мы остаемся до 11-го и, забрав Дмитрия в Нью-Гэмпшире 12-го, отправляемся домой в Итаку через Олбани, неподалеку откуда, в местечке под названием Карнер, в сосняке, в зарослях люпина, водится маленькая синяя бабочка, которую я описал и назвал. Сможешь ли ты вписаться в эту схему?

Было видно следует в данном случае понимать как *было видно следующее* — имеется в виду своего рода собирательное субстантивированное прилагательное; так сказать, среднего рода. Но, как я говорю своим студентам-любимчикам, вопрос ты задал "хороший".

Мой творческий метод не имеет ничего общего с флоберовским. Как-нибудь объясню его тебе подробнее, теперь же мне пора идти в классную комнату под номером 178 для обсуждения *Дамы с собачкой* по-английски; я перевожу им с русского и наслаждаюсь блестящими мелочами, к которым мои студенты совершенно невосприимчивы.

Может статься, всеми своими бостонскими делами мне придется заняться после 12-го. Вести нашу с тобой переписку — все равно что вести дневник; ты понимаешь, что я имею в виду, но, *пожалуйста*, продолжай писать, я люблю твои письма.

В.

Уэллфлит, Кейп-Код
Массачусетс
3 июня 1950

Дорогой Володя. <...>

(2) Что до улицы и луны, которые Чехов в порыве мазохизма, столь свойственного русской литературе, превратил в жертвы глагола, вместо того чтобы сделать их, как следовало бы, его властителями, — ты дал мне два внятных объяснения, ни одно из которых ситуацию не проясняет. Дело же все в том, что это очередной пример одного из нелепых отклонений от нормы, которыми так богата русская грамматика. Когда наши просвещенные проконсулы

придут на помощь этой несчастной стране, предлагаю себя на должность Секретаря колониальной культуры, дабы устранить подобные нелепости, объявив их незаконными и наказывая за них тюремным заключением.

(3) Относительно "Доктора Джекила и мистера Хайда". Я попробовал прочесть Руэлу и эту повесть, но и она не показалась мне верхом совершенства. Хотя "Джекил", несомненно, выше уровнем ["Острова сокровищ". — *А. Л.*], мне эта повесть нравится меньше, чем "Уильям Уилсон" По, у которого Стивенсон, думаю, ее позаимствовал. Если уж на то пошло, я предпочитаю "Дориана Грея". Не понимаю, чем "Джекил" хорош. Люди иногда испытывают интерес к второстепенным иностранным авторам, которые для них значат совсем не то, что для соотечественников этих авторов. Не могу постичь, почему ты восхищаешься "Джекилом" и не любишь *Черного монаха* и *Вия*, который, по-моему, самый безукоризненный рассказ о сверхъестественном из всех, какие мне приходилось читать. Кстати, *Дама с собачкой*, на мой вкус, перехвалена. Думаю, своей популярностью рассказ (в Советском Союзе недавно вышло подарочное иллюстрированное издание) обязан тому, что это единственный из поздних рассказов Чехова о любви, которая не вызывает одних только горьких чувств, не погрязает в *пошлости*. *Архиерей*, которого я прочел только что, — шедевр.

Все эти темы мне немного надоели, и, по-моему, нам надо начать что-то новое. Дай мне знать о своих передвижениях. Вот наш окончательный план: 15-е — Бостон; тогда же, во второй половине дня, Елена отправляется в Сент-Пол, Розалинда, Руэл и я — в Утику, а оттуда — в Талкотвилл и все, скорее всего, возвращаются обратно в воскресенье. С вами же рады будем встретиться в любое время. Желаю удачи у зубного.

ЭУ.

---

27 августа 1950

Дорогой Кролик,

слышал от кембриджских друзей, что твоя пьеса ["Синий огонечек". — *А. Л.*] прошла превосходно. Вещь прелестная и вполне заслуживает *оглушительных рукоплесканий* (oglushitelnyh rukopleskanij — последний раз грешу транслитерацией).

После нескольких фальстартов мы в Кейп-Код так и не выбрались. Cela devient comique[1].

Дмитрий пять недель пробыл на курсах ведения диспутов для старшеклассников в С. З. [Северо-Западном. — *А. Л.*] университете

1. Это уже смешно (*франц.*).

и стал еще выше ростом, чем был: сейчас в нем 6 футов 5 дюймов. В теннис мы играем каждое утро, и оба в великолепной форме.

Пишу на бегу, т. к. чудовищно занят: держу корректуру "Убедительного доказательства" (отдельные главы ты видел в "Нью-Йоркере"), проверяю французский перевод (который сделала секретарша Жида) "Себастьяна Найта" и исправляю для своего (надвигающегося) курса негодный перевод "Госпожи Бовари", вышедший по-английски в издательстве Рейнхарта.

С любовью

В.

Уэллфлит, Масс.
8 сентября 1950

Дорогой Володя,

жаль, что вы до нас так и не добрались. Теперь, боюсь, уже нет надежды, что вам удастся выбраться.

Несколько нью-йоркских режиссеров, в том числе и Театральная гильдия, предложили мне поставить "Синий огонечек" — поэтому (если только русские не сбросят на нас бомбу) пьеса обязательно пойдет зимой. Мне немного не повезло с маленькой англичаночкой в роли моей циничной героини (хотя она и способная, мастеровитая актриса, но умом не блещет). На репетиции англичанка могла вдруг прервать монолог, который, по ее мнению, оскорбляет христианскую веру, и сказать: "Эти слова мне не по душе. Если честно, это, по-моему, дурной вкус". Она наотрез отказалась произносить антианглийскую, якобы, реплику, где что-то говорилось о движении за освобождение Греции, которое "было подавлено британцами с помощью американских танков", хотя это исторический факт. Во время последнего спектакля две сидевшие в зале католички вышли из театра, направились прямиком в кассу и, сославшись на то, что пьеса наносит оскорбление их вере, потребовали назад деньги. Собираемся впредь устроить складчину на тот случай, если подобные истории возникнут в Нью-Йорке.

Мне не нравится, как ты назвал свои воспоминания; название не годится ни по колориту, ни по сути. К тому же оно введет в заблуждение читателей и сведет с ума книгопродавцев.

Кстати, я только что беседовал с отцом Джеффри Хеллмана, он много лет назад приобрел неизданные бумаги и письма Стивенсона. В них содержится множество сенсационных вещей. На основании этих документов он написал книгу, которую собирается мне прислать, и, если тебе интересно, я ее тебе переправлю. Тебе известно, к примеру, что жена Стивенсона, настоящая фурия, перлюстрировала его рукописи и вместе с некоторыми его друзьями после его смерти создала миф о его мягкотелости и сентиментальности? Судя по

книге Хеллмана, "Доктор Джекил" задумывался не как моральная притча, а как нечто более беспристрастное; поначалу мистер Хайд изображался с бóльшим сочувствием. Хеллман пишет, что Стивенсон стыдился этого произведения — в его окончательном виде.

Генри сегодня отправился в Кембридж — будет учиться в МТИ [Массачусетском технологическом институте. — А. Л.]. Руэл на следующей неделе идет в школу. Елена измучилась от летней суматохи. На следующие выходные собираемся в Нью-Йорк. Ты там случайно не окажешься?

Тебе не попадался перевод "Госпожи Бовари", выполненный дочерью Карла Маркса, — первый на английском языке? Если интересно, у меня есть лишний экземпляр.

Всегда твой

ЭУ.

---

802 Е. Сенека-стрит
Итака
18 ноября 1950

Дорогой Эдмунд, только сегодня выдалась минута поблагодарить тебя за твою книгу (Вера присоединяется) — но "лучше поздно, чем никогда, сказала женщина, опоздавшая на поезд" (старый русский анекдот — "с бородой"). В ней много превосходных вещей, особенно хороши издевательства и шутки. Как и большинству хороших критиков, боевой клич тебе удается лучше, чем песнопение. Настанет день, когда ты вспомнишь с изумлением и жалостью свою слабость к Фолкнеру (и к Элиоту, и к Генри Джеймсу). В твоей статье о Гоголе и обо мне содержатся вещи (добавленные? измененные?), которых я, если мне не изменяет память, в первом варианте не видел. Последняя строчка вызывает у меня протест. С *избитым* английским языком Конрад справляется лучше меня, зато я лучше знаю другой английский. Конрад никогда не опускается до моих промахов, но штурмовать мои словесные высоты ему не под силу.

Хочу включить в свой отчет за первую половину семестра те две книги, которые ты мне посоветовал для моего курса. Велел студентам прочесть произведения, упоминавшиеся героями "Мэнсфилд-парка": первые две песни из "Песен последнего менестреля", "Урок" Каупера, монологи из "Короля Генриха VIII", "Час расставания" Крэбба, отрывки из журнала Джонсона "Рассеянный", вступление Брауна к "Трубке с табаком" (подражание Поупу), "Сентиментальное путешествие" Стерна ("ворота без ключа" и скворец) и, конечно же, "Обеты влюбленных" [пьеса А. Коцебу "Дитя любви". — *А. Л.*]в неподражаемом переводе миссис Инчболд (смешней некуда). Обсуждая со студентами "Холодный дом", я совершенно пренебрегал всеми социальными и историческими аллюзиями, зато выявил целый ряд поразительных тематических рядов (тема

тумана, тема птиц и т. д.) и три основных структурных стержня: тема "преступление — тайна" (самая слабая), тема "ребенок — нищета" и тема "судебный процесс — суд лорда-канцлера" (самая лучшая). По-моему, мне было интереснее, чем моим ученикам.

Беспокоюсь за Романа. Оправился ли он после сердечного приступа?

Весьма вероятно, что в Нью-Йорке я окажусь в начале следующего года. Очень хочу тебя повидать. Вера и я шлем Елене и тебе нежный привет.

В.

1951

10 марта 1951

Дорогой Кролик,

нет, я добросовестно перечитываю эти гоголевские истории (о чем ясно сказано в моей книге о Г.), и мое отношение к ним совершенно не меняется. Помню, что перечитывал "Вечера" в 1932-м или в 1933 году, когда писал статью о Гоголе по-русски — до сих пор пользуюсь ею на занятиях по русской литературе.

В курсе европейской словесности я прочел лекции об "Анне Карениной" и о "Смерти Джона, сына Илии" ["Смерть Ивана Ильича" — *А. Л.*] (шутка) и собираюсь теперь провести изящное сравнение между "Джекилом и Хайдом" и "Превращением", в котором пальму первенства отдам "Превращению". Далее последуют: Чехов, Пруст и — частично — Джойс. Монкрифовский перевод Пруста ужасен, почти так же ужасен, как перевод "Анны" и "Эммы" ["Анны Карениной" и "Госпожи Бовари". — *А. Л.*], но в чем-то еще безотраднее, ибо здесь мистер Монкриф бравирует son petit style à lui[1].

Ты получил два экземпляра "Убедительного доказательства", одно из них с dédicace? Когда будет возможность, перешли мне, пожалуйста, уэллфлитский экземпляр обратно. А мое скверное письмо о твоем скверном русском стихотворении тоже получил? Ты будешь в Нью-Йорке в конце мая? Мы с Верой будем там в это время по причине и в связи с событиями, которые меня до упоминания о них в газетах просили не разглашать, но о которых, подозреваю, тебе должно быть известно.

Твой

В.

1. Своим собственным жалким стилем (*франц.*).

24 марта 1951

Дорогой Кролик,

может, это и глупо (в свете того, как я всегда относился к критике своих книг), но твое письмо вызвало у меня острый приступ удовольствия. Мне бы очень хотелось получить письмо от Елены; пожалуйста, поблагодари ее от меня за теплое отношение к "Убедительному доказательству". Название я пытался придумать самое нейтральное, какое только бывает, и в этом смысле оно удачно. Но с тобой я согласен: дух книги это название не передает. В начале у меня были варианты "Speak, Mnemosyne" и "Rainbow Edge"[1] — но ведь никто не знает, кто такая Мнемозина (и как она произносится), да и "RE" не ассоциируется со стеклянным наконечником, как "The Prizmatic Bezel"[2] (из достославного "Себастьяна Найта").

Английский издатель Голланц (ты знаешь это издательство?) хочет выпустить мою книгу, хотя название ему не нравится. Если бы Грин (первая страница его романа "Ничто" удивительна — произношу это слово с твоей интонацией) не использовал в названиях своих книг так много односложных слов, я бы предложил Голланцу "Clues" или "Mothing"[3]!).

В моей жизни последнее время происходили следующие события. Карпович, глава русского факультета в Гарварде, через год в весеннем семестре будет отсутствовать и предлагает мне вместо него вести курс русской литературы, поэтому в январе мы, может статься, переберемся в Кембридж (о чем в сверхразумном и сверхскучном Корнелле я думаю с огромной радостью). Есть в этом переезде и еще один плюс: мы окажемся гораздо ближе к вам пространственно. Ужасно хотим приехать на Кейп-Код.

"Лайф" хочет поместить фотографии, на которых я ловлю бабочек, а также самих бабочек на цветах или в грязи, и я стараюсь изо всех сил, чтобы эти фотографии носили строго научный характер, — раньше (с редкими западными экземплярами, которые частично я описывал сам) ничего подобного не делалось. Так вот, не вполне понимая, чем это может обернуться, они отправляют со мной на неделю в июле фотографа на богатый бабочками юго-запад Колорадо или в Аризону. Дмитрий сегодня в отличной вокальной форме; напевает басом по-французски из "La Juive"[4] и через минуту потащит меня на футбольное поле для усвоения практических и теоретических навыков игры.

1. "Мнемозина, говори"... "Обод радуги" (*англ.*).
2. В русских переводах: "Граненая оправа" (перевод А. Горянина и М. Мейлаха); "Призматический фацет" (перевод С. Ильина); "Грань призмы" (Г. Барабтарло).
3. "Улики" (*англ.*). Словом "Mothing" — в переводе С. Ильина "Брень" — заканчивается роман "Под знаком незаконнорожденных".
4. "Еврейка" (*франц.*).

Я решил, что ты — que sais-je?[1] — тайно повлиял на решение Американской академии, которая 25 мая в торжественной обстановке вручает мне награду. Абсолютно ничего про эту организацию не знаю и сначала спутал ее с какой-то марктвеновской шарашкиной конторой, которая в прошлом чуть было не заполучила мое имя. Однако меня заверили, что эта академия — настоящая. Сообщение о награде меня просили не разглашать, пока оно не появится в газетах.

Привет вам обоим от нас обоих.

В.

№ 25 Уэст, 43-я стрит
26 марта 1951

Дорогой Володя,

Голланц — человек довольно умный, в книгах разбирается и печатает только то, во что верит; но издательство у него небольшое, поэтому много денег он тебе не даст. "Синий огонечек" он выпускает, но от другой моей книги отказался: на моих условиях он ее печатать не захотел, пришлось искать другого издателя.

Про твою академическую награду я ничего не знал и очень рад, что она досталась тебе. Несколько лет назад меня выбрали в Академию, но я отказался: там сидят сплошные посредственности. Хорошо в этой академии только одно: время от времени они дают деньги писателям. Возможно, дать тебе премию их надоумил Аллен Тейт — последнее время он очень активен. Не терпится поскорей увидеть номер "Лайфа" с фотографиями Набокова, за ловлей бабочек. Ужасно рад, что ты возвращаешься обратно в Кембридж.

Моя пьеса сейчас репетируется; премьера — 18 апреля.

Да, с жадностью, за один день, проглотил "УД" ["Убедительное доказательство". — *А. Л.*]. В "Классиках и рекламе"[2] я не изменил того, что написал в 1944 году, — что твой английский мало в чем уступает английскому языку Конрада. Исправлять уже сказанное мне не хотелось, и я оставил все как было. Английский язык "УД" по меньшей мере не хуже конрадовского, а в чем-то и несравненно лучше. Думаю, придирчивая — под мелкую гребенку — стилистическая правка (временами возмутительно глупая) редакторов "НьюЙоркера" пошла тебе на пользу. Я обратил внимание лишь на два предложения, которые показались мне по крайней мере сомни-

1. Здесь: каким-то образом (*франц.*).
2. В оригинале — "Classics and Commercials".

тельными. Но со времени "Незаконнорожденных" твой язык, безусловно, стал не в пример более изящным и гибким. В этой книге твои симпатии старому режиму не кажутся мне, как это бывало в иных случаях, такими уж преувеличенными.

Привет Вере и Дмитрию.

ЭУ.

---

802 Е. Сенека-стрит
Итака, Нью-Йорк
13 июня 1951

Дорогой Кролик,

<...> мне надоело, что мои книги погружены в тишину, как бриллианты в вату. Безумный энтузиазм, коим преисполнены письма ко мне частных лиц, до смешного несопоставим с полным отсутствием интереса, который проявляют к моим книгам мои глупые и неумелые издатели. И они такие обидчивые, эти издатели. После того как я со всей откровенностью высказал "Харперу и Харперу" свое суждение об идиотской рекламе, которую они состряпали к "Убедительному доказательству", они совершенно ко мне переменились и теперь с патологическим удовольствием мою книгу замалчивают. В результате моего гордого, безразличного и даже презрительного отношения к fata[1] моих творений, доблесть и честность в конечном счете так и не взяли верх над посредственностью и мелкотравчатостью. Напротив, я совершенно dèche[2], погряз в финансовых проблемах, не могу избавиться от тяжкого и постылого (к тому же скверно оплачиваемого) академического рабства и т. д. "Нью-Йоркер" отказывается печатать лучший рассказ из всех, мною написанных, то же, что я пишу сейчас, наверняка будет отвергнуто всеми журналами без исключения. Но впредь je vais me trémousser[3], буду деловит и хитер, буду посылать свои книги критикам, буду вписывать в контракты с издателями специальные пункты, согласно которым им придется раскошелиться на рекламу моих книг.

Мы складываем вещи: осенью у нас будет другой дом, поменьше, но удобнее. Отправляемся на запад *в двадцатых числах сего месяца* и, возможно, проведем июль поблизости от Теллурайда, на юго-западе Колорадо, где я собираюсь на природе изучить бабочку, которую описал в лаборатории. Беру с собой подробные записи,

1. Обыгрывается латинское выражение "Habent sua fata libelli" — "Книги имеют свою судьбу".
2. Здесь: на мели (*франц.*).
3. Здесь: встряхнусь (*франц.*).

имеющие отношение к роману, который, сумей я полностью на нем сосредоточиться, был бы через год закончен. <...>

Твой

В.

623, Хайленд-роуд
Итака
Первые числа сентября 1951 года

Дорогой Кролик,

я болен. Врачи говорят, что у меня нечто вроде солнечного удара. Ситуация идиотская: два месяца изо дня в день карабкаться по горам в Роки-маунтинз, без рубашки, в одних шортах — и рухнуть под вялыми лучами нью-йоркского солнца на подстриженном газоне. Высокая температура, боль в висках, бессонница и нескончаемый, великолепный и совершенно образцовый беспорядок в мыслях и фантазиях. <...>

В Гарварде зарплату мне будут платить вполне пристойную; помимо двух русских курсов, мне дают еще европейский роман (от Сервантеса до Флобера). Нынешние же мои обстоятельства хуже некуда, и это притом, что весной я взял у Романа в долг тысячу долларов. Нет ни одного журнала, который счел бы возможным напечатать или хотя бы понять (это относится и к "Нью-Йоркеру") мой последний рассказ, и коль скоро у меня нет ни малейшего желания идти навстречу "широкому читателю", мне предстоит оставаться в сфере, которую дураки называют "экспериментальной" литературой, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Здесь мне не доплачивают самым нелепым и оскорбительным образом. Люблю жаловаться — потому все это тебе и выкладываю.

Числа 17, если поправлюсь, отвезу Дмитрия в Гарвард. Не может ли так случиться, что вы с Еленой окажетесь в Кембридже между 17 и 20 сентября? Занятия у меня начинаются 21-го. Нам с Верой очень бы хотелось бросить на вас обоих хотя бы мимолетный взгляд.

С душевным приветом

В.

1952

623 Хайленд-роуд
Итака
16 января 1952

Дорогой Кролик,

тысячу лет ничего от тебя не получал. Мне следует, полагаю, поблагодарить тебя за те, полагаю, теплые слова, которые ты, по-

лагаю, произнес, когда отвечал на вопросы обо мне, которые, полагаю, задавались в фонде Гуггенхайма. Я и в самом деле с большим удовольствием займусь переводом "Е. О." ["Евгения Онегина". — *А. Л.*] на английский язык со всеми причитающимися ухищрениями и тысячами примечаний. Кстати, ты исправил злосчастное описание дуэли в своей книге (второе издание уже было?)? Пожалуйста, сделай это — если еще не сделал.

В добром ли ты здравии? Дома все благополучно? Мы с Верой рассчитываем в этом году видеться с вами чаще. <...>

Первый семестр Дмитрия в Гарварде начался бурно, и мы не без интереса ожидаем результатов экзаменов. Был в Нью-Йорке, остановился у Гринбергов. Роман, по-моему, выглядит лучше. Он перевел на русский язык главу "Exile"[1] из "Убедительного доказательства", но сейчас я со страхом и отчаянием вижу, что труд его пропал даром. По-русски мой текст выглядит ужасно резким и издан быть не может, пока те, о ком я пишу сквозь свою американскую завесу (которую перевод, разумеется, срывает), еще живы.

Несколько месяцев назад Алданов (в таких делах он ведет себя безукоризненно) надоумил меня обратиться в фонд Форда в связи с публикацией моего большого русского романа "Дар" (в книжном издании роман до сих пор еще не выходил), и, к моему изумлению, фонд приобрел на эту книгу права.

Как обычно, я чертовски занят, но в Кембридже, надеюсь, у меня выдастся время для некоторых приятных трудов, в частности, для романа (по-английски), который я пальпирую в уме уже второй год.

Напиши же мне хоть несколько слов.

Вера и я шлем Елене и тебе наши наилучшие пожелания и приветы.

В.

Уэллфлит, Кейп-Код
Массачусетс
18 января 1952

Дорогой Володя,

я от всей души рекомендовал тебя Гуггенхайму, но лучше было бы предложить им что-нибудь другое: жаль, по-моему, тратить столько времени на "Онегина", тебе ведь надо писать собственные книги.

Описание дуэли в английском издании "Трех мыслителей", которое вот-вот выйдет, я исправил, тем не менее совершенно ясно, что, по мысли Пушкина, Онегин *воспользовался* рассеянностью Ленского.

Жизнь мы ведем здесь очень однообразную, но довольно приятную и деятельную. Я работаю над огромной книгой, в которую

1. "Изгнание" (*англ.*).

войдут девяносто две статьи, написанные еще в 20 и 30-е годы, и которая станет чем-то вроде литературных мемуаров. Завтра собираемся в Бостон в отпуск, который по той или иной причине все время откладывался. В конце месяца рассчитываем попасть в Нью-Йорк, где пробудем февраль и март. Мы очень рады, что вы переезжаете в Кембридж, обязательно там увидимся.

Теперь, после смерти Росса, никто не знает, что будет с "Нью-Йоркером". Боюсь, как бы журнал вместо того, чтобы начать новую жизнь, не рухнул окончательно.

Что ты думаешь о Колетт? Я читаю ее впервые, и нравится она мне не слишком, а книги о Шери и вовсе вызывают отвращение. Я не излагал тебе свою теорию о роли *решительного шага* и *пристального взгляда* в русской литературе? Если нет, как-нибудь изложу.

Хотелось бы почитать рецензию Гарольда Николсона на твою книгу. Ты, думаю, видел еще одну в "Нью-Йоркере".

Всегда твой

ЭУ.

---

24 января 1952

Дорогой Кролик,

спасибо за рекомендацию. "Е. О." не займет у меня слишком много времени, и можно будет с легкостью сочетать перевод с другими литературными удовольствиями. Но преподавать мне надоело, надоело, надоело. До отъезда в Кембридж предстоит прочесть сто пятьдесят экзаменационных работ.

Не пропусти мой рассказ "Ланс" в одном из ближайших номеров "Нью-Йоркера". А в рассказе не пропусти место, где упоминаетесь ты и Елена. В текст рассказа это упоминание внесено ради блеска муарового шелка, каковой эффект является истинным признаком гениальности, спаржей искусства, если ты понимаешь, что я имею в виду. Кэтрин Уайт, по причинам, которые будут тебе понятны, смутно догадалась, о ком идет речь, и высказалась против этой ссылки, но я не поддался. В этот маленький рассказ я вложил столько нервной энергии, что она эквивалентна полудюжине далеких раскатов грома.

Ты спрашиваешь меня, что я думаю о Колетт. C'est pour les gosses[1]. Второразрядная литература, из тех, что читают на пляже. Не о чем говорить.

Зато *пристальный взгляд* вызывает у меня пристальный же интерес. У тебя и в самом деле есть какие-то соображения на этот счет? Хочется узнать о них поподробнее.

1. Это для детей (*франц.*).

Спасибо за статью Гарольда Николсона. У меня создалось впечатление, что причины его привередливого недовольства следует искать в области политики. Когда-то он был настроен очень просоветски, в былые времена повязывал даже красный галстук, и я слышал, что гувернантка из его "Каких-то людей" — это та самая старуха-англичанка, что одно время служила гувернанткой у моих младших сестер в Петербурге. Должен признаться, книга эта мне тогда очень понравилась, зато поздние его опусы никуда не годятся. Между прочим, — вот он, коронный удар Сирина! — Николсон, смешно сказать, перепутал в своих "Каких-то людях" петербургский музей "Эрмитаж" с московским рестораном "Эрмитаж". <...>

Будь здоров.

В.

---

9 Мейнард-плейс
Кембридж, Масс.
21 февраля 1952

Дорогой Кролик,

хорошо, что предупредил меня, что не будешь участвовать в этой унылой гоголевской истории. Симмонс тоже мне написал, но на его письме стоял адрес Корнелла, и добиралось оно до меня целую неделю; получил я его уже после твоего письма, незадолго до энергичного телефонного звонка "Эрни" (как называет его Гарри), которого мое молчание озадачило. Конечно, ты прав, и "это все пустое" (как заметили Татьяна Ларина и Фанни Прайс). Я сказал ему по заснеженному телефонному проводу, что только в том случае, если они заплатят солидный гонорар, я готов рассмотреть, и т. д.

Ты так и не написал мне, прочитал ли "Ланс". Мне казалось, что я довольно удачно вплел в текст Уайтов и Уилсонов. Так мы поедем в Нью-Йорк встречаться с Шонами? Мне хочется спокойно поговорить с тобой эдак часа четыре с половиной за стаканчиком вина, после чего будем долго, подперев голову локтем, ужинать.

Здесь мы отлично проводим время. Дважды в неделю, стоя над пропастью, в которой сгрудилось не меньше пятисот студентов, мечу громы и молнии в Сервантеса и выкручиваю руки Достоевскому на занятиях по русской литературе.

Страшный опыт весны 1948 года, когда мне пришлось делать анализ мокроты и бронхоскопию, вновь, точно привидение, прокрался в мою жизнь после того, как на самом заурядном рентгеновском снимке у меня обнаружилась "тень за сердцем". Тень эта преследует меня больше десяти лет, и ее природу ни одному врачу по сей день постичь не удалось. "Тень за сердцем" — чем не название старомодного романа!

У нас прелестный, покосившийся от времени дом с массой bibelots и хорошей bibliothèque[1], этот дом сдала нам прелестная лесбиянка Мей Сартон.

Наши с Верой самые теплые пожелания Елене и тебе.

В.

Талкотвилл, Нью-Йорк
26 августа 1952

Дорогой Володя,

Принстон только что получил субсидию от одного из фондов-миллионеров и теперь имеет возможность приглашать оригинально мыслящих лекторов со стороны. Читаешь в общей сложности шесть лекций (или проводишь беседу — на выбор), одну лекцию в неделю, и больше от тебя ничего не требуется. Жить, правда, ты должен в Принстоне весь семестр и посещать, тоже раз в неделю, лекцию своего коллеги, что, по словам Марио Праца, — чистый садомазохизм. После лекции предполагается проводить дискуссии, в ходе которых ты будешь подвергаться нападкам со стороны "новых критиков" и недавно обращенных католиков. За все это ты получишь 5000 долларов. Я порекомендовал им пригласить тебя, Сирила Коннолли и Праза, а также целый ряд других людей; боюсь, однако, что они предпочтут позвать полуакадемических посредственностей, с которыми им проще иметь дело.

Живу я здесь лучше некуда. Этот дом принадлежал семье моей матери и после ее смерти достался мне. Построен он был примерно в 1805 году. Талкотвилл — место старомодное и довольно странное. Мне здесь чудесно, а вот Елене скучновато. Надеюсь, ты меня навестишь, когда приведем дом в порядок.

Уезжаем мы отсюда в День труда; в сентябре буду в Уэллфлите.

Привет Вере.

ЭУ.

Голдвин-смит (Холл)
Корнелл
21 октября 1952

Дорогой Кролик,

спасибо от нас обоих за твой новый сборник *Брега Лучезарные.* Думаю, буду читать — или перечитывать — эти стихи с огромным удовольствием и, когда ты ждешь этого меньше всего, метать в тебя критические стрелы.

1. Безделушек... библиотекой (*франц.*).

Благодарен тебе также за трогательную принстонскую рекомендацию. Пока, увы, никакого приглашения не последовало.

Если ты откроешь словарь Вебстера 1949 года издания (а возможно, и издания предыдущих лет), то в рубрике "Биографические имена" прочтешь про своего героя [маркиза де Сада. — *А. Л.*] следующее: "Сад, де... — французский солдат и извращенец". Вдумайся в эти две профессии в сочетании с "грязным" эпитетом ("французский") и изысканным ритмом всей фразы (амфибрахическим и строгим).

Твой

В.

Принстон, Нью-Джерси
3 ноября 1952

Дорогой Володя,

вебстерское определение Сада привело меня в восторг. Я уже получил с десяток писем от возмущенных садистов — некоторые написаны неразборчиво.

Тебе когда-нибудь приходилось читать *уголовный роман* Чехова *Драма на охоте*? Он выходил частями в 1884—1885 годах, но больше никогда не переиздавался. Вещь, по-моему, весьма примечательная, не понимаю, почему вокруг нее так мало шума (был, правда, снят по этому роману голливудский фильм). Обязательно прочти его, если еще не читал. Это третий том нового советского собрания сочинений — есть *Драма на охоте* наверняка и хотя бы в одном из изданий более старых.

Живем мы здесь припеваючи. О такой работе можно только мечтать. Я уговаривал их пригласить и тебя, и они вроде бы не против, но в их списке больше семидесяти имен; к тому же человек, который за это отвечает (он наполовину бельгиец, наполовину южнокаролинец), крайне рассеян: вечно опаздывает на поезд и теряет ключи. Тебе и он, и его сподручные очень бы полюбились.

Привет Вере.

ЭУ.

1953

Портал, Аризона
3 мая 1953

Дорогой Кролик,

это великолепное место неподалеку от Парадайс[1] (город-привидение), в шестидесяти милях от цивилизации (Дуглас); от кактуса до

1. Paradise (*англ.*) — рай.

сосны здесь — десять минут на машине, а оттуда в гору — рукой подать до осины. Слово portal[1] довольно причудливо ассоциируется в моем уме (где всегда роилось больше ассоциаций, чем мыслей) с неким эвфемизмом из твоей "Гекаты".

По пути сюда мы так с вами и не повидались. Я, впрочем, был на грани нервного срыва и для общения не годился. Два месяца в Кембридже я только и делал (с девяти утра до двух часов дня), что писал комментарии к "Е. О.". Гарвардские библиотеки превосходны. Я даже отыскал в них сонник, в котором Татьяна нашла объяснение своему провидческому сну. Труд мой составит страниц 600, войдет сюда и (ритмический) перевод всех известных пушкинских строк (даже тех, которые он вычеркнул). Когда пришло время покинуть Кембридж, я был так издерган, взвинчен и измучен бессонницей и всем прочим, что решил на несколько месяцев отложить Пушкина и начать перепечатывать новый роман (о котором расскажу подробнее осенью). Несколько часов в день у меня уходит на ловлю бабочек. Мне вдруг пришло в голову, что можно было бы вместо Стерна взять со студентами Филдинга, но "Том Джонс" ужасно однообразен (чего стоят эти его довольно беспомощные отсылки к Хогарту).

В Бостоне мы отлично пообщались с твоей прелестной дочерью. Я сыграл с ней незабываемую партию (нет, две партии) в шахматы. Видел также Тейта; мертвецки пьяный Тейт читал в Радклифе свои стихи, а также стихи Рэнсома, Каммингса и Бишопа. Очень милый человек.

Напиши мне, пожалуйста. Мы (Вера и я, а в дальнейшем и Дмитрий, перед тем как в июле заняться альпинизмом в Британской Колумбии, возможно, подадимся на север) пробудем здесь по крайней мере до середины лета. У нас отличный коттедж на ранчо, в главном доме нет никого, кроме горного инженера (чье хобби состоит в подсчете частотности слов, используемых в кроссвордах) и его девяносточетырехлетнего отца (который основал 106 церквей и был знаком с сестрами Фокс).

Привет вам обоим от нас обоих.

В.

Уэллфлит, Масс.
16 мая 1953

Дорогой Володя,

рад был твоему письму. Куда ты собираешься по возвращении из Аризоны? Конец лета мы проведем в Талкотвилле (штат Нью-Йорк), и, если вы будете в Итаке, можем повидаться — у вас или у нас.

1. Вход, ворота (*англ.*).

Получится ли у тебя издать книгу до следующей осени? Очень на это рассчитываю, ибо тогда у меня будет предлог написать о тебе длинную статью в "Нью-Йоркер" и включить ее в сборник, который должен выйти в 1954 году. Для моей статьи роман был бы предпочтительнее, чем "Евгений Онегин", но пригодится и "Онегин". Ты будешь моей следующей – после Тургенева – русской темой. (Я договорился с "Нью-Йоркером" о статье про "Пятикнижие", прочитанное в первый раз.)

Насчет Филдинга: мне он всегда казался безжизненным. "Том Джонс" сильно переоценен. Вообще, по-моему, англичане в своей литературе лучше, чем в жизни, но Филдинг восхищает их солидными английскими качествами в самом неинтересном виде: здравый смысл, хорошее чувство юмора, задушевность, честная мужественность. Ты совершенно прав, когда отдаешь в своих лекциях предпочтение Стерну.

Мы вернулись на Кейп; сбежать от академической общественности, сам знаешь, всегда приятно.

Собираюсь взяться за роман, который маячит передо мной уже много лет и повергает меня в трепет.

Держи меня в курсе своих передвижений и литературных замыслов.

Елена и Розалинда шлют вам всем привет.

Всегда твой

ЭУ.

Эшленд, Орегон
20 июня 1953

Дорогой Кролик,

мы с Верой приехали из Аризоны в Орегон, минуя район озер в Калифорнии и занимаясь по пути ловлей бабочек. Тем временем Дмитрий в старом, собственными руками собранном "бьюике" направился на запад от Гарвард-сквер. Встретились мы в Эшленде, прелестном местечке. Отсюда он поедет в июле в Британскую Колумбию заниматься альпинизмом со своим клубом, а его родители планируют остаться здесь до конца августа. Мы сняли дом у профессора (в Эшленде есть колледж), который на лето уехал на восток. Бабочки ловятся отлично.

Да, до осени 1954 года я koe-shto, прости, *кое-что* выпущу в свет. Книга пишется славно. В обстановке сверхсекретности покажу тебе – когда вернусь на восток – поразительное сочинение, которое к тому времени будет закончено. Кажется, я говорил тебе, что комментарий к "Е. О." также составит целую книгу. Кроме того, я начал серию рассказов об одном прелестном существе, профессоре Пнине, к которому, надеюсь, "Нью-Йоркер" проявит интерес.

Вкладываю в письмо два стихотворения. У меня есть еще несколько, но они куда-то подевались. Первое было отвергнуто "Нью-Йоркером" как малопонятное; второе только что отослано К. Уайт и, не исключено, будет отвергнуто тоже.

Теперь, после Филдинга, я взялся за очень любопытную толстую книгу с немыслимыми узорами викторианских недоговоренностей — это "Дэниэл Деронда" Джордж Элиот.

Печально, что мы так редко видимся. Весь следующий год проведем на востоке и поедем на океан. В Итаку вернемся в сентябре, и, надеюсь, вы будете поблизости от нас.

Я — решительный противник высшей меры наказания. Все что угодно лучше смертной казни — даже несправедливое помилование.

Привет от всех нас всем вам.

1954

Таос, Нью-Мексико
30 июля 1954

Дорогой Кролик,

собираюсь написать тебе уже несколько месяцев, но дел и тогда, и сейчас, да и в будущем, невпроворот. Прежде всего, хочу поблагодарить тебя за сборник пьес. Я по-прежнему считаю, что "Синий огонечек" — самая гармоничная и многозначная из всех твоих пьес. Дьявольская же пьеса показалась мне на редкость забавной и хорошо написанной. Вера также шлет тебе свою благодарность и просит передать, что высоко ценит твои труды. Твое библейское эссе в "Нью-Йоркере" мне очень понравилось; с нетерпением жду продолжения. <...>

Работу над "Евгением Онегиным" пришлось отложить. Отчасти из-за издания на английском языке "Анны Карениной" с моими примечаниями, комментариями, вступлением и т. д. "Саймон энд Шустер" хочет сначала выпустить первый том с примечаниями, и я его уже закончил. С "Вайкингом" я заключил договор на книгу о Пнине, но допишу ее не раньше конца зимы.

Роман, над которым я работаю почти пять лет, отклонен двумя издательствами ("Вайкинг" и "С. энд Ш."). Они утверждают, что читатели сочтут его порнографией. Сейчас отправил рукопись в "Нью дирекшнз", но и там роман вряд ли возьмут. Считаю его сво-

ей лучшей вещью на английском языке, и хотя тема и ситуация, безусловно, чувственны, искусство этой книги непорочно, а смех мятежен. Хочется, чтобы ты как-нибудь в нее заглянул. Пэт Ковичи сказал, что, если она выйдет, нас всех посадят. Создавшуюся ситуацию я переживаю довольно тяжело. Нелегко дается мне и русская версия "Убедительного доказательства", которая выходит частями в "Новом журнале" и издана будет осенью в издательстве Чехова. Пожалуйста, пиши. Привет Елене от нас обоих.

Твой В.

Итака, Нью-Йорк
9 сентября 1954

Дорогой Кролик,

нам пришлось срочно покинуть Таос. Заболела Вера (что-то с печенью), и диагноз врача из Альбукерка был столь тревожным, что мы, все трое, со всех ног бросились в Нью-Йорк. Тамошние врачи, однако, тщательно Веру обследовали и сочли ее здоровой — и вот мы вновь в Итаке.

Спасибо за твое славное письмо, а также за то, что написал про мой роман в издательство "F & S". Лафлин по сей день не выпускает его из своих больших мозолистых рук. Мне очень хочется, чтобы ты его прочел, — это, несомненно, моя лучшая книга на английском языке.

Буду в Нью-Йорке 14-го — выступаю в Английском институте Колумбийского университета с докладом "Проблемы перевода" ("Онегин" по-английски). Лето получилось безумное. Из-за Вериной болезни и некоторых других непредвиденных расходов я оказался в презренном положении нищего и должника.

Твой

В.

Уэллфлит
Кейп-Код, Масс.
30 ноября 1954

Дорогой Володя,

Роджер Страус передал мне рукопись твоей книги, и я прочел ее, когда был в Нью-Йорке, — увы, второпях, поскольку должен был ее вернуть; тебе же решил не писать, пока не узнаю, что дума-

ют о романе другие. Дал его прочесть Елене и Мэри. Прилагаю соображения Мэри о твоей книге из письма ко мне — она разрешила их тебе процитировать. Елене книга понравилась больше, чем нам с Мэри, — отчасти, думаю, потому, что на Америку она смотрит, как и твой герой, глазами иностранца. В маленькой героине, например, она не находит ничего неестественного, мне же Лолита кажется довольно надуманной.

Боюсь, что никто твою книгу печатать не станет, за исключением разве что Лафлина. Тем не менее я написал о ней поэту по имени Уэлдон Кис, который недавно сообщил мне, что сотрудничает с новым издательством в Калифорнии, это издательство хочет выпускать книги, от которых отказываются другие. Я также поговорил о ней с Джейсоном Эпстайном из "Даблдей". Насколько я помню, когда ты вернул им свою часть аванса за ту русскую книгу, которую мы с тобой собирались у них издавать, вы договорились, что ты дашь им роман. Ты им что-нибудь посылал? Эпстайн также заинтересовался твоим переводом "Онегина" для их серии "Энкор" в мягкой обложке. Серия эта пользуется огромным успехом, и я неплохо заработал на двух своих книгах, изданных в ней. Они готовы дать тебе большой аванс, но, поскольку речь идет о книге в мягкой обложке, отрецензирована она будет вряд ли. Для меня это никакого значения не имеет, и я собираюсь предложить им сборник эссе по русской теме. На твоем месте я послал бы Эпстайну "Онегина", когда работа над ним будет закончена. Парень он очень неглупый, прекрасно начитан и с отличным вкусом.

А теперь о твоем романе. Мне он нравится меньше, чем все, что я у тебя читал. Рассказ, из которого вырос роман, был любопытен, однако на роман эта тема "не тянет". Из грязных идей порой рождаются прекрасные книги — но, по-моему, тебе с этой идеей справиться не удалось. Мало того, что герои, да и сама ситуация, вызывают отвращение, но они к тому же изображены в таком ракурсе, что выглядят совершенно нереальными. Различные перипетии сюжета и кульминация в финале грешат, с моей точки зрения, тем же недостатком, что и кульминация в романах "Под знаком незаконнорожденных" и "Смех во тьме": они слишком абсурдны, чтобы вызывать ужас и стать трагедией, и вместе с тем слишком отвратительны, чтобы вызвать смех. К тому же в этой книге — что для тебя не характерно — слишком много заднего плана, описаний места действия и т. п. Я готов согласиться с Роджером Страусом, посчитавшим, что вторая часть несколько затянута. Согласен я и с Мэри, что твое мастерство становится порой утомительным; не разделяю, однако, ее упрек в "невнятности". Я внес в рукопись несколько поправок.

Мне и самому жаль, что книга мне понравилась не слишком. И жаль, что мы так редко видимся. 15 декабря мы приезжаем в Нью-Йорк, где пробудем неделю. Если соберетесь туда на каникулы —

дайте знать. Возможно, мы остановимся в "Алгонкине"; если же нет — ты всегда сможешь связаться со мной через редакцию "Нью-Йоркера".

Всегда твой

ЭУ.

1955

Голдуин-смит-холл
Итака, Нью-Йорк
19 февраля 1955

Дорогие Елена и Кролик,

с опозданием, но с находящейся в полной сохранности нежностью хочу поблагодарить вас за ваши письма — письмо Елены было особенно очаровательным.

"Даблдей", конечно же, вернул мне рукопись ["Лолиты". — *А. Л.*], и я отправил ее во Францию. Предполагаю, что в конце концов ее напечатает какое-нибудь сомнительное издательство, обозвав роман на манер венского сновидца — например, "Сило".

(В "Даблдей" я снес не одну книгу, а по меньшей мере две или три, — последней, помнится, были отправленные по их просьбе "Незаконнорожденные", тогда редактором подразделения "Пермабукс" до прихода Эпстайна был, если не ошибаюсь, Маккей.)

За последние несколько месяцев я с головой ушел в "Онегина". Перевод текста и всех вариантов, какие я только смог отыскать, закончен, но комментарии огромны, и работа над ними займет много месяцев. "Даблдей" не захотел издавать эту вещь в том виде, в каком мне бы хотелось, с примечаниями страниц по крайней мере на 400 и с русским текстом en regard[1]. Я обнаружил массу сенсационных аналогий в английской и французской литературе и разгадал тайну эпиграфа.

Кролик, мне *очень* понравилось твое палестинское эссе. Оно — одно из самых твоих удачных.

Для нас эта зима была и остается очень нелегкой. Работа над "Лолитой" и "Онегиным" не облегчила моих финансовых горестей. Роман о русском профессоре Пнине продвигается очень медленно. "Нью-Йоркер" приобрел из него еще одну главу.

Этой весной Дмитрий кончает Гарвард. Планы наши на лето весьма туманны. В следующем весеннем семестре беру полугодовой творческий отпуск. Мы с Верой без вас скучаем.

В.

1. Здесь: с параллельным русским текстом (*франц.*).

P. S. Один одаренный молодой драматург переделал моих "Незаконнорожденных" в довольно приличную пьесу. Был бы тебе благодарен, если бы ты посоветовал, кому ее показать.

---

10 марта 1955

Дорогой Кролик,

спасибо за совет относительно театрального агента. План, по-моему, превосходный. Я еще написал некоему Э. Казану, с которым когда-то познакомился в Кембридже, штат Массачусетс.

Да, "Нью-Йоркер" заплатил мне за главу из "Пнина" более чем щедро. Надеюсь закончить роман (который уже продал "Вайкингу") в июне.

Нет, я имел в виду "Pétri de vanité"[1] – эпиграф ко всему роману. Тот же, который упоминаешь ты, – эпиграф ко второй главе. Rus – деревня – взят, конечно же, из Горация, Сатира VI. Каламбур я обнаружил в Bièvriana, пресном собрании jeux de mots[2], приписываемых маркизу де Бьевру. Вот что я также обнаружил в дневнике Стендаля (Приложение II, изд. 1888 года). В записи от 1838 года читаем: "En 1791... le parti aristocrate attendait les Russes à Grenoble (Суворов был в Швейцарии); ils s'ecriaient: 'O Rus, quando ego te aspiciam!'"[3] В отношении главного эпиграфа (Pétri de vanité) я отыскал целую систему первоисточников: 1. "La Guerre Civile de Genève" Вольтера; 2. "De la Recherche de la Vérité" Мальбранша и, не в последнюю очередь, 3. "Lettre de M. Burke (Эдмунда Берка) a un Membre de l'Assemblée Nationale de France"[4] (!)

Все эти исследования доставили мне колоссальное удовольствие. Самым, пожалуй, сложным оказалось установить, кто был абиссинским предком Пушкина. Уж и не припомню, сколько старых и новых карт этой страны я пересмотрел, сколько путешествий (иезуиты, протестанты, Брус, Солт и т. д.) изучил, пока не нашел "Лагон" (Лого) – город, упоминаемый "Ганнибалом" (прадедом), который, только представь, был потомком Расселаса!

В этом году обязательно увидимся. Горячий привет тебе и Елене. Вера присоединяется.

В.

---

1. "Проникнутый тщеславием..." (*франц.*).
2. Каламбуров (*франц.*).
3. "В 1791 году... аристократическая партия ожидала русских в Гренобле... Они воскликнули: 'О Россия, когда же я тебя увижу?'" (*франц., лат.*)
4. "Гражданская война в Женеве"... "О поисках истины"... "Письмо мсье Берка... члену Национальной Ассамблеи Франции" (*франц.*).

Голдуин-смит-холл
Университет Корнелл
2 июля 1955

Дорогой Кролик,

у меня побывал очень sympathique[1] Джейсон Эпстайн. Буду для них переводить (русского писателя, книгу еще предстоит выбрать). Они дают мне 7,5 % с продаж и аванс 1000 долларов. Эпстайн предложил, чтобы относительно этого гонорара я посоветовался с тобой. Какие еще вопросы мне следует ему задать? Перевод выйдет в серии "Энкор".

"Лолиту" я пристроил — может быть, она выйдет следующим летом. Хотелось бы, чтобы ты ее прочел.

Летом мы на запад не едем. Пока не кончу "Пнина", уехать из Итаки не смогу. Отдал в "Нью-Йоркер" еще одну главу. Мы с Верой шлем вам с Еленой нежный привет.

В.

P. S. Где ты в данный момент находишься? Эпстайн говорит, что ты в Талкотвилле, а Роберто Фазола — что в Уэллфлите. Поэтому посылаю это письмо по двум адресам.

В.

---

17 декабря 1955

Дорогой Кролик,

огромное спасибо за английское издание "Трех мыслителей" и за переделанную дуэль. Теперь, во всяком случае, понятно, кто в кого стреляет.

Кончил читать твою очередную книгу, Вера же дошла только до середины. Твои короткие предисловия нам очень нравятся. Отбор авторов превосходен, хотя, по мне, слишком много Лоуренса и Андерсона — с художественной точки зрения и тот и другой полнейшие посредственности.

"Онегин" почти закончен. Предстоит еще месяц-другой посидеть в библиотеках. И остается гигантский указатель, я его даже не начинал и хочу сделать как можно более полным и подробным. Февраль и март проведем в Кембридже с Дмитрием и с Уайденеровской библиотекой. Надеемся повидать вас с Еленой у нас.

Мы с Верой желаем вам всем замечательного Рождества.

Привет.

В.

1. Симпатичный (*франц.*).

1956

Мюнхен
Максимиланштрассе 4
Отель "Четыре времени года"
1 сентября 1956

Дорогой Володя,

твое письмо дошло до меня только что. Последнее время часто о тебе думал — пытался представить тебя в Германии. Елена вернулась в Уэллфлит: уезжая, мы оставили Элен у друзей, и ее надо было забрать. Билет на пароход заказан на 2 октября, но уеду, возможно, раньше. Будешь в Нью-Йорке — зайди в Принстонский клуб: я там бываю.

Веду тихую, размеренную одинокую жизнь в этом превосходном отеле; вечерами хожу слушать превосходную оперу и пытаюсь дочитать "Die Leiden des Jungen Werthers"[1] — читать его я начал еще в 1933 году и так до сих пор и не закончил. Страшно подумать, что из-за этой книги столько молодых людей по всей Европе сводили счеты с жизнью.

Вчера вечером видел Николая — он был здесь проездом в Зальцбург, где, как всегда, налаживает культурные связи. Несколько раз мы видели его в Париже и побывали в его потрясающем загородном доме. Великолепные сад и огород, чудесный маленький синеглазый мальчик и не слишком хорошенькая, но молодая, синеглазая и прекрасно образованная жена. Его теща живет в одиночестве (тесть недавно умер) в огромном château[2] со средневековыми башнями и поросшим илом рвом. У Николая с женой дом поменьше, поблизости от тещиного замка. Николай любит водить по замку гостей, развлекая их, как он сам говорит, типичными прибаутками экскурсовода. Никогда не видел его таким безмятежным и счастливым. Иван, его сын от первой жены, женится на дочери крупного французского дипломата. И все же не могу отделаться от ощущения, что ему (Николаю) эта жизнь может вдруг до смерти надоесть и захочется все бросить. В настоящий момент он сочиняет оперу про Распутина по либретто Стивена Спендера. Он, безусловно, добивается поразительного драматизма, музыка же оставляет желать лучшего.

Есть у Николая забавная история про то, как в нашем посольстве его приняли за автора "Лолиты" и позвонили, чтобы выяснить, где можно достать двадцать экземпляров книги. Она, кстати, стоит на витрине нескольких магазинов на улице Риволи.

Зная, что я интересуюсь Жене, Николай попытался через своих соседей устроить мне с ним встречу, однако Жене, якобы, ска-

1. "Страдания юного Вертера" (*нем.*).
2. Замке (*франц.*).

зал: "Un Américain? Est-ce qu'il y a de l'argent pour me donner? Est ce qu'il tape?"[1]. Когда ему ответили, что я едва ли собираюсь ссудить его деньгами, он тут же потерял ко мне всякий интерес. Последнее время он вошел в моду, "Галлимар", изъяв откровенно неприличные места, выпустил его сочинения, которые разошлись десятитысячным тиражом. Теперь Жене стал своего рода национальным достоянием, и, когда Кокто принимали в Академию, Жене посадили рядом с бельгийской королевой. Прошлым летом я прочел еще две его книги — они лучше той, что я давал читать тебе. Думаю, тебе имеет смысл в них заглянуть. Он и в самом деле замечательный писатель — когда садится на своего конька[2].

В следующем году ранней весной еду в Талкотвилл и планирую побывать у тебя в Итаке. Надеюсь, впрочем, что нам удастся увидеться и раньше.

Рекомендую тебе также роман Энгуса Уилсона "Англосаксонские позы". В Париже мы видели "En Attendant Godot"[3]. Пьеса оказалась замечательной, хотя, когда я читал ее, особого впечатления она на меня не произвела. В Германии сходят с ума от пьесы Томаса Вулфа, чьи романы я так и не сумел одолеть. Написал ее Вулф в начале 20-х годов, но она никогда не издавалась и не ставилась; переводчик этой пьесы пригласил меня на премьеру.

Вот видишь, я держу тебя в курсе литературных новостей Старого Света.

Привет Вере.

Всегда твой

ЭУ.

На борту "Куин Мэри"
18 сентября 1956

Дорогой Володя,

читаю переписку Мериме и Тургенева ("Une Amitié Littéraire", Hachette[4], 1952). Оказывается, что ты ошибался, посчитав, что Мериме не знал русского языка и за него будто бы переводила какая-то дама. На протяжении более десяти лет его обучал русскому языку Тургенев. Мериме сам перевел несколько тургеневских рассказов, а переводы остальных проверял. Словари, которыми он пользовался, никуда не годились, и ему постоянно приходилось прибегать к помощи Тургенева. В этих письмах проявляются его

1. "Американец? Он что, хочет дать мне денег? Он что, дает в долг?" (*франц.*)
2. В оригинале: "... when he gets the bitte in his teeth" — букв.: когда он берет в рот член; bitte (*франц.*) — член, пенис.
3. "В ожидании Годо" (*франц.*).
4. "Литературная дружба", издательство "Ашетт" (*франц.*).

слабые места, но во Франции он был в этой области первопроходцем, что, несомненно, делает ему честь. Книга показалась мне очень интересной, и, по-моему, тебе стоит в нее заглянуть. Любопытно отношение Мериме к Пушкину. В определенном смысле он дает ему высокую оценку, однако оговаривается, что судить о поэзии не берется. Более всего восхищает его в Пушкине côté Mérimée[1]. Я и забыл, какой ханжеской и викторианской была Вторая империя. Редактор "Ревю де Де Монд" постоянно приглаживает Тургенева, да и Мериме высказывается против жестокости рассказов Тургенева.

Мне удалось поменять билет, я отплыл предыдущим пароходом и прибываю раньше, чем рассчитывал; сегодня причаливаем, и в конце недели буду в Уэллфлите.

Всегда твой

ЭУ.

---

22 октября 1956

Дорогой Кролик,

с удовольствием прочел твое письмо про Мериме. Да, обязательно посмотрю эту книгу.

Жаль, что не застал тебя в Нью-Йорке, где мы пробыли несколько дней на прошлой неделе. Позвонил в Принстонский клуб — и медленно, как в кино, положил трубку.

Совещался с Эпстайном, Дюпи и Ласком о том, какую часть (или части) "Лолиты" опубликовать в "Энкор"; эта публикация должна занять четвертую часть номера. Пишу тебе, сидя на экзамене по *Слову* ["Слову о полку Игореве". — *А. Л.*].

Вера (она тоже принимает экзамен) шлет вместе со мной Елене и тебе самый нежный привет.

В.

Осточертело преподавание — попусту трачу слишком много времени.

---

13 декабря 1956

Дорогой Кролик,

только сейчас благодарю тебя за твою книгу — хотелось сначала ее прочесть, но все время что-то отвлекало. Теперь мы оба ее прочли и хотим выразить сердечную благодарность за твою прелестную дарственную надпись.

1. Букв.: то, что у него от Мериме, то, чем он близок Мериме (*франц.*).

В книге есть очаровательные, первоклассные вещи, например, про твоего отца и первый из двух очерков про евреев, но вот твоя концепция русской истории, меня, как всегда, не может не расстраивать. Она неверна от начала до конца, ибо основывается на приевшейся большевистской пропаганде, которую ты впитал в юности. Не могу взять в толк, как это у тебя, тонкого ценителя русских писателей XIX века, обширные литературные познания сочетаются с полнейшим незнанием obshchestvennogo dvizhenia, которое началось еще при Александре I, давало о себе знать (несмотря на абсолютизм) на протяжении всего столетия и с пропагандистскими целями намеренно принижалось ленинцами и троцкистами.

Мне также кажется, что некоторые твои зоологические и биологические воззрения научно не обоснованы.

Мы всегда были откровенны друг с другом, и я знаю, что от моей критики руки у тебя не опустятся.

Чудесный Джейсон Эпстайн прилетел сюда на ланч с англичанкой из "Хайнемана". Я всегда буду тебе ужасно признателен за то, что ты связал меня с "Даблдеем".

Мы с Верой беспокоимся, как прошла операция у малютки Элен. Она уже поправилась? Вы возвратились в Уэллфлит?

Привет Елене и тебе, желаем вам всем прекрасного Рождества.

В.

1957

21 января 1957

Дорогой Кролик,

да, и монархисты, и большевики в равной степени ненавидят либералов (от меньшевиков до октябристов, включая, естественно, Партию народной свободы, куда входили мой отец и Милюков). Верно, никто не обращал особого внимания на эти нападки: монархисты и фашисты, будучи частью русской эмиграции, не играли никакой роли с точки зрения культуры, хотя с политической точки зрения были и остаются чрезвычайно активны по сей день. Финансовую помощь им оказывают американские снобы. D'ailleurs[1], если ты откроешь 13-ю главу моего "Убедительного доказательства", то найдешь там всю необходимую информацию по этому поводу.

Тебе будет, полагаю, также любопытно узнать, что британское правительство обратилось с просьбой к правительству французскому запретить книги американских авторов, написанные по-английски и опубликованные в Париже (в том числе и мою "Лолиту"), и французское правительство эту просьбу с готовностью удовлетворило. Возмущение французской печати, насколько мне известно, в американской печати отражения не нашло.

1. Впрочем (*франц.*).

Очень хотим повидать вас обоих. Как-нибудь весной можем, когда будет тепло, приехать в Кембридж.

Вы бы видели Дмитрия! Великолепный парень с голосом Шаляпина.

Кончаю длинный очерк про английское и русское стихосложение (в основном в связи с ямбическим тетраметром).

Дружески жму (zhmu) *руку. Мы оба шлем вам обоим сердечнейший привет.*

В.

---

16 Фаррар-стрит
Кембридж, Масс.
29 февраля 1957

Дорогой Володя,

лежу с бронхитом и ларингитом уже почти две недели, поэтому я, скорее, dear drug, чем dear *друг*[1]. Поехал в Нью-Йорк на репетицию "Распутной молитвы", которую поставили в Нью-Йоркском университете, и там у меня случился рецидив. Как это характерно для англичан — принимать меры для запрещения английских книг во Франции! Абсурд! Ты не следишь за судебными процессами в Верховном суде, касающимися запрета на книги? Верховный суд только что принял решение о неконституционности одного из местных мичиганских законов против "неприличных" книг. Если к такому же выводу Верховный суд придет и на двух других процессах (один из них — нью-йоркский), я смогу переиздать "Округ Гекаты", а ты — опубликовать в Америке "Лолиту". Вот тебе очередной монархический курьез. Не устаю удивляться.

Всегда твой

ЭУ.

Мы провели очень приятный вечер с Романом и Дмитрием; Дмитрий, по-моему, отличный парень.

---

16 Фаррар-стрит
Кембридж, Масс.
17 марта 1957

Дорогой Володя,

появление "Пнина" немного взбодрило наше расстроенное семейство. С тех пор как мы сюда приехали, нас преследуют несчастья:

1. Dear drug (*англ.*) — букв.: "дорогое лекарство"; игра слов: дорогое лекарство — дорогой друг.

последнее время все болеют, я опять потерял голос — не говоря о прочих невзгодах, из коих главная — смерть нашей старой собаки Бамби. "Пнин" поэтому явился как нельзя более кстати. Книга, по-моему, очень хороша, к тому же ты, наконец-то, установил связь с великим американским читателем. Думаю я так потому, что в рецензиях, которые попались мне на глаза, говорится одно и то же: никто не озадачен, все знают, как реагировать. По какому-то чудесному стечению обстоятельств, картинка на обложке также превосходна. В этом письме ты найдешь кое-какую правку и предложения. Имеются в книге и столь присущие "Даблдею" опечатки, но их меньше, чем обычно. Теперь, может статься, возникнет интерес и к "Лолите". Роман "Человек с огоньком", еще одна книга из той же серии (ее мне прислали вместе с "Лолитой", и она показалась мне макулатурой), только что на законных основаниях вышел в Англии, и рецензенты пишут о нем с уважением. То, что английское правительство просит французов защитить английских туристов от дурных книг, а французы идут им навстречу — это, разумеется, полнейший бред. <...>

Привет Вере. Елена требует, чтобы я передал тебе, что "Пнин" ей ужасно нравится.

Всегда твой

ЭУ.

---

24 марта 1957

Дорогой Кролик,

с тупо-тусклым холодом в голове, хриплый, как *лошадь*[1], я на днях, продираясь сквозь туман в горле, читал лекцию о "Мемуарах из мышиной норки" ["Записках из подполья". — *А. Л.*] Достоевского, а потому всем сердцем тебе и твоей семье сочувствую. Не забывай о себе, *друже* (надеюсь, ты знаешь этот замечательный звательный падеж). <...>

Я с головой погрузился в своего "Онегина" и *обязан* закончить его в этом году. Наконец-то я нашел правильный способ переводить "Онегина". Этот — уже пятый или шестой вариант перевода. Теперь правлю и его, изгоняя все, что честность считает гладкописью, и привнося нескладность — первооснову голой истины. <...>

Ропщу на стихии пространства и времени, что мешают нам видеться чаще.

Привет от Веры и от меня Елене и тебе.

Твой В.

---

1. В оригинале игра слов: hoarse (хриплый) — horse (лошадь).

Уэллфлит, Кейп-Код
Массачусетс
12 июня 1957

Володе:

1) Нигилист произносится так, как произношу его я — не "ниигилист"; посмотри любой словарь.

2) Только что изучал *Рукою Пушкина.* Во вступлении к первой части говорится о попытках Пушкина что-нибудь написать на шестнадцати языках, что подтверждается записными книжками, которые следуют далее. На страницах 28, 90, 99, 102, 506 и 597 ты найдешь переводы или цитаты из английских авторов, в том числе из таких поэтов, как Барри Корнуолл и Вордсворт, которых Пушкин едва ли мог читать по-французски. А на с. 90, 98—99 ты увидишь, что он переводит с английского слово в слово и иногда вписывает английские слова. В середине 99-й страницы он явно не знает, как быть с wins в четвертой строфе "К Ианте". Он вряд ли смог бы позаимствовать в "Евгении Онегине" кое-что из ритмики Байрона, если бы читал его только по-французски. Что до латыни и греческого, то здесь многое свидетельствует о том, что латынь Пушкин знал вполне пристойно: например (с. 103), он пишет стихи, навеянные отрывком из Ювенала. Французские слова, которые он иногда вписывает в эти отрывки, явно взяты не из шпаргалок, а из словарей. Мне кажется, что стихи Пушкина со всей очевидностью свидетельствуют о его знании латинской поэзии: у французов подобные стилистические ухищрения он бы позаимствовать не смог. Он достаточно овладел греческим, чтобы переиначить оду Сапфо и попытаться — опять же слово в слово — перевести начало "Одиссеи". Факсимиле на с. 61 еврейского алфавита, где Пушкин приравнивает алеф к греческой альфа, показывает, что греческие буквы поэт выучился читать довольно бегло. Я, кстати сказать, изобрел теорию, которая объясняет твое странное желание — вопреки неопровержимым доказательствам — считать, что Пушкин английского языка не знал вовсе, а Тургенев, если и знал, то очень плохо. Эту теорию я собираюсь развить в étude un peu approfondie и рассчитываю consacrer à votre oeuvre[1].

3) Ты сбиваешь читателя с толку, когда в переводе "Евгения Онегина" кучера (или как они там называются) у тебя knock their hands. В данном случае естественным английским словом было бы slap[2]. Ты говоришь, что knock в этом значении встречается у Каупера и Томпсона, но я что-то этих строк не припоминаю, и такое слово, а также выражение beat goose[3] покажутся читателям чем-то непривычным,

1. (В) немного более углубленном исследовании... посвятить твоему творчеству (*франц.*).
2. Букв.: бьют в ладоши... хлопают (*англ.*).
3. Букв.: бить себя руками по бокам, чтобы согреться (англ.).

диковинным. Подобные устаревшие выражения нуждаются в столь же подробном объяснении, как и устаревшие выражения и значения у Пушкина, которые ты задался целью прояснить. <...>

Вере:

Мое пребывание в Итаке было для меня огромной удачей, для Вас же — боюсь, из-за моей подагры — тяжким испытанием. До Нью-Йорка я доехал, чтобы выбраться наконец из своего промерзшего дома, только во вторник, поправился же лишь в конце недели, к свадьбе Генри. Праздник удался, шампанское лилось рекой, молодежь танцевала без устали, и от жениха и невесты все были в восторге.

В Уэллфлите пробуду, по крайней мере, до 20-го; потом — обратно в Талкотвилл. Елена шлет привет, и мы рассчитываем, что вы у нас побываете.

Надеюсь, что "Лолита", если прочесть ее как исследование о преисполненном любви отце и сошедшей с пути истинного дочери, тронет американского читателя до глубины души и ты наживешь целое состояние. Если же ты вдобавок выдашь свою героиню замуж за Пнина на Аляске, а он удостоится чести занимать пожизненно место профессора в каком-нибудь небольшом университете Среднего Запада, то сможешь составить конкуренцию самой "Марджори Морнингстар" и читать лекции по подростковой психологии от Багнора до Сан-Диего.

Джордж Манн, кстати сказать, сообщил своей матери, что был потрясен нашим с тобой разговором, особенно спором о стихосложении. А я боялся, что мы ему наскучили. Мы оба благодарны тебе за твое старое как мир русское гостеприимство.

Всегда твой

Эдмунд У.

---

17 июня 1957

Дорогой Кролик,

был тебе ужасно рад. Хочется надеяться, что твоя подагра приказала, наконец, долго жить.

1. Не понимаю твоего замечания насчет "нигилиста". По-русски это слово произносится <ni:gi:li:st> с ударением на последнем слоге.

2. Вопросом о том, какими иностранными языками владел Пушкин, я занимаюсь уже лет десять, и, право же, не стоило отсылать меня к "Рукою Пушкина". В моих комментариях к "Е. О." ты найдешь подробный ответ на этот вопрос. То, что ты называешь "рит-

микой" Байрона, Пушкин позаимствовал из английских стихов в переложении Жуковского.

3. По чистой случайности я только что обнаружил у Мэтью Арнолда "the Gypsy knocks his hands"[1]. Между прочим, долг переводчика, как я его понимаю, не в том, чтобы упростить или модернизировать неясное или устаревшее слово оригинала, а в том, чтобы передать его неясность и странность.

Да, буду рад очередной нашей rencontre[2], чтобы в очередной раз втолковать тебе, что Пушкин знал английский, латынь и т. д. ничуть не лучше, чем Солсбери знает русский или Оден — французский.

Получаю огромное удовольствие от пребывания дома Дмитрия. Он прилежно трудится над указателем к моему "Онегину", некоторые его предложения и замечания весьма толковы и полезны.

Привет от нас обоих вам обоим.

В.

Уэллфлит, Кейп-Код
Массачусетс
20 июня 1957

Дорогой В.

1) Замечание по поводу нигилиста было вызвано тем, что ты поправил мое произношение, полагая, по всей видимости, что первый слог произносится по-английски <ni::>.

2) У Труайя и Мирского я вычитал, что Пушкин читал Байрона по-английски вместе с Раевскими в 1820 году. Раскрыв *Путешествие в Арзрум*, я наткнулся на две цитаты из английской поэзии, одна из них была из "Лалла Рук", а также — на две цитаты из латинских стихов. В пушкинских письмах этого времени я вообще нахожу довольно много латыни. В частности, в письме Гнедичу от 29 апреля 1822 года встречается латинское элегическое двустишие, за которым следует латинский гекзаметр, написанный, по всей вероятности, им самим и предполагающий определенные языковые навыки. Когда в 1936 году я читал "Онегина", я вряд ли знал русский намного лучше, чем Пушкин — английский, когда впервые взял в руки Байрона, и теперь я понимаю, что иногда неверно усваивал прочитанное и, безусловно, ошибался в ударениях. Тем не менее я был в состоянии получать от пушкинского романа удовольствие и даже переводить, поощряемый твоей, пусть и сдержанной, похвалой, отрывки из него на английский язык. Поскольку сам ты вы-

1. "Цыган похлопывает руками (от холода)" (*англ.*).
2. Встрече (*франц.*).

учился говорить на иностранных языках рано, древние же языки, которые мы знаем лишь из литературы, плохо представляя, как произносятся слова, не учил, — ты не способен оценить, как много может дать писателю литературное знание языка, даже если это знание довольно поверхностное. Даже если бы Пушкин знал английский немногим лучше, чем Оден знает французский, этого было бы вполне достаточно, ибо, хотя Одену, может быть, невдомек, что нельзя сказать: "Le monde est ronde"[1], я точно знаю, что по-французски он читает. Если кто-то задастся целью дискредитировать тебя теми же методами, какие ты используешь для дискредитации Одена и Штегмюллера, то ему не составит никакого труда доказать, процитировав некоторые твои промахи в английском, а также припомнив, сколь превратно ты понимаешь значение слова "fastidieux"[2], что ты не знаешь ни английского, ни французского и, быть может даже, не в ладах с русским: я ведь помню, как однажды ты внушал мне, что *самодур* не имеет ничего общего с *дураком*. Кстати, Жуковский ведь не переводил "Дон Жуана", чья ритмика, несомненно, повлияла на *Онегина*, хотя строфика у этих произведений разная.

3) Что же касается задачи переводчика подыскивать неясным и устаревшим словам в оригинале неясные и устаревшие эквиваленты в переводе, то как, спрашивается, ты переведешь на английский язык *стогны*?

Письма Джойса очень хороши, а в конце жизни очень трагичны. Рецензии на них — одна глупей другой; худшая — в лондонской "Таймс литерари сапплмент". Почему-то англичане — в том числе и Спендер — делают вид, что значение Джойса невелико. Судя по всему, огромное впечатление произвел на него рассказ Толстого *Много ли человеку земли нужно*. Я недавно этот рассказ прочел и, хотя он, конечно же, неплох, отказываюсь понимать, чем объясняется интерес к нему Джойса.

Всегда твой

Эдмунд У.

Если хочешь, чтобы мы продолжили нашу полемику, — пиши мне в Талкотвилл; через несколько дней я туда вернусь.

---

21 июня 1957

Совсем забыл про "Et in Arcadia ego". У Тургенева в *Переписке* читаем: *И мы бывали в Аркадии, и мы скитались по светлым ее полям.* По всей вероятности, источником является Седьмая эклога Вергилия:

1. "Земля круглая" (*франц., искаж.*).
2. Fastidieux (*франц.*) — скучный, томительный; fastidious (*англ.*) — разборчивый, привередливый.

"Ambo florentes aetatibus, Arcades ambo", за которой следует: "Huc ipsi potum venient per prata (сквозь луга) juvenci"[1]. Или же Тургенев эти две цитаты перепутал. В советском же издании говорится, что речь идет о стихотворении Шиллера, которое начинается словами: "Auch war in Arkadien geboren"[2]. Шиллер определенно имеет в виду "Et in Arcadia" и т. д., и Ларусс отсылает нас к картине Пуссена "Les Bergers d'Arcadie"[3], где изображено надгробие со словами: "Et in Arcadia ego". Но откуда это у Пуссена? Я ясно помню, что фраза кончалась словом "vixi"[4], хотя, бывает, что это не более чем плод моей фантазии. Но ведь чем-то эта фраза должна была закончиться! (По Ларуссу: J'ai vécu[5]). С чего ты взял, что эта фраза из Средних веков? На картине ego[6], вопреки тому, что думаешь ты, имеет отношение не к Смерти, а к мертвецу в могиле. Живые пастухи читают надпись на надгробии. Смерть говорит: "Я есмь даже в Аркадии".

Голдуин-смит-холл
Корнелл, Итака, Нью-Йорк
7 августа 1957

Дорогой Кролик,

у меня к тебе деловое предложение. На английском факультете интересуются, не хотел бы ты приехать в Корнелл в любое время в течение академического года 1957–58 на четыре или пять дней, чтобы провести две-три беседы со студентами и пообщаться с преподавателями. За это тебе заплатят пятьсот долларов. Если ты не против, декан пришлет тебе официальное приглашение, где будут оговорены все детали твоего пребывания. Очень надеюсь, что ты приедешь, причем осенью, поскольку есть вероятность, что на весенний семестр я уеду.

То, что "et in Arcadia ego" означает "Я (Смерть) существую даже в Аркадии", я почерпнул из отличного эссе Эрвина Панофски "Смысл и толкование изобразительного искусства", Энкор-Букс, Нью-Йорк, 1955.

Комментарии к "Онегину" рассчитываю закончить в течение этого месяца. Испытываю порой крайнюю усталость и подавленность, но когда читаю в письмах Саути, как каждодневно трудился

1. "Оба во цвете жизни, оба аркадийцы"... "Сюда ваши кормила сами приплывут испить" (*лат.*). Вергилий. Эклога VII, 4, 11.
2. Полностью строка из стихотворения Ф. Шиллера "Смирение" звучит: "Auch ich war in Arkadien geboren" – "Я тоже рожден в Аркадии" (*нем.*).
3. "Пастухи Аркадии" (*франц.*).
4. Жил (*лат.*).
5. Я жил (*франц.*).
6. Я (*лат.*).

он, то понимаю, что влачу, как сказал бы Пушкин, праздное существование.

Мы с Верой шлем Елене и тебе наши самые теплые пожелания.

Твой

В.

Талкотвилл
Льюис-каунти
Нью-Йорк
9 августа 1957

Дорогой Володя,

в настоящее время о подобных академических визитах не может быть и речи. Пожалуйста, поблагодари декана от моего имени. А ты не хочешь, когда закончишь "Онегина", приехать сюда на пару дней? Кстати, я недавно раздобыл два тома заметок Мериме о русской литературе, есть там и эссе о Пушкине. А еще — полудюжину томов полного собрания дневников Гонкуров; издавать их будут в Монако. Я-то думал, что публикаторам дневников грозит обвинение в клевете, но оказалось, что главная опасность кроется в их чудовищной непристойности. Братья Гонкуры записывали все, что им рассказывали друзья про свои сексуальные приключения, — например, как Флобер потерял девственность, и все до одной грязные истории, расходившиеся по Парижу. Ты когда-нибудь читал "Les Lauriers sont Coupés"[1] Дюжардена, у которого Джойс позаимствовал внутренний монолог? По-моему, книга замечательно хороша.

Привет Вере.

ЭУ.

1958

Голдуин-смит-холл
Корнелл
Итака, Нью-Йорк
15 февраля 1958

В постели, с воспалением тройничного нерва.

Дорогой Кролик,

от тебя не было вестей с начала доснежной эры. Как ты поживаешь? *Все хорошо?*

1. "Лавры срезаны" (*франц.*).

Мы переехали в другой дом, он гораздо больше — но и гораздо холоднее, чем наше прелестное старое жилище, что стояло среди кардиналов, овсянок и свиристелей (где ты, об руку со своей подагрой, восседал однажды).

Только что окончательно завершил своего "Евгения Онегина": 2500 страниц комментариев и дословный перевод текста. Дмитрий занят указателем. Тебе прислали из "Даблдея" моего Лермонтова? Как продвигаются твои русские штудии? Что бы ты ни делал, держись подальше от овсяной каши из Гончарова-Аксакова-Салтыкова-Лескова. Вера и я шлем привет Елене. Напиши un mot[1].

Твой

В.

Уэллфлит, Кейп-Код
Массачусетс
23 февраля 1958

Дорогой Володя,

твое письмо напомнило мне, что я должен прислать тебе свою новую книгу. Сомневаюсь, что ты станешь читать ее целиком, хотя мою любимую главу "Что делать до прихода врача", может, и осилишь. Мне хочется, чтобы наш с тобой обмен книгами продолжался — надеюсь иметь полное собрание твоих опубликованных сочинений. Последних твоих книг еще не читал, потому что пытаюсь дописать Гражданскую войну и приходится продираться сквозь бесчисленные военные мемуары и скучнейшие романы южной школы. Рад, что ты кончил "Онегина", мне особенно не терпится убедиться в том, что ты отдаешь должное лингвистическим познаниям Пушкина. Кто будет выпускать книгу в свет? Огорчился, узнав, что ты болел. Мы пережили еще одну довольно тяжелую зиму, но не такую печальную, как прошлогоднюю, и теперь понемногу приходим в себя. В конце января я провел неделю в индейской резервации на юго-западе штата [Нью-Йорк. — *А. Л.*], присутствовал на их новогодних церемониях — очень занятно, но долго описывать. Всякий раз, как я еду в эти места, у меня разыгрывается подагра; в этот раз мне было ничуть не лучше, чем прошлой весной. Из "Даблдея" мне прислали твоего Лермонтова; по-моему, получилось отлично: ты сумел ухватить стиль английской прозы того времени. <...> Что же до хамелеоновых перемен цвета лица, то Лермонтов тут и в самом деле перебарщивает. А впрочем, мне кажется, что в старые времена люди чаще краснели и бледнели, чем теперь. Я

1. Словечко (*франц.*).

знаю одну старомодную даму, которая краснеет в точности, как героини в книгах (Пегги Бейкон, художница).

Елена шлет привет вам обоим.

Всегда твой

ЭУ.

Итака, Нью-Йорк
24 марта 1958

Дорогой Кролик,

твой очерк о Тоилэ, Т. С. [Т. С. Элиоте. — *А. Л.*] совершенно замечателен. Это одно из твоих самых лучших эссе — ясное, ядовитое, мудрое. Насколько я понимаю, ты по-прежнему высокого мнения о нем как о поэте, но я не могу с тобой согласиться, когда ты говоришь, что его стихи застревают у тебя в голове — в моей голове они никогда не застревали, мне он никогда не нравился. Но зато ты проколол созревший янтарный прыщ, и теперь образ Элиота изменится навсегда.

Нахожусь в ужасающей запарке, но мне хотелось черкнуть тебе пару слов в знак привязанности и высокой оценки твоего эссе.

Твой

В.

1959

Для передачи: Патнем
210 Мэдисон-авеню
Нью-Йорк 16, Нью-Йорк
2 марта 1959

Дорогой Кролик,

после нескончаемых проволочек мы наконец покинули Итаку — на один год. Я бы ни за что не бросил своих студентов, не найди я человека (Герберта Голда, молодого писателя), который будет вместо меня читать оба курса: европейские шедевры и русскую литературу. В Нью-Йорке мы собираемся пробыть до середины марта, а потом покатим на юго-запад, в Аризону. Осенью же думаем на пару месяцев ступить на древние парапеты Европы.

Есть ли у нас шанс где-нибудь повидаться с вами в ближайшем будущем? Мы совершенно неожиданно узнали, что Елена и близнецы в городе, позвонили ей в "Алгонкин", но она уже уехала.

В начале письма посылаю тебе свой адрес. Связаться со мной можно и через Дмитрия, его телефон: Лицеум 5—05—16.

Мой Онегин (одиннадцать папок, 3000 страниц на машинке) сначала отправился в "Корнелл юниверсити пресс". Там рукопись начали было готовить к печати и уже взялись за квадратные скобки, когда совершенно неприемлемый пункт договора вынудил меня забрать у них бедного своего монстра. Сейчас он уже в другом издательстве.

Тружусь не покладая рук над своим "Discourse on Igor's Campaign"[1], который когда-то перевел, а теперь переиначил. Комментарий к нему унаследовал онегинский ген и грозит превратиться в еще одного мастодонта. Надеюсь, однако, дойти с ним до финиша. Россия никогда не сможет расплатиться со мной сполна.

Черкни мне пару слов. Вера вместе со мной приветствует тебя и Елену.

Сердечно,

В.

Уэллфлит, Кейп-Код
Массачусетс
11 марта 1959

Дорогой Володя,

я как раз собирался у тебя спросить, читал ли ты о прекомичнейших похождениях "Лолиты" в Англии. Думаю, что читал, ведь библиотека Корнелла в твоем распоряжении; если же не читал, пришлю тебе вырезки из газет. История с выборами в Борнмуте выглядит так, словно ее сочинил Комптон Маккензи или Ивлин Во. К сожалению, до конца апреля мы в Нью-Йорк не попадем. Рад слышать, что ты берешь годовой отпуск. Я бы сказал, что отпуск ты заслужил пожизненный. <...>

Всегда твой

Э.

1960

Отель "Астория"
Авеню Карно
Ментона, Франция
19 января 1960

Эдмунду Уилсону
Английское отделение
Гарвардский университет
Кембридж, Масс., США

1. Так Набоков назвал свой английский перевод "Слова о полку Игореве".

Дорогой Кролик,

прожив четыре довольно безумных месяца в Европе, мы собираемся домой. 19 февраля поднимемся на палубу "Соединенных Штатов", по приезде два-три дня проведем в Нью-Йорке, откуда отправимся в Лос-Анджелес, где планируем пробыть как минимум полгода.

Мы съездили в Женеву, где живет моя сестра (которую я не видел с 1937 года), побывали в Париже и Лондоне, где у меня были дела в связи с изданием моей книги. Пожили в Риме и Милане. Доехали до самой Таормины, жуткого городишки на Сицилии. Безуспешно пытались снять квартиру в Нерви, Рапалло, Лугано и Сан-Ремо, и, наконец, нашлось жилье в Ментоне.

Дмитрий продолжает учиться в Милане; к нему мы собираемся поехать осенью. Самый лучший сейчас французский писатель — Роб-Грийе, с которым мы познакомились в Париже. Многие французские критики по непонятной мне причине объединяют его со всевозможными Бюторами и Саррот. В Англии, как в России в 60-е годы прошлого века, имеется мощная когорта критиков, интересующихся в основном невыразительной литературой социального анализа; во Франции же мода на социальную проблематику, судя по всему, сходит на нет. Кембриджский университет (где я выступал с лекцией) показался мне безнадежно провинциальным по сравнению с университетами американскими.

Надеемся, что в Кембридже, штат Массачусетс, тебе нравится. Ты получил экземпляр "Приглашения на казнь", который я просил тебе переслать? Когда и где мы увидимся с Еленой и тобой?

По этому адресу в Ментоне мы пробудем до 15 февраля. Дай о себе знать.

Вера шлет привет.

Всегда твой

В.

Владимир Набоков.

[Ответ Уилсона набросан на обороте набоковского письма.]

Дорогой Володя,

наш адрес: 12 Хильярд-стрит, Кембридж, телефон: Троубридж 6–8179. Вы не сможете у нас остановиться? Судя по тому, что направляешься ты в Голливуд, "Лолита" попадет в кино. Ты читал "Zazie dans le Métro"[1] Кено, книгу, которую сочли французским ответом на "Лолиту"? Если нет — прочти, хотя она страдает некото-

1. "Зази в метро" (*франц.*).

рой вычурностью, присущей некоторым французским писателям: Жироду, Эме, Ануйю и прочим.

Привет Вере.

Всегда твой

Эу.

2088 Мандевилл-кеньон-роуд
Лос-Анджелес 49, Калифорния
5 апреля 1960

Дорогой Кролик,

мы — в Лос-Анджелесе, где сняли прелестный дом в цветущем каньоне, полном отличных бабочек. Живем очень тихо. Занят в основном сценарием, а также чтением корректур: "Онегина", "Слова о полку Игореве" и перевода Dara, выполненного Дмитрием.

Над сценарием ["Лолиты". — *А. Л.*] буду трудиться до августа или сентября, после чего вновь поплывем в Европу. В прелестном безмятежном Лос-Анджелесе чувствую себя счастливым и отдохнувшим. Как было бы хорошо, если бы вы с Еленой смогли у нас побывать.

Да, от "Zazie dans le Métro" я в восторге. Это настоящий шедевр в своем причудливом жанре. (А разве не причудливо всякое искусство — от Шекспира до Джойса?) За последнее время прочел несколько довольно скверных книг. Пальма первенства принадлежит, пожалуй, посредственному гротескному творению Колина Уилсона "Обряд в темноте".

Написал всего несколько строк, чтобы не потерять с тобой связи. Ведь через несколько месяцев исполнится 20 (двадцать!) лет со дня нашего знакомства.

Твой

В.

1971

2 марта 1971

Дорогой Кролик,

несколько дней назад я перечитал *vsyu pachku* нашей с тобой переписки и испытал огромное удовольствие, вновь почувствовав теплоту всех твоих добрых дел, вспомнив всевозможные испытания, которым подвергалась наша дружба, неослабевающую радость от произведений искусства и интеллектуальных открытий.

С горечью узнал (от Лены Левин), что ты был болен, и счастлив, что теперь тебе гораздо лучше.

Пожалуйста, поверь: я давно перестал дуться на тебя за твое непостижимое "непостижение" пушкинского и набоковского "Онегина". <...> Уверен, ты согласишься со мной, что Солженицын, по сути, третьеразрядный писатель. <...>

Твой

Владимир Набоков.

"Нью-Йоркер"
№ 25 Уэст, 43-я стрит
8 марта 1971

Г-ну Владимиру Набокову
Отель "Монтрё Палас"
Монтрё, Швейцария

Дорогой Володя,

очень был рад твоему письму. Как раз сейчас составляю сборник своих русских статей. Исправляю языковые ошибки в русском в эссе о Набокове—Пушкине и одновременно привожу примеры и твоих оплошностей тоже...

Солженицын, мне кажется, замечателен, хотя и несколько однообразен; он ниже классом, чем Пастернак, но, с другой стороны, ему ведь нечего рассказывать, кроме как историю своей болезни и своего заключения. Пытаюсь в последней главе что-то о нем написать. Я заметил, что советский русский язык дается мне не без труда.

В книгу, которая выйдет весной (не читай только ее куцую версию в "Нью-Йоркере") и основу которой составляют мои талкотвиллские дневники, я включил очерк о том, как побывал у тебя в Итаке. Очень надеюсь, что эта книга не повредит, как в прошлый раз, нашим с тобой отношениям. Не должна повредить.

Последнее время мы с Еленой находимся в неважной форме. Я перенес легкий инсульт, отчего теперь плохо владею правой рукой. Нам не терпится поскорей покинуть Нью-Йорк, который превратился в сущий ад. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь заставить себя приехать в этот город вновь.

Вере наши лучшие пожелания и приветы.

ЭУ.

P. S. Если верить советскому изданию Чехова, ты перепутал дату письма, в котором Чехов говорит о встрече с твоей родственницей.

Эдмунд Уилсон

Шарж Дэвида Левина

Визит в Итаку

Из книги "На севере штата Нью-Йорк. Записки и воспоминания"

25–28 мая

К Набоковым меня отвез на машине сын Отиса Джордж Манн. Пиджака он с собой не взял и спустился к ужину в своей любимой пестрой рубашке навыпуск. Увидев его в этом "наряде", Володя заметил, что выглядит он, как тропическая рыба. Сказать Джорджу нечего, поэтому он помалкивает и говорит, только когда к нему обращаются. При этом человек он достойный, хорошо, в добром старом стиле держится. Я бо-

© Edmund Wilson. Upstate. Records and Recollections of Northern New York. – N. Y.: Farrar, Straus and Giroux, 1971.

ялся, что литературные и ученые беседы Джорджу наскучат, однако слушал он нас с интересом и впоследствии рассказывал матери, что больше всего его увлек наш с Володей горячий спор, который длится уже много лет. Споря до хрипоты о русском и английском стихосложении, мы с ним обменивались ударами, точно игроки в теннис — Володя, кстати, считается хорошим теннисистом. Идея, с которой Володя не расстается, будто русский и английский стих, по сути, ничем друг от друга не отличаются, почерпнута им, в чем я теперь окончательно убедился, у его отца, лидера кадетов в Думе и сторонника конституционной монархии по британской модели. Володин отец полагал, что между Россией и Англией, странами такими разными, существует (должна существовать) тесная связь. В середине XVII века русские писали силлабические стихи, то есть в поэтической строке имелось определенное количество слогов. Но уже в середине XVIII столетия в России получил распространение стих тонический, в основе которого был не слог, а ударение — ямб или хорей, или любой другой размер, который строится на чередовании ударных и безударных слогов. Но русский разговорный язык не приспособлен к системе ударений немецкой и английской поэзии, состоящей из периодов, перемежаемых основными и второстепенными ударениями. А потому всякая попытка привить русскому языку западную ритмическую систему приводит к тому, что, с одной стороны, строго соблюдаются регулярные ямбы, чего английская поэзия, зачастую переходящая с хорея на ямб и обратно, стремится избегать, а с другой, разнообразие достигается жонглированием основных ударений. В рамках этого стихосложения огромного эффекта добивается Пушкин, но когда вглядываешься в его строку, то видишь, что он почти никогда ударение в словах не переносит. Володя отвергает саму идею метрического разнобоя, которая так много значит у Шекспира и Мильтона, и по этой причине утверждает, что “Never, never, never, never, never” в “Короле Лире” — это либо пятистопный ямб, либо прозаическая строка. Судя по всему, он усматривает упрек Пушкину в утверждении, что, с точки зрения английской метрической системы, его стих менее гибок, чем шекспировский, и даже считает, что в гибкости стиха Пушкин преуспел больше Шекспира. <...>

В понедельник Джордж вышел к ужину в хорошо сидящей рубашке бежевого цвета. С нами вместе за столом сидели Джейсон Эпстайн, приехавший договориться насчет публикации “Лолиты”, и немецкий профессор, преподаватель французского языка, который переезжал из Корнелла в

Принстон. Надо надеяться, я не перепугал его до смерти рассказом, чего следует ожидать от провинциальных аристократических замашек Принстона. Володя выступал в роли веселого, общительного хозяина, чего раньше за ним не водилось и что, по-моему, ему не вполне свойственно. Успех "Пнина" и шум, который наделала "Лолита", к тому же запрещенная в Париже, явно пошли ему на пользу. Без галстука, волосы ébouriffé[1], он попивал из маленьких стаканчиков "профессорские" (как их называет Фрохок из Гарварда) портвейн и шерри, был со всеми радушен и, судя по всему, пребывал в превосходном настроении. Однако уже на следующий день, вернувшись с экзаменов, которые продолжались два часа и принимать которые Вера, конечно же, ему помогала, он выглядел усталым, подавленным и раздраженным. Володя рассказал мне, что филолог Роман Якобсон, только что побывавший в России, уговаривал его поехать туда с лекциями, но он ответил, что в Россию не вернется никогда, что отвращение к тому, что там происходит, превратилось у него в наваждение. Здесь, в Америке, он, безусловно, перерабатывает: ему приходится совмещать преподавательские обязанности с сочинением книг. На этих днях ему предстоит проверить сто пятьдесят студенческих работ. В тот вечер нервы у него были на пределе, но он поднимал себе настроение спиртным, и я, несмотря на свою подагру, от него не отставал. Поначалу он был мил и обаятелен, однако затем впал в свойственное ему полушутливое, полусумрачное состояние. В этом настроении Володя постоянно противоречит собеседнику, стремится настоять на своем — при том, что некоторые его заявления бывают совершенно абсурдны. Так, он утверждает, причем безо всяких доказательств и вопреки хорошо известным фактам, что Мериме не знал русского языка, Тургенев же знал английский настолько плохо, что с трудом разбирал газетный текст. Он отрицает, что русские заслуженно считаются прекрасными лингвистами, и о каждом русском, хорошо владеющим английским, говорит, что у него наверняка были гувернантки или гувернеры. Я же познакомился в Советском Союзе с несколькими молодыми русскими, которые, ни разу не побывав за границей, выучились тем не менее говорить на отличном английском языке. Объясняются эти его завиральные теории тем, что себя он возомнил единственным писателем в истории, который одинаково безупречно владеет русским, английским и французским, — вот почему, должно быть, самые

1. Взъерошены (*франц.*).

простительные ошибки (например, ошибка Штегмюллера, перепутавшего verre à vin с verre de vin[1]) вызывают у него приступы язвительной ярости. Между тем сам он порой допускает ошибки в английском и французском, и даже в русском языке. Ни он, ни Вера не поверили мне, когда я несколько лет назад сказал им, что французское слово "fastidieux" означает "скучный", "надоевший" и ничего общего с английским fastidious не имеет. Вопреки авторитету Даля, великого русского лексикографа, Володя настаивал на том, что корень у слов "самодур" и "дурак" разные. Теперь же он пытается меня убедить, что английское слово "nihilist" произносится <ni:hilist>. Разумеется, ему, несмотря на всю его изобретательность, очень нелегко справляться одновременно с двумя столь разными языками, и дело усугубляется тем, что между британским и американским английским также имеется существенная разница.

Вера всегда на стороне Володи; чувствуется, что она буквально дрожит от гнева, если в ее присутствии пускаешься с ним в спор. Она внесла свою лепту в нашу дискуссию о стихосложении, поинтересовавшись со всей серьезностью, правильно ли она меня поняла, что "Евгений Онегин" написан силлабическим стихом, и, когда я ответил, что не мог сказать подобную чушь, дала понять, что у них сохранились мои письма, в которых именно это и говорится. Когда во время нашего спора я, чтобы доказать свою правоту, стал приводить примеры из классической поэзии, о которой Володя не знает ровным счетом ничего, он выслушал меня молча, с усмешкой на лице. Наши отношения чем-то напоминают мне отношения между членами литературного клуба. Я привез Володе "Histoire d'O"[2], весьма изысканный и забавный порнографический роман; Володя же в ответ отправил на мой домашний адрес сборник фривольных французских и итальянских стишков, которые читал, когда переводил Пушкина. В Итаке со мной случился очень сильный приступ подагры, мне приходилось сидеть, задрав ногу, и даже ужинать отдельно, не за общим столом, и мне показалось, что Веру это немного покоробило. Она так сосредоточена на Володе, что обделяет вниманием всех остальных, ей не нравится, что я привожу ему порнографические книги и вино: однажды я прихватил с собой литровую бутылку шампанского, которую мы весело распили у него на крыльце. На следующее утро после ужина, под-

1. Стакан для вина... стакан с вином (*франц.*).
2. "Историю О" (*франц.*).

порченного моей подагрой, когда я уезжал и Володя вышел со мной проститься, я сделал ему комплимент, сказав, что после утренней ванны выглядит он превосходно. Володя заглянул в машину и буркнул, пародируя "Histoire d'O": "Je mettais du rouge sur les lèvres de mon ventre"[1]. "Он вернул вам эту пакость?" — спросила меня Вера. По всей вероятности, она тоже заглянула в этот роман. Услыхав, что мы о нем заговорили, она с отвращением заметила, что хихикаем мы, точно школьники. В этой книге довольно правдиво описана парижская жизнь семьи русских эмигрантов, напомнивших мне Елениных родственников. Я спросил Володю, не показалось ли ему, что французский язык в романе несколько странен, и предположил, что книга написана кем-то из русских. "Скорее, поляком", — поправил меня он.

Видеть Набоковых для меня всегда удовольствие. Наши стычки носят интеллектуальный характер, хотя достается, и крепко, обоим. Но после наших встреч у меня всегда остается какой-то неприятный осадок. Мотив Schadenfreude[2], постоянно присутствующий в его книгах, вызывает у меня отвращение. В его романах унижению подвергаются все и всегда. Он и сам, с тех пор как уехал из России и после убийства отца, по всей видимости, многократно испытывал унижение, особенно болезненное из-за заносчивости, присущей богатому молодому человеку. Сын либерала, бросившего вызов царю, он не был принят в кругах реакционного, консервативного дворянства. И за испытанное им в молодости унижение приходится теперь расплачиваться его героям, он со злорадством подвергает их всевозможным страданиям, вместе с тем себя с ними отождествляя. И в то же время человек он во многих отношениях потрясающий, сильная личность, невероятный труженик, он всей душой предан своей семье и — истово — своему искусству, у которого есть немало общего с искусством Джойса; Джойс — одно из немногих искренних его увлечений. Несчастья, ужасы и тяготы, что пришлись на его долю в изгнании, сломали бы всякого; он же благодаря силе воли и таланту преодолел все невзгоды. <...>

1. Буквально: "Я накрасил губы своего живота" (*франц.*).
2. Злорадства (*нем.*).

Владимир Набоков

Письмо в "Нью-Йорк таймс бук ревью"[1]

Шарж Дэвида Левина

В "Нью-Йорк таймс бук ревью"
Главному редактору

На страницах Вашего журнала ищу защиты для установления истины в нижеследующем деле.

Один из моих корреспондентов любезно сфотографировал и прислал касающийся до моей персоны отрывок (страницы 154–162) из недавно опубликованного произведения Эдмунда Уилсона "На севере штата Нью-Йорк". Поскольку некоторые соображения в этой книге балансируют на грани клеветы, считаю своим долгом прояснить кое-какие вещи, которые могли бы ввести в заблуждение доверчивых читателей.

Начать с того, что "несчастья, ужасы и тяготы", которые, по мнению Уилсона, преследовали меня на протяжении сорока лет, прежде чем мы с ним встретились в Нью-Йорке, являются чистым вымыслом, следствием его извращенного воображения. О моем прошлом Уилсон имеет, прямо скажем, представление весьма отдаленное. Он даже не потрудился прочесть мою книгу "Память, говори" – свидетельства и вос-

1. New York Times Book Review. 1971. November 7, p. 49.

поминания о счастливом изгнании, начало которому было положено, в сущности, в день моего появления на свет. Излюбленный метод Уилсона — извлечь из моих художественных произведений то, что ему видится подлинными, "почерпнутыми из жизни" впечатлениями, а затем запихнуть их обратно в мои романы и рассматривать моих героев в этом ложном свете. Тем самым, Уилсон уподобляется шекспироведу, который вывел из его пьес образ матери Шекспира, а затем обнаружил аллюзии на нее в тех самых строках, что он переиначил, дабы произвести эту даму на свет. Удивляет меня, однако, не столько самоуверенность Уилсона, сколько то обстоятельство, что в дневнике, который он вел, когда гостил у меня в Итаке, он лелеял чувства и мысли столь мстительные и примитивные, что — выскажи он их вслух — я был бы вынужден немедленно указать ему на дверь.

Следует сказать и об очевидных нелепостях, встретившихся мне на страницах "На севере штата Нью-Йорк". Утверждение Уилсона, будто мнение о существенном сходстве между русским и английским стихом почерпнуто мною "...у отца... приверженца конституционной монархии по британской модели", слишком глупо, чтобы доказывать здесь его несостоятельность. Что же до его бестолкового, не имеющего ничего общего с реальностью описания русского стихосложения, то вздор этот доказывает лишь одно: Уилсон органически не способен прочесть, тем более — понять мою работу на эту тему. Не соответствует фактам и его столь обывательское впечатление, будто на вечеринках в нашем доме в Итаке моя жена, "сосредоточившись" на мне, "обделяет вниманием всех остальных".

Особенно же отвратительны пошлость пополам с наивностью, сквозящие в его замечании о том, что в жизни я испытывал "всяческие унижения", ибо, будучи сыном либерально мыслящего дворянина, не был "принят (!) в кругах реакционного, консервативного дворянства". Где не был принят?! Когда?! В каких "кругах", помилуй Бог?! Уж не в кругу ли моих дядьев и теток? А может, не был принят сановными, хмурыми боярами — этим порождением плебейских фантазий?

Мне известно, что здоровье моего бывшего друга оставляет желать лучшего, однако в борьбе между долгом сострадания и защитой собственной чести побеждает честь.

Так вот, следовало бы, на мой взгляд, ввести правило или закон, согласно которому публикация "старых дневников" (предпринятая, хочется надеяться, чтобы соответствовать требованиям сегодняшнего дня, который в пору их написания был днем завтрашним), где живые люди являются не бо-

лее чем дрессированными пуделями, действующими по указке автора, была бы невозможна без формального согласия, полученного от жертв сомнительных догадок, невежества и измышлений.

Владимир Набоков
Монтрё, Швейцария

Комментарии

Список условных сокращений:

Классик без ретуши — Классик без ретуши: литературный мир о творчестве Владимира Набокова / Под общей редакцией Н. Г. Мельникова. — М.: Новое литературное обозрение, 2000.

Набоков о Набокове — Набоков о Набокове и прочем: интервью, рецензии, эссе / Редактор-составитель Н. Г. Мельников. — М.: Изд. Независимая Газета, 2002.

NWL — Dear Bunny, Dear Volodya. The Nabokov—Wilson Letters, 1940—1971 / Ed. by Simon Karlinsky. Berkley: University of California Press, 2001.

Стр. 97. *Карпович* Михаил Михайлович (1888—1959) — историк, публицист, мемуарист, с 1949 по 1959 гг. — редактор нью-йоркского "Нового журнала". Знакомство с Набоковым состоялось в апреле 1932 г. в Праге, куда писатель приехал навестить свою мать. В дальнейшем оба поддерживали приятельские отношения: Карпович помог Набокову при переезде из Франции в Америку, а летом 1940 г. Набоков, тогда только прибывший в США и не имевший своего угла, провел несколько недель на вермонтской даче Карповича.

...двоюродный брат Николай. — Николай Дмитриевич Набоков (1903—1978), композитор, музыковед, мемуарист. В апреле 1919 г. покинул Россию; в 1920-е сотрудничал с Сергеем Дягилевым (специально для дягилевских "Русских сезонов" написал балет-ораторию "Ода" и балет "Жизнь Афродиты"); в 1933 г. переехал в США и в 1939 г. получил американское гражданство; в 1945 г. служил в американской армии офицером

по культурным связям. В судьбе Владимира Набокова сыграл двойственную роль: с одной стороны, именно по его рекомендации Набоков списался с Эдмундом Уилсоном; с другой стороны, когда в октябре 1946 г. нуждавшийся в дополнительном заработке писатель обратился к нему с просьбой — помочь устроиться заведующим русским отделом новообразованной радиостанции "Голос Америки", — тот воспользовался случаем и сам занял вакантное место.

...рецензия на Руставели... — Свою литературную карьеру в Америке Набоков начал в качестве критика. Уилсон, временно занимавший должность литературного редактора леволиберального журнала "Нью рипаблик", заказал ему несколько рецензий на книги, так или иначе связанные с "русской темой". Среди них были: книга о духоборах Дж. Ф. Райта, написанная С. М. Лифарем биография Дягилева и перевод "Витязя в тигровой шкуре". Набоковские рецензии, поразившие Уилсона "своим великолепным качеством", появились на страницах "Нью рипаблик" в конце 1940 — начале 1941 гг. (Diaghilev and Disciple < Rec.: Lifar S. Serge Diaghilev. An Intimate Biography> // New Republic. 1940. November 18, pp. 699—700; русский перевод см.: Набоков о Набокове. С. 425—427; Crystal and Ruby <Rec.: The Knight in the Tiger's Skin> // New Republic. 1940. November 25, pp. 733—734; Homes of Dukhobors <Rec.: Wright J. F. C. Slava Bohy, The Story of the Dukhobor's> // New Republic. 1941. January 13, pp. 61—62.

...пожалуйста, воздержитесь от каламбуров... — В рецензии на "Николая Гоголя" Уилсон также неодобрительно отозвался о пристрастии Набокова к словесной игре: "Его каламбуры бывают просто ужасны" (Цит. по: Классик без ретуши. С. 243).

Гринберги — то есть бизнесмен и меценат Роман Николаевич Гринберг (1893—1969), приятель Набокова, вплоть до грандиозного коммерческого успеха "Лолиты" оказывавший ему материальную поддержку, и его супруга Софья Михайловна Гринберг (урожд. Кадинская).

Истмены — американский писатель, поэт, литературный критик и радикальный политический активист Макс Истмен (1883—1969) — в 1920-е рьяный сторонник большевизма; в 1930-е — ортодоксальный троцкист и антисталинист; в 1950-е, в эпоху маккартизма, — антикоммунист, дававший разоблачительные показания против своих бывших единомышленников, — и его жена Елена (урожденная Крыленко, сестра Н. В. Крыленко, члена Верховного революционного трибунала при ВЦИК, одного из организаторов сталинских репрессий).

Стр. 98. *Уикс* Эдвард (1898—1989) — американский журналист, критик; с 1938 по 1966 гг. — редактор журнала "Атлантик". "С трогательной теплотой" Уикс принял перевод рассказа "Облако, озеро, башня".

Волконский Сергей Михайлович (1860—1937) — художественный критик, прозаик, мемуарист, внук декабриста С. Г. Волконского; дважды посетил США (в 1893 и 1896 гг.) и с огромным успехом прочел в ряде городов цикл лекций о русской культуре. В мемуарной книге "Мои воспоминания" Волконский назвал свое пребывание в Уэллсли-колледже, где примерно спустя полвека будет преподавать Набоков, "в числе самых радостных <...> впечатлений на жизненном пути": "Я думаю, что какое бы счастье ни ожидало некоторых из этих девушек в будущем, самое счастливое в их жизни будет все-таки пребывание в этом удивительном Wellesley College. Какое восхитительное зрелище этих молодых девушек в радостном сочетании природы и науки. И всюду — в рощах, над озером, в высоких коридорах — раздается в звонких, свежих голосах клич Wellesley" (С. Волконский. Мои воспоминания. В 2 т. — М.: Искусство, 1992. Т. 1. С. 308).

...отправляюсь в театр к Чехову... — В конце 1940 г. Набоков списался со знаменитым актером и режиссером Михаилом Александровичем Чеховым (1891—1955), с 1939 г. проживавшим в США, и предложил ему инсценировать "Дон Кихота". Чехову идея понравилась, но встреча в конце марта 1941 г. выявила принципиальные разногласия двух художников по поводу будущей постановки, так что из этой затеи ничего не вышло.

Стр. 99. *Деннис* Найджел (1912—1989) — английский писатель и литературный критик, с 1934 по 1950 гг. жил в США, сотрудничал в журналах "Нью рипаблик" и "Тайм". Заказанная Деннисом рецензия на книгу Фрейна Уильямса "Шекспир и 'Глобус'" была опубликована в майском номере "Нью рипаблик" (New Republic, 1941, vol. 104, № 20 (May 19), p. 702; рус. перев. см.: Набоков о Набокове. С. 435—437); статья "Искусство перевода", позже вошедшая в посмертно изданный том "Лекций по русской литературе" (1981), появилась в августовском номере журнала (New Republic, 1941, August 4, pp. 160—162).

Манн Клаус (1906—1949) — немецкий писатель, старший сын Томаса Манна; в 1936 г. переехал в США, издавал журнал "Десижн", для которого Набоков собирался написать статью о советской литературе.

Стр. 100. *Венусберг* — в немецком фольклоре название горы и скрытого под ней подземного мира любви и красоты, в котором обитала богиня Венера.

Стр. 102. *Лафлин* Джеймс (1914—1997) — американский издатель, основатель издательства "Нью дирекшнз", в котором были опубликованы первые англоязычные сочинения Набокова: роман "Истинная жизнь Себастьяна Найта" (1941), "Николай Гоголь" (1944) и сборник рассказов "Девять историй" (1947).

Стр. 103. *Мои похвалы...* — Речь идет о рекламной заметке Уилсона, помещенной на обложке романа "Истинная жизнь Себастьяна Найта"; в ней Набоков ставился на один уровень с Кафкой, Прустом, Гоголем и... Максом Бирбомом.

Бойл Кэй (1902—1992) — американская писательница, критик; высоко оценила первый англоязычный роман Набокова "Истинная жизнь Себастьяна Найта": по ее мнению, история Себастьяна Найта "рассказана с блеском, утонченным изяществом и сдержанностью, с изысканно-ядовитым юмором, который доставляет наслаждение при чтении" (K. Boyle. The New Novels // New Republic, 1942. vol. 106, № 4 (January 26), p. 124).

"Смех во тьме" — англоязычная версия романа "Камера обскура" (Laughter in the Dark. Indianapolis & N. Y.: Bobbs-Merrill, 1938).

Стр. 104. *...явление онтогенетическое, а не филогенетическое.* — Онтогенетический — относящийся к развитию отдельного существа; филогенетический — относящийся к процессу исторического развития мира живых организмов как в целом, так и отдельных групп — рода, народа, расы, человечества.

...на редкость непристойную фотографию хорошенькой русской балерины (по-моему, Тумановой)? — Набоков ошибся: на упомянутой фотографии (Life. 1942. April 20, p. 29) была запечатлена не балерина и киноактриса Тамара Владимировна Туманова (1919—1996), а танцовщица Вера Зорина (урожд. Ева Бригитта Гартвиг, 1917—2003), в то время — супруга знаменитого хореографа Джорджа Баланчина.

Максвелл Уильям (1908—2000) — американский писатель; на протяжении сорока лет, с 1936 по 1975 гг., был литературным редактором журнала "Нью-Йоркер".

Стр. 105. *Эзвелл* Мэри Луиз (1902—1984) — американская писательница, редактор журнала "Харперс".

Мэри — Мэри Маккарти (1912—1989), третья жена Эдмунда Уилсона, американская писательница, критик, публицист; была лично знакома с Набоковым; написала хвалебную рецензию на "Бледный огонь" (рус. перев. см.: Классик без ретуши. С. 349—361), но, прочитав "Аду", нашла ее настолько слабой, что посчитала необходимым сделать полную переоценку писательской репутации Набокова (M. McCarthy. Exiles, Expatriates and Internal Emigres // Listener, 1971, vol. 86, № 2226. (November 25), pp. 707—708).

Прочел "Русалку" и Вашу концовку. — Написанная Набоковым заключительная сцена к незаконченной драме Пушкина "Русалка" была опубликована в "Новом журнале" (1942, № 2. с. 181—184).

Беннингтон звучит ужасно привлекательно. — В письме от 12 июня 1942 г. Уилсон сообщал, что в Беннингтонском университете нашлось вакантное место преподавателя русского языка и предлагал Набокову связаться с деканом Льюисом Джонсоном.

...секретарь одного писателя... — Эрскина Колдуэлла (1903—1987), среди прочего, автора романа о бедняках Юга "Табачная дорога" (1938). После нападения Германии на СССР Колдуэлл стал корреспондентом журнала "Лайф" в Москве, побывал на фронте, о чем написал книгу "Дорога на Смоленск" (All-Out on the Road to Smolensk, 1942); в 1942 г. вышел его роман о советских партизанах "Всю ночь напролет" (All Night Long, 1942).

Стр. 106. *Пирс* Чарльз — редактор поэтического отдела журнала "Нью-Йоркер".

Чавчавадзе (урожд. Романова) Нина Георгиевна (1901—1974) — старшая дочь Великого князя Георгия Михайловича, жена князя Павла Александровича Чавчавадзе (1899—1971); в 1927 г. супруги Чавчавадзе переехали в США; с 1939 г. жили в Уэллфлите по соседству с Эдмундом Уилсоном.

Мирский Дмитрий Петрович (Святополк-Мирский, 1890—1939) — критик, литературовед, участник Белого движения; с 1920 г. в эмиграции; с 1922 по 1932 гг. преподавал русскую литературу в Школе славяноведения при Лондонском университете и Королевском колледже, одновременно печатался в эмигрантских изданиях. В середине 1920-х Мирский (потомок Рюриковичей, сын царского министра!) увлекся марксизмом и в 1931 г. вступил в Британскую коммунистическую партию; в сентябре 1932 г., при посредничестве Максима Горького, вернулся в СССР, где активно включился в литературную жизнь. Во время своего паломничества в Советский Союз (май—октябрь 1935 г.) с ним встретился Э. Уилсон, и именно "товарищ князь" привлек его внимание к творчеству Пушкина. Набоков, как и полагалось "белоэмигранту", критически относился к "мерзкому Мирскому" и даже кольнул его в эпиграмме, сочиненной после известия о том, что Глеб Струве получил место преподавателя в Лондонском университете: "Из Глеба выйдет больше толка, / чем из дурного Святополка!" (Цит. по: Звезда, 2003, № 11. С. 148). Однако позже, всерьез занявшись исследованием русской литературы, Набоков высоко оценил главный литературоведческий труд Мирского, фундаментальную "Историю русской литературы" (1926), (едва ли не единственный источник, на который он сослался в "Николае Гоголе"). В письме редактору издательства "Кнопф" от 9 апреля 1949 г. Набоков объявил себя почитателем книги Мирского и назвал ее "лучшей историей русской литературы, написанной на каком-либо языке, включая русский", однако, не зная, что Мирский был репрессирован в годы Большо-

го террора и погиб в колымском концлагере, отказался от предложения написать к ней рекламную аннотацию, "поскольку бедняга сейчас в России и комплименты от такого антисоветского писателя, как я, могут принести ему большие неприятности" (V. Nabokov. Selected Letters. 1940—1977 / Ed. by D. Nabokov and Matthew J. Bruccoli. — N. Y.: Harcourt Brace Jovanovich / Bruccoli Clark Layman, 1989, p. 91).

Стр. 107. *Фэдимен* Клифтон (1904—1999) — американский журналист (с 1933 по 1943 гг. возглавлял отдел рецензий в журнале "Нью-Йоркер"), позже — популярный радио- и телеведущий.

Мучник Элен (Елена Львовна, 1903—?) — американский литературовед русско-еврейского происхождения (дочь прогоревшего одесского коммерсанта, в 1911 г. вместе с семьей переехала сначала в Бельгию, а спустя три года — в США); близкая приятельница Э. Уилсона, которую он безуспешно прочил Набокову в переводчицы.

Стр. 108. *Для Гуггенхайма это может иметь значение.* — В 1942 г. Набоков, собираясь писать роман, подал заявку в фонд Гуггенхайма на получение стипендии в номинации "Творческая деятельность"; в 1943 г., благодаря содействию Уилсона, он получил грант в 2500 долларов.

...отрывок в "Атлантике"... — То есть мемуарный очерк "Mademoiselle O", опубликованный в январском номере журнала "Атлантик" за 1943 г. и позже вошедший в "Другие берега" (в англоязычных версиях — "Убедительное доказательство" и "Память, говори").

Кунина (в замужестве Александер) Ирина Ефимовна (1900—2003) — писательница; во время Гражданской войны вышла замуж за белого офицера и вместе с ним эмигрировала в Югославию; в начале 20-х, разведясь с мужем, вернулась в Советскую Россию, снималась в кино, писала киносценарии, работала корреспондентом "Правды"; в 1926 г. вышла замуж за Божидара Александера, одного из самых богатых людей в Хорватии, и обосновалась в Загребе, где стала хозяйкой салона, в котором собирались ведущие хорватские художники и писатели; в 1941 г. супруги Александер, спасаясь от фашистов, бежали в США; в Америке Кунина-Александер активно сотрудничала в русских эмигрантских изданиях (в том числе и в журнале "Новоселье") и издала в переводе на английский свой роман "Набегающая волна" (The Running Tide, 1943). В письме к З. А. Шаховской Набоков дал кисло-сладкий отзыв о другом романе Куниной — "Только факты, сэр" (1933): "...далеко не бездарна, но пишет так, словно моет пол à grand'eur [с большим количеством воды (*франц.*)], шумно выжимая — дочерна мокрую — половую тряпку в ведро, из которого затем поит читателя; в общем книга скучная и кривая" (Итоги, 1996, № 20 (24 сентября), с. 69).

Стр. 109. *Гессен* Иосиф Владимирович (1865—1943) — публицист, общественный деятель, один из основателей Конституционно-демократической партии; близкий друг отца писателя, В. Д. Набокова, вместе с которым в эмиграции издавал газету "Руль"; в Берлине организовал издательство "Слово", где вышли многие произведения В. Набокова: романы "Машенька", "Король, дама, валет", "Защита Лужина", сборник стихов и рассказов "Возвращение Чорба". В мемуарной книге "Годы изгнания: Жизненный отчет" (Париж, 1979) оставил исполненный приязни портрет В. Набокова (Сирина). Как и Набоков, Гессен покинул Германию после прихода к власти нацистов и обосновался в Париже; в июне 1940 г. перед вступлением немецких войск в Париж бежал на юг Франции, в неоккупированную зону; в 1942 г. перебрался в Америку. Набоковский некролог "Памяти И. В. Гессена" был опубликован в нью-йоркской газете "Новое русское слово" (1943. 31 марта).

...последний ("русский") "Лайф"? — То есть мартовский номер журнала "Лайф" (1943. March 29), целиком посвященный СССР. Помимо парадной фотографии Сталина на обложке и панегирического очерка о Ленине, который был назван "величайшим человеком современности", "белого эмигранта" Набокова не могла не покоробить лаконичная подпись под портретом Пушкина: "Пушкин, поэт-аристократ, присоединился к заговору офицеров против царя, был сослан на Кавказ и убит на дуэли", — равно как и фотография отъявленного советофила Джозефа Эндрюса Дэвиса (1876—1958), с 1936 по 1938 гг. — посла в СССР, позже — организатора и почетного председателя Национального совета Общества американско-советской дружбы, автора пропагандистской книги "Миссия в Москву" (1942), в которой обелялся Сталин и его тоталитарный режим (переведенная на тринадцать языков, она стала бестселлером и была распродана в количестве семисот тысяч экземпляров). На фотографии Дэвис был запечатлен с книгой в руках, на фоне антикварных ценностей, приобретенных им в Советской России.

Стр. 110. *...она вышла в одном номере с твоим рассказом.* — Первая статья Уилсона из его "Заметок о русской литературе", позже вошедших в сборник "Окно в Россию" (A Window on Russia, 1973), появилась в ноябрьском номере "Атлантика" за 1943 г., где был напечатан и набоковский рассказ "Что как-то раз в Алеппо..."

Стр. 111. *...мой перевод "Ты волна моя волна" никуда не годится.* — В пушкинском разделе "Заметок о русской литературе" Уилсон предложил свой перевод строчек из "Сказки о царе Салтане" "Ты волна моя, волна! / Ты гульлива и вольна...": "O thou, my sea, my sea / So indolent and free". Ознакомившись с корректурой статьи, в письме от 9 ноября 1943 г. Набоков раскритиковал уилсоновский перевод и предложил два своих варианта: "Seawave, o seawave, o you wave, / ever a rover and nobody's slave" и "O my seawave, roving wave, / you that nothing can enslave" (NWL, p. 119).

Стр. 112. *"Вкус меда"* (1941) — роман английского писателя и философа Джералда (Генри Фицджеральда) Хёрда (1889—1971).

...пометки на полях твоей корректуры... — То есть пометки на корректуре уилсоновской статьи "Тютчев", завершавшей цикл "Заметки о русской литературе".

Стр. 113. *...отказать в публикации книги Фицджеральда...* — Речь идет о сборнике писем и эссе "Крах" Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, подготовленного Уилсоном. Опасения Уилсона оказались напрасными: в 1945 г. книга была выпущена издательством Лафлина "Нью дирекшнз" (Crack-Up, 1945).

В одном из них... — В статье "Петербургские повести Пушкина" (1915).

Стр. 115. *...письмо из "Нью рипаблик" с просьбой отрецензировать пару книг.* — Двойная рецензия на антологии Джона Курноса (A Treasury of Russian Life and Humor. — N. Y.: Coward-McCann, 1943) и Бернарда Гилберта Герни (A Treasury of Russian Literature. — N. Y.: Vanguard Press, 1943) появилась в январском номере "Нью рипаблик" за 1944 г. (Cabbage Soup and Caviar // New Republic. 1944. Vol. 110. № 3 (January 17), pp. 92—93; рус. перев. см.: Набоков о Набокове. С. 481—486).

"Окно Иуды" (The Judas Window, 1938) — название детективного романа англо-американского писателя Джона Диксона Карра (1906—1977), печатавшегося под псевдонимом Картер Диксон.

Стр. 116. *...серьезный разговор относительно моего романа.* — Речь идет о начатом в декабре 1941 г. романе "Под знаком незаконнорожденных" (рабочее заглавие — "Человек из Порлока").

Стр. 117. *...большое стихотворение...* — "Парижская поэма", впервые опубликованная в "Новом журнале" (1944. № 7).

Стр. 118. *Мо* Генри Аллен (1894—1975) — американский общественный деятель, президент Американского философского общества, с 1925 по 1963 гг. — секретарь мемориального фонда Джона Саймона Гуггенхайма.

Элдер Доналд (1913—1965) — редактор издательства "Даблдей".

Стр. 119. *Маркуэнд* Джон Филипс (1893—1960) — популярный в 1930—1950-е гг. американский беллетрист, лауреат Пулитцеровской премии (1938), создатель серии "формульных" шпионских романов о секретном агенте японской разведки мистере Мотто; его произведения не при-

нимались во внимание серьезными критиками, но пользовались успехом у массового читателя и неоднократно экранизировались в Голливуде.

Стр. 121. *...статья о магии...* — очерк "Джон Малхолланд и искусство иллюзии" ("John Mulholland and the Art of Illusion", New Yorker, 1944, March 11).

...стихотворение о снеге и Шерлоке Холмсе. — Стихотворение американского поэта Кеннета Фиринга (Fearing) было напечатано в том же номере "Нью-Йоркера", что и уилсоновская статья о магии (Sherlock Spends a Day in the Country // New Yorker, 1944, March 11).

Джоан — американская актриса Джоан Берри (1920—1996), короткое время была любовницей Чарли Чаплина (обещавшего ей роль в своем фильме). В 1943 г. Берри подала против Чаплина иск о признании им отцовства ее ребенка; скандальная судебная тяжба, раздуваемая желтой прессой, затянулась на несколько лет и завершилась неблагоприятным для Чаплина приговором. Во время одного из судебных разбирательств всплыл трагикомичный эпизод, когда экс-возлюбленная ворвалась к Чаплину и, угрожая пистолетом, вынудила его переспать с ней.

Стр. 122. *...скромный поэтический экспромт...* — Стихотворение "Каким бы полотном батальным ни являлась..." (Впервые опубликовано в журнале "Социалистический вестник", 1944, № 5—6).

Стр. 123. *"Книга и чаша"* — дискуссионный клуб, основанный в 1907 г. профессором Корнеллского университета Эвереттом Уордом Олмстедом; замышлялся как своеобразный форум, на котором университетские преподаватели могли бы встречаться друг с другом и со студентами (главным образом, старшекурсниками) и обсуждать различные темы, касающиеся искусства и литературы.

Уайт Кэтрин (1892—1972) — с 1925 по 1960 гг. возглавляла отдел прозы "Нью-Йоркера", на страницах которого было напечатано несколько произведений Набокова.

...с восторгом схватил у меня мой рассказ. — Скорее всего, рассказ "Забытый поэт" (Atlantic, 1944, October).

Стр. 124. *Льюис* Перси Уиндэм (1882—1957) — английский художник и писатель, теоретик и практик вортисизма.

Я написал на твоего "Гоголя" рецензию в "Нью-Йоркер"... — В целом доброжелательная рецензия Уилсона на набоковского "Николая Гоголя", вышедшего в издательстве "Нью дирекшнз", где наряду с похвалами име-

лись и серьезные критические замечания по части содержания и стиля (New Yorker, 1944, Vol. 20. September 9, pp. 72—72; рус. перев. см.: Классик без ретуши. С. 241—243).

Стр. 125. *Челищев* Павел Федорович (1898—1957) — русский художник; в эмиграции с 1920 г.; с 1934 по 1949 гг. жил в США.

Стр. 126. *...статья о детективах...* — Имеется в виду эссе Уилсона "Почему люди читают детективы?" (Why Do People Read Detective Stories? // New Yorker, 1944, October 14).

Сэйерс Дороти (1893—1957) — английская писательница и переводчица, создательница серии детективных романов, объединенных фигурой сыщика-любителя лорда Питера Уимзи. Набоков немного искажает название одного из романов Сэйерс: "Crime Advertises" вместо "Murder Must Advertise" ("Убийству нужна реклама", 1933).

...вернул Лафлину корректуру Пушкина-Лермонтова-Тютчева. — Речь идет о корректуре книги переводов "Три русских поэта", подготовленной Набоковым для издательства "Нью дирекшнз". Книга вышла в 1945 г. (Three Russian Poets. — Norfolk, Conn.: New Directions, 1945).

"Превратности времен" — рассказ, написанный в сентябре 1944 г., был напечатан в январском номере "Атлантика" за 1945 г.

Стр. 127. *Пиотровский* (Корвин-Пиотровский) Владимир Львович (1891—1966) — поэт, участник Белого движения; с 1920 г. — в эмиграции; в Берлине работал таксистом; вместе с Набоковым входил в литературный кружок при журнале "Веретено" и кружок Айхенвальда—Татариновой.

Стр. 128. *...всю вину в Греции старикан возложил на троцкистов?* — Речь идет о коммунистическом восстании в Афинах (декабрь 1944 г.), ставшем кровавой прелюдией к гражданской войне 1946—1949 гг. и жестоко подавленном британскими войсками. Вопреки предположениям Набокова, "старикан", то есть Иосиф Сталин, воздержался от помощи греческим коммунистам и "придерживался договора с Черчиллем, <...> в соответствии с которым Греция находилась в сфере английского влияния. 15 января 1945 года Черчилль объявил, что он заручился "устным согласием Сталина" на то, чтобы британские войска "освобождали Афины". Он был доволен тем, что в ходе боев на афинских улицах с греческими коммунистами "в 'Правде' и 'Известиях' не было опубликовано ни одного слова упрека". Позднее Черчилль подчеркивал, что советский лидер в этом вопросе был лояльнее, чем британская оппозиция в палате общин" (М. Ристович. Тито, Сталин и греческий кризис // Родина, 2003, № 10).

Стр. 129. *Прац* Марио (1896—1982) — итальянский писатель, переводчик, журналист, историк литературы и искусства.

"Адриатические волны... О Брента!.." — Евгений Онегин. Гл. 1. XLIX.

Стр. 130. *...пристроил в "Нью-Йоркер" один свой рассказ...* — "Двуличный разговор" (New Yorker, 1945, June 23), при переиздании получивший заглавие "Групповой портрет, 1945".

Росс Гарольд (1892—1951) — американский журналист, основатель и главный редактор журнала "Нью-Йоркер".

...стало известно о твоих домашних делах... — То есть о разводе с Мэри Маккарти.

Стр. 131. *Из двух моих европейских братьев младший...* — Кирилл Владимирович Набоков (1911—1964).

Другой же мой брат... — Сергей Владимирович Набоков (1900—1945). Во время войны жил возле Инсбрука в замке своего любовника Германа Тиме (Hermann Thieme); в 1943 г. во время кратковременного визита в Берлин Сергея арестовали по обвинению в гомосексуализме, но благодаря хлопотам кузины Софьи вскоре выпустили на свободу, после чего он устроился на работу в Праге, где по доносу сослуживцев был арестован вторично; умер от истощения в нацистском концлагере Нейенгам.

Стр. 132. *Книга Симонова...* — Вероятно, речь идет о повести К. М. Симонова "Дни и ночи" (1944).

...спасибо за твои замечания... — В письме от 14 января 1946 г. (NWL, p. 181) Уилсон заметил, что переводы стихотворений Лермонтова удались Набокову хуже, чем переводы из Пушкина и Тютчева, и раскритиковал перевод "Ангела", особенно фразу "world of sorrow and strife" ("мир печали и слез").

Стр. 133. *Симмонс* Эрнест (1903—1972) — американский славист, до Набокова занимавший пост преподавателя русской литературы в Корнелльском университете.

...статья о Чайковском... — рецензия на издание дневников П. И. Чайковского, в которой затрагивался вопрос о соотношении либретто оперы "Пиковая дама" и пушкинской повести (Mice, Headaches, Rehearsals: Tchaikovsky's Diaries // New Yorker, 1946, January 19).

Стр. 134. ...*тебе досталось от какого-то господина.* — Речь идет о полемической заметке писателя-детективщика Говарда Хэкрафта (Speaking of Crime // Ellery Queen's Mystery Magazine. 1946. February), отреагировавшего на очередную "антидетективную" статью Уилсона "Кого волнует, кто убил Роджера Акройда?" (Who Cares Who Killed Roger Ackroyd? // New Yorker, 1945, January 20).

Галеви Людовик (1834—1908) — французский либреттист, автор либретто оперы Жоржа Бизе "Кармен" (1874); использовал фрагмент песни Земфиры из пушкинских "Цыган" ("Старый муж, грозный муж, Режь меня, жги меня...") для арии Кармен из первого акта ("Coupe-moi, brûle-moi, je ne te dirai rien...").

"Знатный холостяк" — рассказ Артура Конан Дойла из сборника "Приключения Шерлока Холмса" (1892).

...*в разговоре с Оденом*... — Приехав в Нью-Йорк для записи программы о "Ревизоре" для Си-би-эс, Набоков остановился у Э. Уилсона, который познакомил его с англо-американским поэтом Уистеном Хью Оденом (1907—1973).

Айкен Конрад (1889—1973) — американский поэт.

Стр. 135. ...*не смогу побывать в Принстоне и встретиться с твоим другом.* — Речь идет о декане Принстонского унивеситета Кристиане Госсе (1878—1951), друге и наставнике Уилсона, к которому в письме (от 12 февраля 1946 г.) он в очередной раз обратился с просьбой — подыскать место для Набокова в Принстоне:

Дорогой Кристиан,

кажется, я уже рассказывал тебе два или три года тому назад о моем друге Владимире Набокове. Он славный малый, поэт и романист, сочиняющий на русском и английском, а еще специалист по бабочкам, пишущий на энтомологические темы. Живет он в Кембридже; часть недели работает в отделе бабочек Музея Пибоди, другую — в Уэллсли колледж, где преподает русский язык, за что получает 2000 долларов (за первую работу гораздо меньше). Поскольку ему трудно содержать семью, он ищет чего-нибудь получше. Он сообщил мне, что до него дошли смутные слухи об открывшейся в Принстоне вакансии преподавателя русского языка и литературы, и спросил, знаю ли я что-нибудь об этом. Мне бы очень хотелось, чтобы он устроился на хорошее место. Со времени прибытия в Соединенные Штаты он стал одним из моих близких друзей, и я чрезвычайно высокого мнения о его дарованиях. Говорят, он превосходный преподаватель и лектор. Думаю, в некоторых учебных заведениях сделать карьеру ему мешали политические взгляды. Он сын того Набокова, который в Думе был лидером кадетов (конституционных демократов) и считался bête

noire [предметом особой ненависти (*франц.*)] Ленина. Кадеты были либералами, желавшими установить конституционную монархию по английской модели, и были в равной степени проклятием для большевиков и реакционеров. Набоков-старший был застрелен в Германии — на вечере, во время которого черносотенцы, мстившие за революцию, пытались убить Милюкова. Таким образом, Владимир одновременно и антисоветчик, и антимонархист. Учился он в Англии, в Кембридже (The Papers of Christian Gauss. — N. Y., 1957, p. 347).

В ответном письме (15 февраля 1946) Госс сообщал, что в университете имеется всего лишь шестнадцать студентов, посещающих начальные курсы русского языка; что на место преподавателя уже взят американец, несколько лет живший в России; что вряд ли для Набокова найдется место и на следующий учебный год, однако он не теряет надежды на будущее и будет рад встретиться с ним в Нью-Йорке.

Один из переводов Лермонтова... — Перевод стихотворения "Благодарность" (1840) был опубликован в ноябрьском номере "Атлантика" за 1946 г.

...стихотворение-кошмар... — Стихотворение Набокова "Dream" было опубликовано в сентябрьском номере "Атлантика" за 1946 г.

...переводы Лермонтова отправлены в "Русское обозрение". — Переводы стихотворений М. Ю. Лермонтова "Парус", "Сосна" и "Родина" были опубликованы во втором номере "Русского обозрения" за 1946 г. (Russian Review, 1946, vol. 5, № 2 (Spring)).

Стр. 137. *Твоя книга...* — То есть сборник новелл, объединенных фигурой рассказчика, "Воспоминания об округе Геката" (Memoirs of Hecate County. — N. Y.: Doubleday, 1946). В июле 1946 г. Нью-Йоркское общество по борьбе с безнравственностью подало в суд на автора и издательство, в результате чего успешно продававшаяся книга попала под запрет и была изъята из продажи.

...рецензия на Троцкого... — Речь идет о рецензии на книгу Льва Троцкого "Сталин" (New Yorker. 1946. May 4).

"Себастьян", благодаря твоим безудержным похвалам, пользуется в Англии успехом. — В 1945 г. вышло лондонское издание "Истинной жизни Себастьяна Найта".

Стр. 140. *Яновский* Василий Семенович (1906—1989) — прозаик, мемуарист, представитель "младшего" поколения эмигрантских писателей; в 1942 г. переехал в США. Примечательно, что Набоков, мирно игравший с Яновским в шахматы, в свое время написал разгромную рецензию на его

роман "Мир" (Волк, волк! // Наш век, 1932, 31 января), а в письме Уилсону от 15 июля 1943 г. дал ему нелестную аттестацию: "Он мужлан. <...> Он не умеет писать" (NWL, p. 116).

Маккормик Кеннет (1906—1997) — редактор издательства "Даблдей".

Стр. 141. *Тейт* Джон Аллен (1899—1979) — американский поэт, критик и эссеист.

Стр. 142. *Мальро* Андре (1901—1976) — французский писатель, искусствовед, общественный и государственный деятель. Во время Второй мировой войны попал в плен к немцам, бежал, после чего включился в Сопротивление и возглавил партизанское соединение. После войны Мальро целиком посвятил себя политике, занимал министерские посты в правительстве генерала де Голля.

Торнтон Елена (в девичестве — Мамм фон Шварценштейн; 1906—1979) — четвертая жена Э. Уилсона, дочь Питера Арнольда Готлиба Мамм фон Шварценштейна и Ольги Струве, дочери Карла Струве, посла Российской империи в США.

Стр. 143. *Уолпол* Хью Сеймур (1884—1941) — популярный в 1910—1920-е гг. английский писатель.

Стр. 144. *Каляев* Иван Платонович (1877—1905) — знаменитый русский террорист, член партии социалистов-революционеров, убивший великого князя Сергея Александровича и, после отказа подписать прошение о помиловании, повешенный в Шлиссельбургской крепости.

Стр. 146. *"Южный ветер"* (1917) — роман английского писателя Нормана Дугласа (1863—1952), высоко ценимый Набоковым: "...это моя старая любовь, которую всегда хотел иметь и теперь перечитываю с наслаждением" (из письма Глебу Струве от 29 декабря 1935 г. Цит. по: Звезда, 2004, № 4, с. 162) Позже, в интервью Олвину Тофлеру (март 1963) Набоков назвал Дугласа одним из своих любимых писателей (Набоков о Набокове. С. 154). Примечательно, что "Южный ветер" упоминается в числе любимых книг Себастьяна Найта, главного героя первого англоязычного романа Набокова (см. гл. 5). Уилсон, напротив, весьма кисло отозвался о романе Дугласа в книге "Европа без Бедекера" (Europe Without Baedeker. Sketches Among the Ruins of Italy, Greece and England. — Garden City: Doubleday. 1947, pp. 212—214).

Силоне Игньацио — псевдоним итальянского писателя Сегондино Транквилли (1900—1978), переболевшего, как и Уилсон, коммунизмом (в

1921 г. он был одним из основателей Итальянской коммунистической партии; в СССР был издан его антифашистский роман "Фонтамара", который был высоко оценен и Львом Троцким), но уже во время войны ставшего агентом американской разведки и антисталинистом.

Стр. 147. *Розалинда* (р. 1923) — старшая дочь Э. Уилсона.

...познакомился с твоим кембриджским соседом по комнате К. ... — Имеется в виду Михаил Калашников (1901—?), двоюродный брат Светланы Зиверт, возлюбленной юного Набокова; с 1919 по 1921 гг. Калашников изучал историю в Кембридже и был соседом Набокова по квартире на Тринити-лейн. Подробнее об их взаимоотношениях см. Б. Бойд. Владимир Набоков. Русские годы. — М.: Издательство Независимая газета; СПб.: Симпозиум, 2001, с. 200, 205—206, 208—209, 212—214, 216—219.

Стр. 148. *Фаррер* Клод (наст. имя Фредерик Шарль Эдуар Баргон, 1876—1957) — французский писатель, автор популярных в свое время "колониальных романов".

Стр. 149. *Пейтер* (Патер) Уолтер (1839—1894) — английский писатель, критик, искусствовед, идеолог эстетизма; его незаконченный роман "Гастон де Лятур" был издан посмертно в 1896 г.

Стр. 150. *Бассо* Гамильтон (1904—1964) — американский писатель, журналист, критик, около двадцати лет сотрудничал с журналом "Нью-Йоркер", на страницах которого откликнулся на выход романа "Под знаком незаконнорожденных" (Hands Across the Sea // New Yorker, 1947, vol. XXIII, June 14, pp. 86—87).

Стр. 152. *Гессен* Георгий Иосифович (1902—1971) — младший сын И. В. Гессена, юношеский приятель Набокова. В 1942 г. вместе с отцом перебрался из Европы в Америку, работал переводчиком в штаб-квартире ООН.

"Королевство у моря" — рабочее заглавие "Лолиты".

...закончил свою основную энтомологическую работу... — Речь идет о монографии "Неарктические члены рода Lycaedides Hubner", которая вышла отдельным номером "Бюллетеня Музея сравнительной зоологии" (Bulletin of the Museum of Comparative Zoology of Harvard College, 1949, vol. 101, № 4).

Стр. 153. *Хеллман* Джеффри (1907—?) — американский журналист, сотрудник "Нью-Йоркера".

Стр. 154. *В своем интересном списке...* — В хвалебной рецензии на книгу Элен Мучник "Введение в русскую литературу" (An Introduction to Russian literature. — N. Y.: Doubleday, 1947) Уилсон обращал внимание американских читателей на современных русских писателей: Троцкого, Шолохова, Симонова, Алданова, Набокова и Пастернака (Helen Muchnic: A Teacher Turned Critic // New Yorker, 1947, June 21).

...небольшой очерк про тебя... — Жан-Поль Сартр написал отрицательный отзыв на французский перевод "Отчаяния" еще в 1939 г. (Europe. 1939. № 198, pp. 240—249; рус. перев. см.: Классик без ретуши. С. 128—130); прямолинейно отождествляя героя-повествователя и автора, он обвинял Набокова в гипертрофированной литературной рефлексии, разрушающей, с его точки зрения, роман и превращающей его в "набор обветшалых штампов". В 1949 г. Набоков напишет разносную рецензию на перевод сартровского романа "Тошнота" (Sartre's First Try // New York Times Book Review, 1949, April 24, pp. 3, 19; рус. перев. см.: Набоков о Набокове. С. 487—491).

Стр. 155. *Was в последней строчке "Паруса"...* — В набоковском переводе "Паруса" последняя строчка выглядит так: "As if in tempests there was peace".

Бэринг Морис (1847—1945) — английский писатель, переводчик, журналист; среди прочего, автор исторического романа "Роберт Пекэм" (1930); с 1905 по 1912 гг. жил в России, написал о ней несколько книг.

...Коннолли написал какую-то чудовищную фрейдистскую чушь... — Недовольство Набокова вызвала статья английского писателя и критика Сирила Коннолли (1903—1974) "Романист как критик" (The Novelist as Critic // New Yorker, 1948, April 10).

...пишу рецензию на книгу воспоминаний свояченицы Толстого... — Речь идет о рецензии на американское издание мемуарной книги Татьяны Андреевны Берс-Кузьминской (1846—1925) "Моя жизнь дома и в Ясной поляне" (The Original of Tolstoy's Natasha // New Yorker, 1948, August 28).

Стр. 156. *...две книги Бишопа...* — Речь идет о посмертно изданных книгах уилсоновского приятеля и однокашника Джона Пила Бишопа (1892—1944) "Избранные стихотворения" (The Collected Poems of John Peale Bishop. Edited with preface and personal memoir by Allen Tate) и "Избранные эссе" (The Collected Essays of John Peale Bishop. Edited with an introduction by Edmund Wilson).

Стр. 157. *Увлекся твоим Тэнглвудом...* — Имеется в виду уилсоновская статья о дирижере Сергее Александровиче Кусевицком (1874—1951),

с 1924 по 1949 гг. руководившем Бостонским симфоническим оркестром (Koussevitzky at Tanglewood // New Yorker, 1948, September 4).

...не уверен, что Россу он понравится. — Предчувствие не обмануло Набокова: очерк "Первое стихотворение", позже составивший одиннадцатую главу "Убедительного доказательства", был отвергнут редактором "Нью-Йоркера" и впервые был опубликован в журнале "Партизэн ревью" (Partisan Review, 1949, September).

Хайман Стенли Эдгар (1919—1970) — американский критик и литературовед, автор нескольких статей о набоковском творчестве. В книге "Вооруженным глазом. Методы современной литературной критики" (The Armed Vision. A Study in Methods of Modern Literary Criticism. — N. Y.: Knopf, 1948, pp. 21—22) с укоризной писал о том, что Уилсон в своих статьях о русской литературе без каких-либо ссылок использует находки других авторов: Мельхиора де Вогюэ, Дмитрия Мирского, Владимира Набокова.

В другой своей публикации... — В статье, посвященной тогдашней американской критике (Accent, 1948, Spring), Хайман обвинял многих критиков в чрезмерной субъективности, приводящей к подмене интенций автора домыслами интерпретатора. В качестве яркого примера подобной подмены Хайман приводил "Николая Гоголя" "сюрреалиста" и "царисталиберала" Владимира Набокова.

Зензинов Владимир Михайлович (1880—1953) — общественный и политический деятель, член партии социалистов-революционеров, неоднократно арестовывался полицией; в ноябре 1917 г. был избран депутатом Учредительного собрания, затем вошел в состав Комуча (Комитет членов Всероссийского учредительного собрания); в ноябре 1918 г. после военного переворота в Омске и установления власти адмирала Колчака выслан в Китай; оттуда перебрался в Париж, где занялся журналистской и литературной деятельностью: вместе с товарищами по партии организовал "толстый" журнал "Современные записки", в котором были опубликованы многие русскоязычные произведения В. Набокова (Сирина). С Набоковым у Зензинова сложились приятельские отношения, которые они поддерживали, оказавшись в Америке (Зензинов прибыл туда в октябре 1940 г.). Подробнее о взаимоотношениях Набокова и Зензинова см.: Г. Глушанок. "Дорогой и милый Одиссей..." Переписка В. В. Набокова и В. М. Зензинова // Наше наследие, 2000, № 53, с. 76—115.

Вейнбаум Марк Ефимович (1890—1973) — журналист, с 1914 г. — сотрудник, а с 1923 г. — главный редактор нью-йоркской газеты "Новое русское слово".

Стр. 158. ...*мы с тобой оба отличились в последнем "Нью-Йоркере"*. — В сентябрьском номере "Нью-Йоркера" за 1948 г. были опубликованы: очерк Набокова "Мое русское образование", впоследствии вошедший в мемуарную книгу "Убедительное доказательство" ("Другие берега"), и статья Уилсона (Francis Grierson: Long House and Salon // New Yorker, 1948, September 18).

...*статью в "Атлантике" про музей Толстого*... — Имеется в виду разоблачительная статья "невозвращенца" Михаила Михайловича Корякова (1911—1977) "Толстой в руках Советов", напечатанная в октябрьском номере "Атлантика" за 1948 г.

...*письмо о Фолкнере?* — В письме от 1 ноября 1948 г. Набоков сообщил Уилсону о том, что отправил ему "великолепную критику Фолкнера". По-видимому, письмо не дошло до адресата, поскольку 21 ноября Набоков послал копию своего "антифолкнеровского" послания, в котором назвал "Свет в августе" "одним из банальнейших и скучнейших примеров банального и скучного жанра" (NWL, p. 236—237; см. рус. перев. письма: Звезда, 1996, № 11, с. 122—123).

Стр. 159. ...*пришлю тебе свою книгу*... — исправленное и дополненное издание "Трех мыслителей" (1938).

..."*La Geste du Prince Igor", изданный в Нью-Йорке École Libre de Hautes Études под редакцией Якобсона*... — Набоков написал пространное эссе-рецензию на французское издание "Слова о полку Игореве", подготовленное именитым филологом, профессором Гарвардского университета Романом Осиповичем Якобсоном (1896—1982) и преподавателем Корнеллского университета Марком Юрьевичем Шефтелем (1902—1985). После неудачи с публикацией статьи Набоков списался с Якобсоном и тот предложил напечатать "Слово" вместе с набоковским переводом на английский и комментариями Шефтеля. Совместный проект не был осуществлен: Набоков и Якобсон поссорились, а Шефтель из солидарности с Якобсоном отказался от сотрудничества.

Вернадский Георгий Владимирович (1888—1973) — историк; в 1920 г. эмигрировал из России; жил и работал в Константинополе, Афинах и Праге; в 1926 г. переехал в США и стал научным сотрудником, а с 1946 г. — профессором Йельского университета.

Стр. 160. ...*просветил меня относительно дуэли в "Евгении Онегине"*... — В письме от 4 января 1949 г. Набоков заметил "ужасную ошибку", допущенную Уилсоном в статье "Памяти Пушкина": "Интересно, с чего ты взял, что они сходились, пятясь, затем поворачивались друг к другу лицом и стреляли, то есть вели себя как герои популярных фильмов или ко-

миксов? Такого рода поединка в пушкинской России не существовало. Дуэль, описанная в 'Онегине', является классической duel à volonté в точном соответствии с французским Кодексом чести..." (NWL, p. 245; цит. по: Звезда, 1996, № 11, с. 124). Уилсон учел набоковскую критику и внес соответствующие изменения в переиздание "Трех мыслителей".

Стр. 161. ...*очерк про индейцев*... — "Корреспондент в Нью-Мехико: Шалако" (New Yorker. 1949. April 9; April 16), позже вошедший в книгу "Краснокожие, черные, белые и смуглые" (Red, Black, Blond and Olive: Studies in Four Civilizations: Zuni; Hainti; Soviet Russia; Israel. London: W. H. Allen, 1956).

Ты видел, что написал в "Лайфе" про чету Перонов Дос Пассос? — Очерк Джона Дос Пассоса "Визит к Эвите" (Life, 1949, April 11), посвященный первой леди Аргентины, харизматичной Эвите Перон (Марии Эве Дуарте де Перон, 1919—1952), жене президента Хуана Перона (1895—1974).

Стр. 162. *амфисбена* — мифологическое чудище: гигантская двухголовая змея, вторая голова которой находится на месте хвоста.

partizan — Nazitrap — перевертыш из стихотворения, посланного Уилсону 6 февраля 1949 г.:

Do you still work upon such sets
As for example "step" and "pets",
As "Nazitrap" and "partizan",
"Red Wop" and "powder", "nab" and "ban"?

Водрин Филип — в описываемый период — редактор издательства "Oxford University Press".

Николаевский Борис Иванович (1887—1966) — историк, политический деятель, в 1903—1906 гг. член большевистской, а затем меньшевистской партии; в 1922 г. выслан из Советской России; с 1940 г. жил в США.

Церетелли Ираклий Георгиевич (1881—1959) — политический деятель, один из лидеров меньшевистской партии, председатель социал-демократической фракции Государственной думы второго созыва; после Февральской революции — член исполкома Петроградского совета, затем — министр почт и телеграфов Временного правительства; после захвата власти большевиками уехал в Грузию и стал одним из лидеров независимой республики; с 1921 г. — в эмиграции: сначала во Франции, а с 1940 г. — в США.

...дописал пьесу... — "Синий огонечек".

...собрал сборник статей, написанных мною еще в 20-е годы. — "Брега Лучезарные. Литературная хроника двадцатых и тридцатых" (Shores of Light: A Literary Chronicle of the Twenties and Thirties. — N. Y.: Farrar, Straus and Young, 1952), куда вошли критические статьи Уилсона о ведущих англо-американских писателях 20-х и 30-х гг.: Ф. Скотте Фицджеральде, Э. Хемингуэе, Т. С. Элиоте, Э. Паунде, Вирджинии Вулф и др.

Струве Глеб Петрович (1898—1985) — литературовед, переводчик, критик, в 1920—1930-е гг. поддерживавший приятельские отношения с Набоковым и много сделавший для пропаганды его творчества (Струве написал о набоковских произведениях несколько статей и рецензий на русском, английском и французском языках, а также перевел на английский рассказы "Возвращение Чорба" и "Пассажир"). К середине 50-х гг., времени написания его главного литературоведческого труда, "Русская литература в изгнании" (1956), Струве заметно охладел к творчеству Набокова, о чем можно судить и по "набоковской" главе "Русской литературы в изгнании" (где настойчиво проводится тезис о "нерусскости" писателя), и по многочисленным признаниям, сделанным в письмах. Например, в письме от 29 июля 1952 г. В. Маркову Струве вполне определенно заявил о том, что его отношение к творчеству Набокова с годами изменилось к худшему: "...есть в его таланте какая-то исконная порочность. Я в свое время много писал о его ранних вещах (я был в русской критике одним из первых его пропагандистов), но писал больше в положительном смысле, а сейчас меня позывает написать по-иному, но я должен сначала для себя это осмыслить" (Цит. по: Классик без ретуши. С. 612).

Стр. 163. *"Герцогиня Мальфийская"* (1614) — трагедия английского драматурга Джона Вебстера (1578—1634).

Стр. 164. *Рассказ о моем первом любовном приключении...* — "Тамара" (New Yorker. 1949. December 10), впоследствии — одиннадцатая глава "Других берегов".

...другой отрывок... — Забракованный редакторами "Нью-Йоркера" очерк "Мое английское образование" (двенадцатая глава "Других берегов") был опубликован в январском номере "Харперс мэгэзин" за 1951 г. под заглавием "Квартирка в Тринити-лейн".

...невинные вещи, которые я когда-то писал тебе про американских радикалов... — Речь идет о письме от 23 февраля 1948 г., в котором Набоков попытался развеять розовые иллюзии Уилсона и других американских интеллектуалов относительно тоталитарного советского режима (NWL, p. 221—223; рус. перев. см.: Звезда, 1996, № 11, с. 120—121).

Стр. 165. *В тот вечер было столько неприятных сцен...* — Об одной из подобных сцен, разыгравшихся на вечере в честь двадцатипятилетия "Нью-Йоркера", Уилсон рассказал в письме Мортону Зейбелю от 28 апреля 1950 г.: "...вечер был самой настоящей катастрофой, так что кто-то предложил 'Нью-Йоркеру' описать его в стиле 'Хиросимы' Херси. <...> Владимир Набоков, который по случаю прибыл из Корнелла, узнав, что здесь присутствует Стенли Эдгар Хайман, подошел к нему и спросил, что он имел в виду, назвав его отца 'царским либералом'. Хайман, вероятно, испугался, что Набоков прибегнет к рукоприкладству, и пролепетал: 'О, я считаю вас великим писателем! Я восхищаюсь вашими произведениями!' Набоков вернулся с острой невралгией и долгое время провел в больнице" (E. Wilson. Letters on Literature and Politics, 1912—1972. — N. Y.: Farrar, Straus and Giroux, 1977, p. 482).

Херси Джон (1914—1993) — американский писатель и журналист. Его документальный репортаж о первой атомной бомбардировке, впервые опубликованный в журнале "Нью-Йоркер" в 1945 г. и вскоре вышедший отдельным изданием ("Хиросима", 1946), вызвал большой резонанс в Америке.

Стр. 166. *Пишу последнюю (16-ю) главу книги.* — "От третьего лица", которая, по замыслу Набокова, должна была представлять собой авторецензию, раскрывавшую основной композиционный принцип будущей книги. (Нечто похожее уже делалось Набоковым в его русских романах, например, в "Даре", содержащем критические разборы произведений Годунова-Чердынцева.) По ходу дела глава приобрела пародийный оттенок: высмеивая распространенный в американской периодике жанр "двойных" рецензий (и выдумав для этой цели некую "мисс Браун", автора сентиментальных мемуаров "Когда сирень не вянет"), Набоков наградил собственную книгу неумеренно-щедрыми комплиментами, словно вознамерившись перещеголять нарциссические самовосхваления безумного Германа Карловича, главного героя "Отчаяния". Закончив авторецензию 14 мая 1950 г., Набоков понял, что она не вписывается в структуру книги и не соответствует общей элегической тональности. Выпав из состава набоковской автобиографии, глава была опубликована уже после смерти писателя (New Yorker, 1998, December 28 — 1999, January 4, pp. 124, 126—130, 132—133; рус. перев. см.: Набоков о Набокове. С. 493—513).

...глава, довольно замысловатая, о детстве моего сына... — Очерк "Сады и парки" (New Yorker, 1950, June 17), ставший четырнадцатой главой "Других берегов" (и, соответственно, пятнадцатой главой англоязычной версии набоковских мемуаров).

...глава напечатана в "Партизэн"... — "Изгнание" (Partisan Review. 1951. January-February), четырнадцатая глава "Убедительного доказательства" (и, соответственно, тринадцатая глава "Других берегов").

Стр. 167. *...стих про "пифку-пафку"...* — Речь идет о шуточном стихотворении Уилсона "Столпотворение на парковке" (The Mass in the Parking Lot // Furioso, 1949, vol. 4, № 3), в частности, о следующих строчках:

With a rumble-de bum and a pifka-pafka
Came the fife and drum corps parading for Kafka

Стр. 168. *Генри* — Генри Герман Мамм Торнтон (р. 1932) — приемный сын Э. Уилсона (сын Елены Торнтон от первого брака).

Стр. 170. *"Галахад"* — рассказ Э. Уилсона, опубликованнный в антологии "Американский караван" (The American Caravan: A Yearbook of American Literature. — N. Y.: Literary Guild of America, 1927).

В метаморфозах Садовника есть что-то "сириническое". — В конце уилсоновской пьесы "Синий огонечек" один из персонажей, таинственный Садовник, оказывается Агасфером, то есть Вечным Жидом, что не могло не напомнить Набокову о его драматическом монологе "Агасфер", опубликованном под псевдонимом В. Сирин в берлинской газете "Руль" 2 декабря 1923 г.

"В открытую дверь было видно и улицу, тихую, пустынную, и самую луну, которая плыла по небу". — Цитата из шестой главы повести А. П. Чехова "Мужики".

Стр. 172. *Руэл* (р. 1938) — сын Эдмунда Уилсона и Мэри Маккарти.

Стр. 175. *англичанка* — англо-американская актриса Джессика Тэнди (1909—1994).

...беседовал с отцом Джеффри Хеллмана... — То есть с американским критиком, коллекционером и букинистом Джорджем Сидни Хеллманом (1878—1958), среди прочего автором книги "Подлинный Стивенсон" (True Stevenson. A Study in Clarification. — Boston: Little Brown, 1925).

Стр. 176. *...выдалась минута поблагодарить тебя за твою книгу...* — Сборник критических статей "Классики и реклама. Литературная хроника сороковых" (Classics and Commercials. A Literary Chronicle of the Forties. — N. Y.: Farrar, Straus and C°., 1950).

Последняя строчка вызывает у меня протест. — В книжный вариант рецензии на "Николая Гоголя", получившей заглавие "Владимир Набоков о Гоголе", была добавлена фраза, в которой Набоков сравнивался с английским писателем польского происхождения Джозефом Конрадом

(1857—1924). "Лестное" для Набокова сравнение с Конрадом вскоре перекочевало и в статьи других англоязычных критиков, что вызывало вполне обоснованные возражения у жертвы легковесных компаративистских сличений: "Меня слегка раздражают сравнения с Конрадом. Не то чтобы я был недоволен в литературном плане, я не это имею в виду. Суть в том, что Конрад никогда не был польским писателем. Он сразу стал английским писателем" (H. Breit. Talk With Mr. Nabokov // New York Times Book Review. 1951. July 1, p. 17). В многочисленных интервью "швейцарского периода" Набоков периодически весьма неприязненно отзывался о Джозефе Конраде: "...не выношу стиль Конрада, напоминающий сувенирную лавку с кораблями в бутылках, бусами из ракушек и всякими романтическими атрибутами" (из интервью журналу "Плейбой"; цит. по: Набоков о Набокове. С. 154); "...мое отличие от Джозефа Конрадикально. Во-первых, он не писал на своем родном языке, прежде чем стать английским писателем, и, во-вторых, сегодня я уже не переношу его полированные клише и примитивные конфликты". (Из телеинтервью Р. Хьюзу; Цит. по: Набоков о Набокове. С. 171); "...я не люблю его книги, они мне ничего не говорят. Когда я был ребенком, я читал их, потому что это книги для детей. Они полны клише и неуемной романтики..." (Беседа Владимира Набокова с Пьером Домергом // Звезда, 1996, № 11, с. 62).

Стр. 177. ...*письмо о твоем скверном русском стихотворении...* — В письме от 10 января 1951 г. (NWL, p. 284) Уилсон одарил Набокова стихотворением, написанным, как он считал, по-русски:

Лев Толстой
Был писатель большой;
Но когда хотел крестьянином считаться,
Он только слыл безумным дворянином;
Когда притворется христианином,
Он просто злючкой казатся.

Стр. 178. ...*твое письмо вызвало у меня острый приступ удовольствия.* — В письме от 19 марта 1951 г. (NWL, p. 287) Уилсон расхвалил "Убедительное доказательство", забраковав лишь заглавие.

Голланц Виктор — английский издатель (1893—1967); по его просьбе Набоков дал новое название английскому изданию своей мемуарной книги: "Память, говори".

Грин Генри (1905—1973) — английский писатель; большинство его романов и впрямь озаглавлены одним словом: "Blindness" (1926), "Living" (1929), "Loving" (1945), "Nothing" (1950) и т. п.

"La Juive" (1835) — опера французского композитора Жака Фроменталя Эли Галеви (1799—1862).

Стр. 180. *...мне надоело, что мои книги погружены в тишину...* — В целом набоковские мемуары получили хорошую прессу в англо-американской периодике, хотя количество отзывов было относительно невелико, да и продавалась книга вяло — вопреки ожиданиям автора.

"Нью-Йоркер" отказывается печатать лучший рассказ из всех, мною написанных... — "Сестры Вейн", законченный 15 марта 1951 г.

Стр. 183. *Колетт* Сидони Габриэль (1873—1954) — французская писательница; в 1945 г. была избрана членом Гонкуровской академии, а с 1949 г. стала ее председателем. "Шери" (1920) — один из самых популярных романов Колетт (в 1950-м он был экранизирован в Голливуде).

Николсон Гарольд (1886—1968) — английский дипломат, публицист, прозаик; входил в кружок блумсберийцев. Набоков высоко оценил его книгу "Какие-то люди" (1926) в письме Уилсону от 7 января 1944 г. (см.: NWL, p. 134), а позже — в беседе со своим первым биографом Эндрю Филдом (A. Field. Nabokov: His Life in Part. — London: Hamish Hamilton, 1977). В ворчливой рецензии на "Память, говори" Николсон сетовал на то, что автор слишком много внимания уделяет мотылькам, бабочкам, разного рода детским впечатлениям и воспоминаниям — в ущерб рассказу о социально-политических реалиях дореволюционной России. В письме от 22 января 1952 г. (NWL, p. 299) Уилсон обратил внимание Набокова на последний абзац николсоновской рецензии: "Г-н Набоков не производит впечатление личности уживчивой. Странно, что человеку с таким безупречным вкусом может быть скучно в Кембридже и так замечательно в Соединенных Штатах" (H. Nicolson. Dead Butterflies // Observer, 1951, November 4, p. 4).

...еще одну в "Нью-Йоркере". — Речь идет о крохотной заметке в разделе "Коротко о книгах", сообщавшей о выходе "Убедительного доказательства" (New Yorker, 1951, vol. XXVIII, February 17, p. 115).

...место, где упоминаетесь ты и Елена. — Вероятно, имеется в виду фраза, завершающая первую главку рассказа "Ланс": "Мы все здесь друзья — Брауны, Бэнсоны, Вайты и Вильсоны" (перевод С. Ильина).

Стр. 184. *...предупредил меня, что не будешь участвовать в этой унылой гоголевской истории.* — То есть в симпозиуме, приуроченном к столетию со дня смерти Н. В. Гоголя, который должен был пройти 6 марта 1952 г. при Колумбийском университете.

Гарри — то есть Гарри Левин (1912—1994), американский литературовед и критик, преподаватель, а затем и профессор Гарвардского университета, приятель В. Набокова.

..."это все пустое" (как заметили Татьяна Ларина и Фанни Прайс). — В комментарии к "Евгению Онегину" Набоков, разбирая письмо Татьяны, указывал на сходство выражений "это все пустое" и "'tis nonsense all", которое Джейн Остин вложила в уста Фанни Прайс ("Мэнсфилд-парк", ч. III, гл. 13).

Стр. 187. *Сестры Фокс* — Кейт (1837—1892), Ли (1814—1890) и Маргарет (1833—1893) — основательницы спиритуализма; прославились тем, что 31 марта 1848 г. вступили в общение с духом торговца-разносчика, которого (как было установлено в 1904 г.) действительно убили бывшие владельцы дома и захоронили в подвале.

Стр. 189. *...два стихотворения.* — "Lines Written in Oregon" ("Строки, написанные в Орегоне") и "The Poplar" ("Тополь").

...сборник пьес. — "Пять пьес" (1954), куда вошла и "дьявольская пьеса" "Распутная молитва" (Cyprian's Prayer).

библейское эссе — "О первом чтении Книги Бытия" (New Yorker, 1954, May 15).

...издания на английском языке "Анны Карениной" с моими примечаниями, комментариями, вступлением и т. д. — Проект не был осуществлен, однако набоковский комментарий к "Анне Карениной" вошел в посмертно опубликованный том "Лекции по русской литературе" (1981).

Стр. 190. *Ковичи* Паскаль (1888—1964) — американский издатель, с 1938 г. сотрудник, а затем — главный редактор издательства "Вайкинг пресс".

Страус Роджер Уильям-младший (1917—2004) — основатель и совладелец издательства "Farrar, Straus and Giroux". Ознакомившись с рукописью "Лолиты", он наотрез отказался печатать роман.

Стр. 191. *Кис* Уэлдон (1914—1955) — американский поэт, прозаик, критик.

Рассказ, из которого вырос роман... — "Волшебник", написанный осенью 1939 г. в Париже и опубликованный уже после смерти писателя.

Стр. 192. *...палестинское эссе.* — "Израиль" (New Yorker, 1954, Decemder 4), позже вошедшее в книгу "Краснокожие, черные, белые и смуглые" (Red, Black, Blond and Olive: Studies in Four Civilizations: Zuni; Hainti; Soviet Russia; Israel. London: W. H. Allen, 1956).

Стр. 193. *Казан* Элиа (1909—2003) — американский режиссер, сценарист и продюсер греческого происхождения.

Стр. 194. *...книгу еще предстоит выбрать.* — В конечном счете выбор пал на "Героя нашего времени" М. Ю. Лермонтова.

Кончил читать твою очередную книгу... — Имеется в виду переиздание антологии "Шок узнавания", вышедшей под редакцией Уилсона в 1943 г.

Андерсон Шервуд (1876—1941) — американский писатель.

Стр. 195. *Элен* Миранда Уилсон (р. 1948) — дочь Эдмунда и Елены Уилсон.

Спендер Стивен (1909—1995) — английский поэт и критик.

Стр. 196. *В Германии сходят с ума от пьесы Томаса Вулфа...* — Пьеса "Мэннерхаус" американского писателя Томаса Вулфа (1900—1938), переведенная Петером Сэндбергом, впервые была поставлена в ФРГ в 1953 г.

Стр. 197. *Дюпи* Фредерик Уилкокс (1904—1979) — американский критик и литературовед, профессор Колумбийского университета, автор статьи "'Лолита' в Америке: письмо из Нью-Йорка" (рус. перев. см.: Классик без ретуши. С. 271—280), опубликованной в июньском номере журнала "Энкор ревью" за 1957 г.; здесь же, предваряя американское издание "Лолиты", были напечатаны эссе Набокова "О книге, озаглавленной 'Лолита'" и несколько глав романа.

...благодарю тебя за твою книгу... — "Крупица моего ума" (A Piece of My Mind: Reflections at Sixty. — N. Y.: Farrar, Straus and Cudahy, 1956).

Стр. 200. *"Человек с огоньком"* ("Ginger Man") — роман американо-ирландского прозаика Джеймса Патрика Донливи (р. 1926), впервые был опубликован парижским издательством "Олимпия-пресс", выпустившим в свет и набоковскую "Лолиту".

Стр. 202. *"Марджори Морнингстар"* (1955) — ставший бестселлером роман американского писателя Германа Вука (р. 1915).

Джордж Манн — двоюродный племянник Э. Уилсона, вместе с ним гостивший у Набоковых 25 мая 1957 г.

Стр. 203. *Солсбери* Гаррисон Эванс (1908—1993) — американский журналист, историк и публицист, лауреат Пулитцеровской премии; после войны был корреспондентом "Нью-Йорк таймс" в Москве; написал не-

сколько книг о Советском Союзе, в которых любил щеголять русскими словечками и поговорками (порой употребляя их не к месту и с ошибками).

Стр. 204. *Штегмюллер* Фрэнсис (1906—1994) — американский прозаик, литературовед; активно сотрудничал с журналом "Нью-Йоркер".

Стр. 206. *Дюжарден* Эдуард (1861—1949) — французский писатель, одним из первых в европейской литературе использовал "поток сознания" — в романе "Лавры срезаны" (Les lauriers sont coupés, 1888).

Стр. 207. ...*прислать тебе свою новую книгу.* — "Американское землетрясение" (The American Earthquake: A Documentary of the Twenties and Thirties (A Documentary of the Jazz Age, the Great Depression, and the New Deal). — Garden City, N. Y.: Doubleday, 1958.

...*пытаюсь дописать Гражданскую войну...* — То есть книгу "Запекшаяся кровь патриотов: литература времен Гражданской войны" (Patriotic Gore: Studies in the Literature of the American Civil War. — N. Y.: Farrar, Straus and Giroux, 1962).

Что же до хамелеоновых перемен цвета лица... — В предисловии к переводу "Героя нашего времени" (порой напоминающем разносную рецензию) Набоков укорял Лермонтова и других русских писателей XIX века в "небрежении точными оттенками цветового спектра": "...так на страницах 'Героя нашего времени' лица различных персонажей то и дело багровеют, краснеют, розовеют, желтеют, зеленеют и синеют" (Цит. по: В. Набоков. Лекции по русской литературе. — М.: Издательство Независимая Газета, 1996. С. 431—432).

Стр. 208. *Пегги Бейкон* (1895—1987) — американская художница.

...*очерк о Тоилэ, Т. С.* ... — Имеется в виду эссе "Т. С. Элиот и англиканская церковь" (New Republic, 1929, vol. 58, April 24), вошедшее в книгу Уилсона "Брега Лучезарные. Литературная хроника двадцатых и тридцатых".

Голд Герберт (р. 1924) — американский писатель; в 1960 г. сменил Набокова на посту преподавателя литературы в Корнеллском университете; в сентябре 1966 г. вместе с Джорджем Плимптоном взял у Набокова интервью для журнала "Paris Review", впоследствии вошедшее в книгу "Твердые суждения" (рус. перев. см.: Набоков о Набокове. С. 211—229); свои впечатления от встречи с писателем в Монтрё Голд изложил в эссе "Художник в погоне за бабочками" (The Artist in Pursuit of Butterflies // Saturday Evening Post, 1967, vol. 240, № 3 (February 11), pp. 81—85). Отследив публикацию и найдя в ней ошибки, Набоков оперативно откликнулся

письмом в редакцию журнала (Saturday Evening Post, 1967, vol. 240, № 6 (March 25), p. 6). В "Юбилейных заметках", венчающих набоковский "фестшрифт" (Triquarterly. 1970. № 17), юбиляр благодушно отозвался о статье Голда (см.: Набоков о Набокове. С. 602), а позже, в эссе "Вдохновение" (1973), включил его рассказ "Смерть в Майами-Бич" в "полудюжину своих фаворитов" — наряду с рассказами Апдайка, Джона Барта, Сэлинджера, Чивера и Делмора Шварца (там же. С. 621).

...*древние парапеты Европы.* — Реминисценция из стихотворения Артюра Рембо "Пьяный корабль" (1883), в 1928 г. переведенного Набоковым на русский язык: "...о, Европа, твой древний парапет запомнил я навек!" (В оригинале: "...Je regrette l'Europe aux anciens parapets!")

Стр. 209. ...*совершенно неприемлемый пункт договора...* — Получив рукопись комментированного "Евгения Онегина" и рассчитывая хоть както покрыть будущие убытки от явно некоммерческого издания, руководство издательства "Корнелл юниверсити пресс" предложило Набокову отказаться от гонорара.

...*о прекомичнейших похождениях "Лолиты" в Англии.* — Во многом своей славой "Лолита" была обязана скандалу, вспыхнувшему в Англии после того, как Грэм Грин рекомендовал ее в качестве лучшей книги 1955 г. (G. Green. Books of the Year 1 // Sunday Times, 1955, December 25, p. 4), а журналист Джон Гордон разразился по этому поводу гневной филиппикой, в которой назвал роман "отъявленной и неприкрытой порнографией", добавив при этом: "Всякий, кто осмелился бы напечатать или продать ее в нашей стране, несомненно, отправился бы за решетку" (J. Gordon. Current Events // Sunday Express, 1956, January 29, p. 16). Грэм Грин ответил ироничным письмом в "Спектейтор", предлагая организовать "Общество цензоров Джона Гордона", которое будет "проверять и при необходимости запрещать все неприличные книги, пьесы, живописные полотна и керамические изделия" (Spectator, 1956, February 10, p. 182). В конце декабря 1956 г., когда в европейской прессе бурно обсуждалось "аскетически строгое создание" Набокова, министерство внутренних дел Франции по личной просьбе британского министра внутренних дел наложило арест на книжную продукцию "Олимпии-пресс", в том числе и на "Лолиту", которая стала предметом обсуждения в английском парламенте в связи с новым законом о порнографии и преступлениях против нравственности. Найджел Николсон (1917—2004), член парламента от партии консерваторов и совладелец издательства, готовившегося опубликовать "Лолиту" в Англии, всячески защищал роман от обвинений в непристойности, за что подвергся ожесточенной критике записных моралистов, среди которых были и его товарищи по партии. Более того, родители издателя, известные в то время литераторы Гарольд Николсон и Виктория Сэквилл-Уэст, всячески отговаривали его от публикации романа, поскольку это могло повре-

дить его политической карьере. Так и случилось: в феврале 1959 г. Николсон, до того вопреки "партийной линии" осудивший действия британского правительства во время Суэцкого кризиса (октябрь 1956 — март 1957), испортил репутацию в своем избирательном округе (он избирался от Борнмута) и в результате лишился места в парламенте, провалившись на октябрьских выборах 1959 г.

Комптон Маккензи Эдвард (1883—1972) — английский писатель.

Стр. 210. ...*моя сестра*... — Елена Владимировна Набокова (в замужестве Сикорская, 1906—2000). В 1919 году вместе с родителями эмигрировала за границу; в 1922 г. после убийства отца, Владимира Дмитриевича Набокова, вместе с матерью, сестрой Ольгой и братом Кириллом переехала в Прагу, жила там до 1947 г., а затем вместе с мужем и сыном перебралась в Женеву, где поступила на службу в библиотеку ООН.

...*экземпляр "Приглашения на казнь"*... — Осенью 1959 г. вышел английский перевод романа, выполненный Набоковым и его сыном Дмитрием.

Стр. 211. *Занят в основном сценарием*... — С марта по сентябрь 1960 г. Набоков работал над киносценарием по роману "Лолита". В интервью своему бывшему студенту Альфреду Аппелю (сентябрь 1966) писатель заявил: "Самым же тщеславным моим предприятием в области драматургии был мой сценарий по 'Лолите'. Я его написал для Кубрика, который, когда делал свой вообще-то превосходный фильм, оставил от него рожки да ножки" (Цит. по: Набоков о Набокове. С. 207).

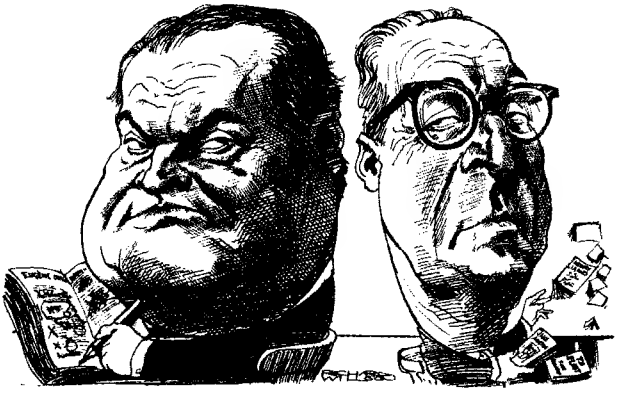
...*от "Zazie dans le Metro" я в восторге*. — В свой "швейцарский период" Набоков неоднократно публично одаривал похвалами роман "Зази в метро" и другие произведения французского писателя Раймона Кено (см.: Набоков о Набокове. С. 308—309).

Уилсон Колин Генри (р. 1931) — английский писатель, снискавший успех у массового читателя фантастической сагой "Мир пауков" (1987).

Стр. 212. ...*перепутал дату письма, в котором Чехов говорит о встрече с твоей родственницей*. — В третьей главе третьего извода набоковской автобиографии ("Память, говори") письмо А. П. Чехова за 22—23 июля 1888 г. датируется 3 августа (в соответствии с григорианским календарем); в этом письме Чехов, к неудовольствию Набокова, нелестно отзывается о его тетушке, П. Н. Тарновской: "Между прочим, на обеде познакомился я с женщиной-врачом Тарновской, женою известного профессора. Это толстый, ожиревший комок мяса. Если ее раздеть голой и выкра-

сить в зеленую краску, то получится болотная лягушка. Поговоривши с ней, я мысленно вычеркнул ее из списка врачей...”

Стр. 216. *“История О”* — эротический роман, опубликованный в 1954 г. под псевдонимом Полин Реаж. Лишь в 1994 г. в авторстве скандально нашумевшего романа призналась писательница и переводчица Доминик Ори (наст. имя Анна Декло; 1907—1998).



Шарж Ричарда Уилсона

Эудженио Монтале

Четыре рассказа

Нобелевская премия 1975 года

Перевод с итальянского и вступление
Евгения Солоновича

© Agenzia Letteraria Internazional SRL
© Евгений Солонович. Перевод, вступление, 2010

В конце1956 года небольшое миланское издательство опубликовало "Динарскую бабочку" Эудженио Монтале, включавшую двадцать пять рассказов. Скромный тираж — 450 пронумерованных экземпляров, украшенных гравюрой Джорджо Моранди, — был задуман как рождественский подарок автора, художника и издателя друзьям. Со временем книжка, пополняемая при переизданиях новыми рассказами, превратилась в книгу, заняв подобающее место в библиографии Монтале рядом с поэтическими сборниками, принесшими автору мировую известность и звание нобелевского лауреата 1975 года.

Прозаиком Монтале стал, можно сказать, по необходимости. В декабре 1946 года поэт, живший тогда во Флоренции, принял предложение редакции "Коррьере делла сера" о сотрудничестве, а после двух лет своеобразного испытательного срока стал штатным редактором этой респектабельной газеты, для которой, подчиняясь условиям договора, должен был писать ежемесячно определенное количество текстов. Свободный в выборе жанра, он выступал на страницах "Коррьере" и дочерней "Коррьере д'информационе" как критик, литературный, театральный и музыкальный, как колумнист, как автор очерков, привезенных из заграничных командировок, и, наконец, как прозаик. В авторском предуведомлении к первому изданию "Динарской бабочки" Монтале напишет: "Я перепечатываю здесь небольшую часть набросков, колонок, culs de lampe[1], напечатанных мною между 47-м и 50-м годами в "Коррьере делла сера" и "Коррьере д'информационе".

У трех из четырех рассказов Монтале, публикуемых в этом номере журнала, — сходная судьба. "Мармеладов второго периода" был напечатан в "Коррьере делла сера" 26 апреля 1950 года, "Концерт" — в "Коррьере д'информационе" 18—19 июня 1947 года, "Летающая тарелка" — там же 16—17 апреля 1952 года и только у "Буриданова осла" — другая "прописка": газета "Мондо" от 2 марта 1946 года.

Значительную часть прозаического наследия Монтале составляют житейские истории. "...мне не хватало фантазии врожденного прозаика, и я мог рассчитывать исключительно на собственные воспоминания, на пережитое", — признался он в одной из статей 1969 года. Откровенное это признание помогает понять основной критерий, которым Монтале руководствовался, отбирая в свое время рассказы для "Динарской бабочки" — в этом сборнике он видел основу будущего романа (в значительной степени автобиографического).

"Мармеладов второго периода" вошел в состав "Динарской бабочки" в 1973 году при шестом издании книги. Эпизод, описанный в рассказе, при всей его фантасмагоричности, не оставляет сомнений в том, что импульсом к его написанию стал факт из жизни автора. Монтале неплохо рисовал, писал маслом, живопись была для поэта хобби, и ценность его пастелям придавала подпись, часто состоявшая из одной буквы: "М". Монтале не пере-

1. Здесь: зарисовок, заставок (*франц.*).

оценивал себя как художника, тем более что не просто любил живопись, а прекрасно знал ее, дружил со многими известными живописцами, считавшими честью для себя подарить ему свою работу, бывал на выставках, откуда порой уходил, сгоряча купив картину, которая очень быстро его разочаровывала. "Мармеладов второго периода" — как раз история одного из таких приобретений. В палитре автора — на этот раз не художника, а прозаика — теплые краски, и выбор их определила ирония, добрая, снисходительная по отношению к автору холста, вызвавшего у героя рассказа неосторожную восторженную реплику.

Зная, что Монтале в юности брал уроки пения и готовился к карьере оперного певца, что он был знатоком музыки, рецензировал концерты и оперные спектакли, встречался с известными композиторами, дирижерами, исполнителями, нетрудно предположить, что и "первые аккорды" следующего рассказа навеяны памятью, воспоминанием о несостоявшейся встрече со школьным товарищем, историей, которая на бумаге ожила с фантастическими подробностями, похожими на правду.

"Буриданов осел" написан за несколько месяцев до выборов в учредительное собрание — первых после фашистского двадцатилетия выборов в Италии. Предвыборную атмосферу в стране писатель перенес в душную кабину на избирательном участке, на подступах к которой, дальних и ближних, герой рассказа прошел соответствующую обработку. Знакомая ирония автора, известного решительным неприятием режима Муссолини, приобрела здесь оттенок горечи и разочарования.

О "Летающей тарелке", последнем из публикуемых рассказов, достаточно сказать, что его злободневность сродни неизменной популярности, а следовательно, и актуальности темы НЛО.

Мармеладов второго периода

В глубине черные кипарисы, на переднем плане скирд соломы и два или три желтых снопа посреди зеленого, ближе к салатному цвету, луга; справа, рядом с самым скучным снопом, задрав голову, сидит собачка — смотрит на белесую полоску облачного неба. Я ненавижу кипарисы и терпеть не могу скирды: все деревья, освоенные гуманистическим искусством, за исключением дуба, лавра и вербы, в лучшем случае оставляют меня равнодушным; стога, скирды, длинные лоскуты вспаханной и возделанной земли не находят в моей душе благоговейного отклика. Природа говорит мне что-то, когда она дикая и запущенная, но я становлюсь ее решительным противником, когда она предстает в

виде "тучной росной нивы"[1] — творения человеческих рук. Золотистым хлебам я предпочитаю дикую траву и репейники. Бесконечное восхищение вызывают у меня нетронутые места в Тоскане, но только ближе к аббатству Сан-Галгано, где еще можно встретить охотников на куниц, я по-настоящему отдыхаю душой. Огород я предпочитаю плантации, лес — посевам. И если бы я переиздавал "Граций" Фосколо[2], я, выбирая из двух спорных вариантов "I colti di Lïeo" и "I colli di Lïeo"[3], несомненно отдал бы пальму первенства второму, не обращая внимания на рукопись (к тому же довольно неразборчивую).

Как же в таком случае меня угораздило купить картину, изображавшую — к тому же весьма и весьма посредственно — ненавистные мне детали пейзажа? Но что было, то было: картина оказалась в моей комнате, я заказал для нее роскошную серебряную раму, в которой пики кипарисов и безобразная желтизна скирд выглядели еще отвратительнее. Фальшивые цвета, аляповатый рисунок, плохо скрытые следы "раскаяния" (на заднем плане просвечивал удаленный в спешке газгольдер), картина годами действовала мне на нервы. Я редко спал в той комнате, я давно уже оставил Флоренцию, но, когда возвращался туда, одного взгляда на кипарисы и скирды было мне достаточно, чтобы почувствовать себя несчастным. Я пытался закрывать картину газетой, полотенцем, но и под этим временным покровом она настойчиво напоминала о себе.

Должен признаться, что я сам купил ее за пятьсот лир у художника Дзокколетти. Это была лучшая картина экспозиции, остановившись перед ней, я имел неосторожность сказать: "Прекрасная работа... я бы, пожалуй..." — и Либеро Андреотти, с которым мы ходили по выставке, подзадорил меня: "Почему бы тебе ее не купить? Стоит она недорого, ты не разоришься". Оказавшийся рядом Дзокколетти только того и ждал: "Я пришлю ее тебе домой". И в один прекрасный день картину, без рамы, доставили мне. Я знал Либеро Андреотти как человека тонкого и не берусь утверждать, — тем более теперь, когда его нет в живых и он не может постоять за себя, — что он был восторженным поклонником творчест-

1. Цитата (скорее всего, неточная, "собирательная") из произведений Габриеле Д'Аннунцио (1863–1938) или одного из его подражателей. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Уго Фосколо (1778–1827) – итальянский поэт, прозаик, филолог, в творчестве которого видное место занимают поэмы "Гробницы" и "Грации".
3. "Возделанные земли Дионисия" и "Холмы Дионисия" (*итал.*).

ва Дзокколетти; но в то время Андреотти критически пересматривал опыт своей парижской жизни и близость к тамошней богеме, так что, скорее всего, кипарисы и скирды в живописи не вызывали у него отрицательных эмоций. Следует добавить, что Дзокколетти был человеком непрактичным, не способным не только писать картины, но и делать деньги на искусстве или каких-либо других торговых операциях. Два раза в день мы сталкивались с ним в кафе, и не знаю, как бы я выносил немой укор в его глазах, слабо защищенных лохматыми ресницами, если бы не принял предложение-приказ Андреотти.

Итак, картина очутилась у меня, но в первый же день стало ясно: она упорно отказывается сочетаться с обстановкой моей комнаты. Даже Милле, даже Фаттори[1] не заставили бы меня мириться с этим сюжетом, с этим ви́дением, с этим решением. Куда уж там бедному, неблагодарному Дзокколетти!

Я постарался забыть картину. Для меня настали мрачные месяцы, и они прошли под знаком этого пейзажа. Несколько кипарисов, несколько полосок возделанной земли я видел и из окна; кипарисом больше, кипарисом меньше, я убедил себя в том, что Дзокколетти ничего не убавлял и ничего не прибавлял к моей жизни. Прошло много времени...

Однажды ночью я зажег свет, и ненавистная картина показалась мне еще более ненавистной. Я тут же решил избавиться от нее. Выбросить ее в окно я не осмелился, да мне и сил не хватило бы вытащить ее из рамы. Картину словно вмуровали в серебро, и выковырять ее оттуда было бы не легче, чем вскрыть гроб, не говоря уже о том, что для этого потребовались бы соответствующие инструменты и искусство опытного могильщика. К тому же я боялся повредить раму, которая обошлась мне дороже, чем картина. Ну ладно, допустим, мне удастся извлечь ее из рамы, а что дальше? Если я выброшу картину на улицу, ее вполне могут подобрать и отнести автору. Сжечь? Но тогда весь дом провоняет дымом. Оставалось найти другой выход.

Выход был. Меня осенило: спасительный якорь я увидел в том, что картину Дзокколетти не предохраняло стекло, и поверх нее, не вынимая холст из серебряной рамы, можно было написать другую картину. Старая никуда бы не делась — заживо погребенная, она осталась бы на своем месте. Перед

1. Жан-Франсуа Милле (1814–1875) — французский художник, автор, в частности, картин на сельские темы ("Отдых жнецов", "Сборщицы колосьев" и др.). Джованни Фаттори (1825–1908) — итальянский художник, один из самых известных представителей движения "маккьяйоли".

смертью я мог бы сказать своим наследникам: под этой есть другая картина, и, чтобы она появилась, достаточно терпеливой работы губкой. Если же тем временем (всякое бывает) Дзокколетти станет знаменитым, его полотно, обогащенное моей подмалевкой, моей мазней, глядишь, выиграет, потеряв отчасти изначальную неприхотливость. Картина в четыре руки, самая ценная из всех творений Дзокколетти...

Вскочив с кровати, я открыл шкаф и нашел старую палитру, кисть и несколько тюбиков засохшей краски. На мое счастье, белил оказалось много. Я щедро выдавил их на палитру и застелил белоснежным саваном ненавистный пейзаж. Многообещающий результат не заставил себя ждать: избавленная от гнета рама вздохнула свободно. Ничто не мешало появлению новой картины, которая, казалось, сложится сама собой.

Первые мазки на загрунтованной белилами поверхности не были осмысленными. Я делал их наудачу, стараясь выдавить остатки краски из уже выдавленных до отказа тюбиков. Вскоре у меня перед глазами возник запутанный клубок лиан с розовым шаром над ним, который мог сойти за восходящее или закатное солнце. Но никакой зацепки, ни одной значимой точечки или мазка, говорящего: я здесь, бери меня и развивай. Мне не везло, картина отказывалась рождаться. В комнате не было ничего, чем я бы мог вдохновиться: ни вазы, ни бутылки, — только кровать и два стула. В два часа ночи я, отчаявшись, бросил работу и вернулся в постель. На следующий день я уехал из Флоренции и больше не думал о незаконченной картине.

Несколько месяцев спустя мне снова пришлось спать в той комнате. В первую ночь, под утро, меня разбудил непрерывный собачий лай, далекий, но от этого ничуть не менее докучливый. Я открыл окно и выглянул на улицу, потом высунулся из окна кухни, выходившего в сад женского монастыря. Ни на улице, ни в монастырском саду не оказалось ни одной собаки и никто не лаял: источник лая находился в моей комнате. Но ведь собак в доме не было. Неужели это лаяла собака Дзокколетти, погребенная мной под слоем белил? Я отверг предположение как абсурдное, но, когда история повторилась на следующую ночь, мне достаточно было приложить ухо к холсту, чтобы убедиться: лай *исходил оттуда.* Решив, если, конечно, смогу, вызволить пленницу, я намочил тряпку "смывкой" и принялся в поисках собаки энергично тереть незаконченную картину в направлении с юга на юго-запад. Мои старания увенчались успехом: на круглом, как монета, очищенном участке сантиметра в два диаметром появилась соба-

ка, тявкнула в последний раз и, не попытавшись выскочить из рамы, осталась неподвижно сидеть среди спутанных лиан. Усталый, я бросил на картину полотенце и выкинул ее из головы. После этой ночи я мог спокойно спать в своей комнате: собачий лай больше меня не будил. Но даже сообщение о смерти Дзокколетти, прочитанное в провинциальной газетке, не примирило бы меня с его мрачным произведением, если бы в один из нескольких дней, на которые я заехал во Флоренцию, ко мне не наведался знакомый историк современного искусства, к тому же известный коллекционер. Увидев в моей комнате, где мы сидели, большую картину, прислоненную к стене — обратной стороной наружу, он перевернул ее, долго рассматривал и, наконец, сказал:

— Интересно... Хорошая вещь... не просто хорошая, а прекрасная. Кто автор?

Холст был подписан буквой "М", но после смерти Дзокколетти я мог, глядя на эту картину, адресовать себе слова принца Калафа из "Турандот": "Il mio mestiero e' chiuso in me"[1], и, спасибо Пуччини, мне хватило мгновения, чтобы придумать имя и с уверенным видом ответить:

— Мармеладов второго периода, до того как он примкнул к примитивизму. Правда, признаки примитивизма, как видите, уже угадываются. Картине больше двадцати лет, но мне ее недавно освежили, восстановив первоначальную цветовую гамму.

— Сильная вещь, очень сильная, — сказал историк искусства. — Хорошо бы ее сфотографировать для моего журнала. Эта первобытная собака, этот Urhund в тропических зарослях содержит легкий намек на фигуративность, но не более, чем намек. Мне нравятся эти переходные работы, эти спайки между одной эпохой и другой. Как она к вам попала? Такие Мармеладовы, Мармеладовы этого периода довольно большая редкость. Я видел две вещи в Берне и не берусь утверждать, поймите меня правильно, что они хуже этой, но, если вы собираетесь избавиться от нее, мы могли бы договориться о цене. При желании... идя друг другу навстречу...

На картину — прекрасную картину — падал луч солнца. Несколько разноцветных стрел, огненный шар и, словно пронзенная зигзагообразным вертелом, черная, с запрокинутой мордочкой, собачка, которая лаяла, пока, вернувшись, не предстала в свете нового — примитивистского — существования.

1. "Моя тайна сокрыта во мне" (*итал.*).

— Прекрасная, — робко согласился я — ...и больше не лает.

— Что?

— У этой картины был тот недостаток... или, если угодно, свойство... что собака лаяла по ночам... Теперь она исправилась и уже давно не лает. Но я должен еще некоторое время понаблюдать за ней. Вы не возражаете, если мы отложим сделку?

Он ушел недовольный, подозрительно качая головой. Возможно, потом он навел справки и установил, что к примитивистской школе никакой Мармеладов, будь то первого, второго или любого другого периода, никогда не принадлежал. Когда я вернулся в свою комнату, я увидел, что солнечный луч погас и картина заснула, сделалась холодной и невыразительной. Но я понял, что уже не смогу выбросить ее в окно или похоронить в подвале. Собака бедного Дзокколетти обрела хозяина, и в ожидании возможности пристроить ее в какой-нибудь музей сверхсовременного искусства этим хозяином, увы, был я.

Концерт

НЕТ, вход он не перепутал да и не мог перепутать, в чем убеждали его подъезжающие и отъезжающие машины и большое скопление людей. Между тем ошибка с его стороны явно была, иначе он не шел бы сейчас в темноте по сырому подземелью, все больше, возможно, удаляясь от прелестного парка с рассыпанными по нему павильонами и беседками в стиле рококо, которые со щемящим удовольствием узнал после стольких лет, что не видел их. Он вернулся в С., где не был с детства, и за это время в мире произошло много страшного, много ужасных событий, отнявших у людей самое ценное для каждого человека — радость жизни и беспечное отношение к завтрашнему дню. Но ему говорили, что С. остался оазисом покоя и свободной мысли, и имя Януса Обрегона на афише позволяло надеяться, что это на самом деле так.

С Янусом он учился в школе, потом издали следил за его восхождением на вершины славы и, оказавшись в С., радовался возможности обнять школьного товарища в этот вечер, который, вне всякого сомнения, станет очередным этапом в его карьере. Он не разбирался в музыке, что правда, то правда, но искусство Обрегона, по всеобщему убеждению, ломало условные барьеры и разговаривало со всеми голосом гения. Следует сказать, что наш путешественник был челове-

ком известным, и это внушало ему уверенность, что он не будет лишним на празднике, посланном судьбой.

Но как можно было заблудиться при входе в театр? В театр под открытым небом, если угодно, в амфитеатр, на арену или на английский газон, превращенный в театр (он смутно помнил, как это здесь было), в необычный театр, никто не спорит, но тем не менее в самый настоящий театр, с билетерами, капельдинерами и всем прочим, театр как театр, где при всем желании нельзя заблудиться, а он заблудился; шли минуты, вечер был безнадежно потерян, и путешественнику оставалось уповать на встречу с кем-нибудь, кто бы вывел его из грязной канавы или траншеи, по которой он шел, на городскую улицу, откуда для него не составит труда добраться до гостиницы.

Впереди послышался шум, канава, казалось, стала шире, превратившись в подобие рва под открытым небом: вверху мерцали звезды. Но внизу было темно, и путешественник ничего не видел в нескольких сантиметрах от собственного носа. Нашарив в темноте камень, он на минутку присел — перевести дух. Клокочущий шум внезапно сделался громче. Это шумел водопад, он обрушивался со стены — к счастью, не совсем рядом. Путешественник испугался, продолжать путь в том же направлении было безумием. К сожалению, он мало курил, и спичек, чтобы посветить, у него при себе не оказалось. Он подумал, что лучше всего было бы повернуть назад, в ту сторону, откуда он шел, но вовремя спохватился: с его способностью ориентироваться недолго угодить (если этого еще не произошло) в городской сток для нечистот. Как можно в таком цивилизованном месте, как С., подвергать приезжих подобному риску?

Ему было не по себе. Он нерешительно встал, услышав справа стук молотков: казалось, там заколачивают ящики. Затем послышался звук клаксона и грохот фургона, промчавшегося с притушенными фарами мимо. Значит, это была проезжая дорога и пещера имела выход. Пробираясь на ощупь, он поспешил, как ему казалось, вслед за грузовиком, но через секунду наткнулся на препятствие. Остановился. Снова, намного громче прежнего, забарабанили молотки, и, когда их грохот ненадолго смолкал, можно было услышать мужской голос, читавший вслух, судя по неразборчивым словам и цифрам, что-то вроде вокзального объявления. Путешественнику казалось, что он сходит с ума, но он постарался взять себя в руки, понимая, что, так или иначе, он здесь не один и что рано или поздно, если не свалится в воду либо не попадет под машину, встретит, глядишь, такого же бедолагу, как он

сам, и сможет обсудить с ним свое положение. Сторонясь дороги, по которой проехал фургон, он прислонился к стене или какой-то другой опоре. На худой конец имело смысл дождаться рассвета. Зачем подвергать себя опасности?

Еще несколько минут стука и не то свиста, не то шипения, и вдруг в двух шагах от себя, в луче света, упавшем сверху, он увидел юношу в черном, который у него на глазах поднес к виску револьвер, дважды, судя по выстрелам, нажал на курок и упал, корчась в предсмертных судорогах.

— На помощь! На помощь! — отчаянно закричал путешественник, но его крик потонул в хоре возмущенных голосов:

— Убирайся! Гоните его в шею, чтоб не мешал! Вон из театра!

Несколько рук схватили его и потащили к боковому проходу.

Еще немного, и он очутился на лужайке. На лицо упал свет двух тусклых капельдинерских фонариков. Полицейский в форме, спросив фамилию и проверив документы путешественника, объявил, что его криков, по словам помощника маэстро, находившегося тут же, *нет в партитуре* и что с него большой штраф за то, что он испортил первое исполнение Пятой симфонии Януса Обрегона.

Позже, в гостинице, журналист поведал путешественнику, беря у него интервью, о растущей известности музыкального фестиваля в С., а на следующий день посвятил гостю колоритную статью под названием "Человек, свалившийся с Луны". Что до Обрегона, то маэстро проигнорировал статью в газете, или же ему ничего не сказало имя школьного товарища, который не напомнил ему о себе.

Буриданов осел

"ВЫ проголосовали? — спросил Бертуччи у Менало, спешившего вниз по Коста Скарпучча. — Тогда идите, время еще есть, участки открыты до шести, иначе придется платить штраф — пятьсот лир. Как, вы не знаете о новом законе? Не хочу хвалиться, но в том, что его приняли, есть и моя заслуга. Сами понимаете, право... вернее, долг гражданина...

Менало продолжил путь, помахав рукой, но слова "восстановление", "абсентеизм", "насущная необходимость" сопровождали его все время, пока он спускался по извилистой улице.

"Ишь ты какой! — подумал Меналько, вспомнив речи центуриона[1] Бригенти трехлетней или четырехлетней давности. — Что делать? Полчаса назад я знал, что делать, а теперь все побоку. Посмотрим, посмотрим..."

Положение было не из легких. Поздно проснувшись, приняв ванну и выпив горячего чая, Меналько решил, что никуда в этот день не пойдет — в знак протеста против "козней" политиканов. Нехитрая идея, как он считал, соответствовала его праву. Но полчаса назад ему сказали по телефону про закон и про штраф. Пятьсот лир не такие уж большие деньги, что правда, то правда, но Меналько не был богачом и к тому же не мог в течение некоторого времени повышать жильцам своего дома квартирную плату. Лучше было пойти и отметиться — в конце концов, у него была возможность опустить в урну чистый бюллетень. Так он и сделает.

Прослонявшись часть второй половины дня из угла в угол, Меналько наконец отправился осуществлять свое право, вернее, выполнять свой долг — ой, что я говорю? — добровольно-принудительный долг настоящего гражданина.

На улице Сан Николо́ было полно народу. Люди читали разноцветные предвыборные плакаты — красные, белые, зеленые. Кто-то из толпы окликнул его. Это был Бертуччи, некогда управляющий его домом, известный на весь район мошенник. В руке он держал газету, и вид у него был довольный.

Они обменялись несколькими словами.

— Чистый бюллетень? — удивился Бертуччи. — Вы что, с неба свалились? Не читали послеобеденный выпуск "Беспристрастного"? Тайное голосование отменено. Бюллетень сдается председателю избирательного участка. Проверьте, проверьте...

Меналько пошел дальше, преследуемый обрывками назойливых фраз: "решающие минуты", "бастионы цивилизации", "передовой отряд".

И вот он переступает порог своего избирательного участка. В комнате на первом этаже несколько человек, сидя за длинным столом, сосредоточенно перелистывают регистрационные книги и перебирают бюллетени. У входа — карабинеры и наблюдатели от разных партий.

— А, синьор Меналько, — говорит председатель участка, отталкивая руку, протягивающую ему удостоверение избирателя и документ, удостоверяющий личность. — Очень хорошо. Сейчас скажу, чтобы вас вычеркнули из списка абсентеи-

1. Центурион — в Древнем Риме начальник части легиона, центурии. Здесь: начальник фашистской центурии.

стов. Еще пять минут, и вы бы опоздали, понимаете? Бюллетень у вас готов? Вот вам еще пачка, если мало, я прибавлю. Поторапливайтесь. Заходите в кабину, вычеркивайте, вписывайте, действуйте по своему усмотрению, главное — быстрота. Уединяйтесь...

В будке, перед полочкой, на которой, при желании, можно писать, стоит ободранный стул. Правда, света маловато. Снаружи доносятся крики газетчиков: "первые результаты", "приток избирателей", "значительное большинство голосов за..."

Значительное большинство за что? В тесной будке недолго и задохнуться. Значительное большинство за кого, черт возьми, за какую партию? Он чувствует себя приговоренным к смерти на электрическом стуле, он уже сидит на нем, вот-вот включат рубильник. Еще минута — и... Кому могло достаться подавляющее большинство голосов? Вывалив на полку ворох скомканных бюллетеней, он пытается разгладить два-три из них. Может быть, первые результаты говорят в пользу СНК — Союза независимых консерваторов? Что кричали газетчики? Поди угадай. Если победили независимые консерваторы... А почему бы и нет? Разве Меналько не интуитивный сторонник консерватизма? Конечно сторонник, еще бы! Разве консерватизм не единственная пружина общества, не единственное, что отличает человека от животного? И разве Меналько не был всегда независимым — даже когда зависел от своего управляющего домом и своего привратника? Тяжело вздохнув, он склоняется над бюллетенем, читает список кандидатов, недовольно хмурит брови, берет ручку, чтобы вычеркнуть некоторые фамилии (в первую очередь — Бригенти), но ручка вымазана чернилами, и он брезгливо бросает ее.

Обливаясь потом в темной будке, он прислушивается к голосам снаружи.

— Этого следовало ожидать, — говорит кто-то из сидящих за столом.

Ожидать победу сил Порядка? К сожалению, Меналько не исключает прямо противоположного результата. А ведь именно это, если хорошенько подумать, может произойти. Если судить по первым результатам, всех опережает Прогрессивная концентрация левых сил. (Он берет бюллетень и читает фамилии.) Да, такое возможно, вполне возможно. Посмотрим. Альбертони, Капече... Депретис... Джолитти. А что тут плохого? Меналько не был богачом, а на своем последнем митинге Капече выступил как раз в защиту малой собственности, и средней, и не особенно средней тоже. Голосуя за

этот список, он, Меналько, защищает хорошее дело и заодно проваливает кандидатуру Бригенти, то есть одним выстрелом убивает двух зайцев.

На подступах к исповедальне слышны обеспокоенные голоса:

— Что он там делает, этот тип?

— Синьор, мы закрываем. Нельзя ли поскорее, черт возьми?

— Минутку, — отвечает Меналько, обливаясь холодным потом.

Список замыкает кожевник Цангарини, на обороте бюллетеня — серп и молот. Торгаш Цангарини в этой компании? Плохо, очень плохо, надо поискать кого-нибудь другого. Он нервно перебирает списки, тогда как голоса снаружи становятся все раздраженнее.

"Посмотрим, — мысленно рассуждает Меналько. — Главное, не сойти с ума. Так, Непримиримый савойский союз, Независимая анархистская группа на службе у государственных служащих, Либерально-коммунистический правоцентристский фронт, Радикальная аграрная ассоциация, Итальянская квалюнквистская лига, Новая умеренная рабочая партия...

А вот это по мне, — говорит про себя Меналько, пробегая глазами пункты программы, вложенной в согнутый пополам бюллетень. — Религия, дисциплина, уважение к власти, уважение собственности, частные школы, толерантность по отношению к нонконфессиональным профсоюзам... Это по мне, то, что надо. (Он пробегает список имен, вычеркнув попутно Бертуччи). Но тут же его начинают одолевать серьезные сомнения. Что же все-таки кричали газетчики? Какой артикль был после "подавляющего большинства" — мужского или женского рода? Разница есть — союз, фронт или партия, лига... Возможно ли, чтобы партия таких, как Бертуччи, получила подавляющее большинство? Разве ее проповедники не прожужжали Меналько все уши, пугая, что силы "реакции" начеку? Так ли уж трудно примирить порядок и беспорядок? Неужели нет какой-нибудь анархистской группы, какого-нибудь революционера крайне правого толка?.. Он судорожно перебирает бюллетени, не находя того, что ищет, упирается в дверь будки, случайно открывая ее... Председатель участка встречает его хмурым взглядом.

— Так и не выбрали? Ничего страшного, идите домой, мы закрываем. Главное, пятьсот лир вы сэкономили. Как, вы не знаете? Не читали вчерашнего "Примирителя"? Штрафу подвергаются только голосующие, он идет в казну. У нас прого-

лосовали двенадцать процентов, это большой успех. Идите спокойно, проголосуете в следующий раз.

Пошатываясь, Меналько ковыляет к выходу. На улице он не узнает домов, вокруг ни души, ему кажется, что ноги утопают в снегу, и он падает, проваливается вниз, все ниже и ниже, тщетно пытаясь ухватиться за что-нибудь твердое, устойчивое...

Когда он открыл глаза, то увидел себя в своей спальне, а жена расталкивала его. Что произошло? Было холодно, воздух за окном казался белым. Может быть, в самом деле шел снег. Где-то играло радио, это были фрагменты "Рапсодии" Гершвина.

— Сколько раз я тебе говорила, что днем спать вредно? — ворчала синьора Меналько. — Вставай. Что тебе приснилось? У нас гости — Бригенти и Цангарини, если я правильно поняла, они хотят обсудить с тобой создание новой партии. Ты с ними поосторожней, не дай себя дурачить. До следующих выборов еще далеко. Вот, посмотри, что пишет вечерний "Автономист"... Да так оно и лучше.

Летающая тарелка

От чернильного неба отделилось светящееся кольцо и, плавно кружась, как лепесток розы, бесшумно опустилось на пустынную площадь. В тишине слышен только скрежет далекого трамвая. Время позднее, за полночь, так что никто ничего не заметил. Неужели никто? Или есть люди, которые не спят и все видели? У освещенного окна стоят две тени — смотрят на диковинную раковину. Из нее выходят странные существа — нечто среднее между полипами и манекенами Де Кирико, многоголовые, многоглазые, многоногие, с торчащими во все стороны трубами. Они разговаривают, чихая, прыгают, порхают вокруг раковины, но до них метров двести, так что о чем они говорят, разобрать нельзя. Говорят между собой и двое наблюдателей у окна.

— Это летающая тарелка, голову на отсечение даю. Скорее всего, марсиане. Сейчас, наверно, обратно улетят.

— Если улетят, лучше никому про них не рассказывать. Скажут, что у нас галлюцинации, что мы оба спятили.

— А вдруг они не смогут улететь?

— Как прилетели, так и улетят. Думаю, они все просчитали.

— А что, если у них авария и они направлялись не на Землю, а в другое место?

— Какая разница? Если они не улетят, надо будет выйти к ним, спросить что да как. Поднять тревогу.

— Интересно, на каком языке они говорят? Если они не люди, они не поймут нас, а мы их. Кончится тем, что их запрут в зоопарке. А то решат, что лучше убить и забальзамировать.

— С какой стати? Может, они цивилизованнее нас. В чем в чем, а в техническом отношении они ушли далеко вперед. Мы-то к ним в гости полететь не можем.

— Что ни говори, а их прилет — скандал космического, вселенского масштаба. Человек не может отказаться от антропоморфического понимания жизни. Здесь у нас все рассчитано на Человека. Если это не человек, значит, античеловек, он должен исчезнуть или победить в борьбе с человеком, уничтожить его.

— Но их только трое. Неужели они могут завладеть Землей? Нет, все-таки лучше поднять тревогу. Позвоним в полицию?

— Кажется, они собираются улетать. Один поднялся на борт. Я боюсь, что нас засадят в тюрьму или отправят в сумасшедший дом.

— Смотри! Раковина перестает светиться. Уже почти ничего не видно. Ты их еще видишь? Я различаю только тень одного из них. Теперь и она исчезла.

— Как думаешь, они незаметно улетели или превратились в невидимок и остались здесь?

— С этими трубами? Тогда это люди, замаскированные под марсиан. Может, советские шпионы?

— А может, хористы из "Мефистофеля" в новых костюмах. Сделали кружок на планере.

— А что, если другие прилетят? Надо бы вблизи посмотреть.

— Говорю тебе, там больше никого нет. Я вижу в темноте как кошка.

— Тогда лучше лечь спать. Прошу тебя, никому не рассказывай. А то нам жизни не будет.

— О'кей.

— Вот и хорошо. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Гюстав Флобер
Философские новеллы

Перевод с французского и вступление Галины Модиной

В 1837 году Флоберу исполнилось шестнадцать лет. К этому времени он уже попробовал силы в самых разных литературных формах. Среди этих ранних опытов были и подражания, и просто упражнения в стиле, но в них уже чувствуется самостоятельность: юный писатель задумывался о движущих силах мироздания, о бытии Бога и бессмертии души, размышлял о творчестве и себе самом. Его терзают и внутренние противоречия: "Я отдал бы целое состояние, чтобы стать или глупее, или разумнее, атеистом или мистиком, чем-то завершенным, целостным, идентичным, чтобы это можно было определить одним словом", — писал он другу Эрнесту Шевалье[1].

В новеллах "Смертный час" и "Железная рука" Флобер исследует противоположные грани своего сознания и представляет себя либо философом-рационалистом, либо поэтом-мистиком.

Новелла "Смертный час" была начата в январе 1837 года. Флобер моделирует судьбу человека, обладающего рациональным сознанием, утратившего веру, а вместе с ней и эстетическое чувство. Мир, лишенный сакрального ореола, оказывается отвратительным и бессмысленным хаосом, бесконечность — небытием, а жизнь, устремленная в небытие, бесцельной.

Оставив незаконченной исповедь "глупого философа", в феврале этого же года Флобер обращается к истории поэта. Герой новеллы "Железная рука", испанец Мануэлло, внешне во всем подобен юному самоубийце из "Смертного часа", но в отличие от него он верует. Флобер говорит о вере как инстинктивном свойстве поэтической души. И если история безымянного философа из "Смертного часа" — история размышлений, то развитие души Мануэлло есть "воспитание чувств" поэта, его духовное становление.

Эта новелла, как и "Смертный час", осталась незавершенной, а ее название загадочным. Возможно, "железная рука" — метафора неодолимой страсти. Похожий образ через год возникнет в "Мемуарах безумца": "Вы тоже в пятнадцать лет думали, что полюбили той горячей и неистовой любовью, о какой читали в книгах, хотя железные когти страсти едва задели сердце". Вместе с тем история Мануэлло должна была стать историей разочарования, утраты веры: "Он отдал Богу страстную любовь, она прошла, как те, другие", — предупреждает читателя автор. Эпиграф же позволяет предположить, что Флобера интересовала тема власти судьбы и призвания.

Обе новеллы представляют собой автобиографический диптих, набросок к автопортрету художника, каким станет первое "Воспитание чувств"[2].

Ранняя проза Флобера не публиковалась при его жизни (за исключением новеллы "Библиомания" и физиологического очерка "Урок естественной истории. Вид: Приказчик"). Отдельные вещи или фрагменты включались в различные собрания его сочинений, но в связи с тем, что многие рукопи-

© Галина Модина. Перевод, вступление, 2010

1. G. Flaubert. Correspondance. T. I. – Paris: Gallimard, 1973, p. 56.
2. Не публиковавшийся при жизни автора роман, одноименный со знаменитым романом 1869 г.

си писателя не были доступны издателям, содержали множество ошибок. Первое полное издание его ранних произведений увидело свет во Франции лишь в 2001 году, из него и взяты предлагаемые читателю новеллы.

Смертный час

— Как разумеете вы, — спросил монах, —
Что скрывает и обозначает
эта тайна?

Рабле *Гаргантюа и Пантагрюэль*

Я взглянул на часы, прикидывая, сколько мне осталось жить. Чуть более часа. И на столе было еще довольно бумаги, чтобы наспех набросать воспоминания о событиях, составивших эту тупую, заурядную череду дней и ночей, слез и смеха, именуемую жизнью.

Потолок в моей тесной комнатенке низкий, окна плотно закрыты, дверной замок я тщательно закупорил хлебным мякишем. Угли начали разгораться, значит, скоро наступит смерть. Я могу ждать ее безмятежно и уверенно, наблюдая, как с каждой минутой удаляется жизнь и близится вечность.

I

Обычно человека называют счастливым, если у него есть рента в двадцать пять тысяч ливров, если он красив, высок, ладно сложен, в семье его любят, он каждый вечер бывает в театре, живет в свое удовольствие, сладко ест да мягко спит. Присказка старая, а все же лживая.

У меня есть двадцать пять тысяч ренты, родные любят меня, я бывал почти во всех театрах Европы, ел сладко, спал мягко, ни разу в жизни не страдал несварением, я не кривой, не хромой, не горбатый — и так счастлив, что сегодня, в девятнадцать лет, сам убиваю себя.

II

Однажды — помню, мне было тогда десять лет — мать со слезами обняла меня и велела идти играть под каштанами, что

росли по краю замковой лужайки. О, как они, должно быть, выросли с тех пор! Я отправился туда, но Лелия не пришла ко мне, и я испугался, не заболела ли она. Я вернулся домой: там было пусто. На ограде у входа висела широкая черная ткань. Я направился в комнату сестры и тут вспомнил, что уже больше недели мы не играли вместе.

Я поднялся в ее комнату. Там были две женщины, они часто приходили к воротам замка за подаянием. На руках они держали что-то тяжелое, окутывая его белым покрывалом.

Это была она.

С тех пор меня часто спрашивали, отчего я печален.

III

Это была она, моя сестра! Мертвая и бездыханная!
Скоро настала ночь. Какой долгой и горькой была она!

Одетые в черное женщины уложили тело сестры на кровать, осыпали его цветами и окропили святой водой. А когда солнце перестало бросать в комнату красноватый отблеск, тусклый, словно взгляд мертвеца, когда за окнами угас день, они зажгли две маленькие свечи на ночном столике, опустились на колени и велели мне молиться с ними.

Я молился. Молился горячо, так горячо, как только мог! Но тщетно... Лелия не двигалась!

Долго стоял я на коленях, уткнувшись в холодные влажные покрывала. Я плакал, тихо, без горечи, но все же со страхом. Мне казалось, что, молясь, плача, терзая свою душу мольбами и обетами, я добьюсь вздоха, взгляда, движения от этого тела с неопределенными очертаниями, позволяющими различить только круглое возвышение на месте головы, и ниже другое — должно быть, ноги.

Бедный наивный ребенок! Я верил, что молитва может вернуть жизнь мертвому телу — каким же глупым и каким простодушным я был!

Никто не знает, насколько горькой и мрачной для ребенка была ночь, прошедшая так, в молитве над трупом, в слезах, в отчаянной надежде оживить Ничто! Никто не знает, как мрачна и страшна ночь, проведенная в рыданиях при свете двух погребальных свечей, рядом с двумя женщинами, с их монотонными песнями, купленными слезами, нелепым пением псалмов. И никто не знает, как безнадежная скорбь переполняет сердце ребенка горечью, сердце юноши скепсисом, а сердце старика — отчаянием.

Пришло утро.

Когда занялся рассвет и догорели погребальные свечи, женщины собрались уйти и оставить меня одного. Я кинулся за ними. Цепляясь за их ноги, за платья, обливаясь холодным потом, я кричал:

— Сестра! Моя сестра! Да, Лелия! Где она?

Женщины удивленно смотрели на меня.

— Моя сестра! Вы велели мне молиться, и я молился, чтобы она вернулась. Вы обманули меня!

— Но это молитва об упокоении ее души!

Ее душа? Что это? О Боге мне говорили часто, о душе — никогда.

Бог. Это я еще понимал, по крайней мере, если бы меня спросили, кто он, я взял бы коноплянку Лелии, свернул ей шейку и сказал: "Вот, и я тоже Бог!" Но душа? Душа? Что это?

Я осмелился спросить их, но они ушли, не ответив.

Ее душа! Эти женщины обманули меня. Ведь все, что мне было нужно, — это Лелия! Она играла со мной на поляне, в лесу, лежала на мху, рвала цветы и потом бросала их по ветру. Мне нужна была Лелия, моя синеглазая красивая сестричка, Лелия, которая целовала меня вечерами так же, как целовала куклу, свою любимую овечку и коноплянку. Бедная сестра! Это о тебе просил я, рыдая, но люди, жестокие и бесчеловечные, отвечали: "Нет, ты ее не увидишь, ты молился не о ней, а о душе ее! О чем-то неизвестном, непонятном, словно речь на чужом языке; ты молился о дыхании, о слове, о небытии — о ее душе!"

Душа! Ее душа! Я презираю, отвергаю ее, не о ней я думаю. На что она мне, ее душа? Вы знаете, что такое ее душа? Но мне-то нужно ее тело, ее взгляд, ее жизнь, она сама! А вы не вернули мне этого.

Те женщины обманули меня, и я проклял их.

Проклятие пало на меня, глупого философа, — я не способен понять сло́ва, не прочитав его по складам, поверить в существование души, не ощущая ее, я не могу бояться Бога, и, как эсхиловский Прометей, бросаю ему вызов — мои презрение и ненависть к нему сильнее проклятий.

IV

Часто, глядя на солнце, я мысленно обращался к нему: "Зачем тебе каждый день освещать столько страданий, обнаруживать столько горестей, быть первым среди столь глупых ничтожеств"?

Часто, обратившись к себе, я спрашивал: "Для чего существуешь ты? Ты плачешь, так почему бы не осушить слезы одним решительным и точным движением, и сам Бог не в силах будет помешать роковому исходу?"

Часто, глядя на людей, суетно домогающихся титула или власти, на тех, кто жаждет стать образцом добродетели или добивается вещей в большей или меньшей степени пустых и бессмысленных, глядя на этот вихрь, ад, мерзкий водоворот похоти, пороков, поступков, чувств, грязи и страстей, я думал: "Куда стремится он, где рассыплется зловонным прахом, а потом, подхваченный ветром, в каких глубинах небытия будет заточен?"

Но чаще глядел я на леса, на столь превозносимую природу, на царственное солнце, что заходит каждый вечер и каждое утро поднимается, сияя в день скорби точно так же, как и в день радости, глядел на деревья, на море, на небо с вечным светом звезд. Сколько раз тогда с горьким отчаянием я задавался вопросом: "Для чего существует все это?"

V

Я нашел решение, и это единственное, о чем сожалею, ведь больше мне не о чем жалеть. Я не считал людей ни добрыми, ни злыми, ни порочными, ни невинными и знал, что я поступаю так не по своей воле, но повинуюсь инстинкту, непреодолимым обстоятельствам, не в силах противиться судьбе, она сильнее меня — и никакая глупая выходка этого врага не огорчала меня. И вот я решил, что должен жить, так же, как умираю теперь, — радостно и спокойно, вместо того, чтобы плакать и проклинать Бога, я должен смеяться над ним, бросать ему вызов, прятать слезы за улыбкой, упиваться покоем, забыть о действительности и, не найдя любви, броситься к наслаждениям.

VI

Я глубоко разочаровался в людях, едва столкнувшись с ними.

В двенадцать лет меня отправили в коллеж. Там я узнал мир в миниатюре: пороки, глупости, страстишки, интриги, жестокость. Я видел там торжество силы — тайный знак могущества Бога, видел душевные изъяны, которые станут пороками, пороки, что приведут к преступлениям, — и детей, что сделаются взрослыми.

VII

Январь, 1837

Железная рука

Теперь я знаю, люди — рабы судьбы
и повинуются предначертаниям фей,
стоявших у их колыбели.

Рагнар Лодброк *Песнь смерти*[1]

I

То было в Сарагосе, в испанском городе, где всюду чудится Восток. Сарагоса, древняя столица халифов, некогда могущественная и полная жизни, ныне ты грезишь о прошлом, тоскуешь и дремлешь устало под роскошным солнцем юга. Где они, арабские всадники, что гарцевали по твоим мостовым, юные одалиски, бродившие в твоих садах ночами, где смешанное с фимиамом мечетей благоухание роз, цветущих на твоих террасах? Они исчезли, все мрачно и пустынно. Редкие верующие отзываются на голос тяжелого медного колокола, звенящего под готическими шпилями, мало кто преклоняет колени на плиты собора. Конечно, приходят женщины, бывают девушки, дети и старики. Мужчины? О нет, никогда!

Встречается порой здесь сердце юное и чистое, живущее верой, но чаще приходит человек, усталый и пресыщенный, в надежде, что небесная любовь вернет молодость, вера даст новую жизнь, молитва освятит душу. Он принимает Бога как

1. Рагнар Лодброк (IX в.) — легендарный датский викинг. В 895 году осаждал Париж. "Песнь смерти" он сочинил, попав в плен к англичанам. Флобер цитирует ее по книге Огюстена Тьерри "История завоевания Англии норманнами" (1836). (*Прим. перев.*).

первую любовь, а веру как страсть, предается ей безраздельно, поклоняется радостно, молится пылко, верует, не рассуждая. Заупокойные псалмы не кажутся ему нелепыми, пение священников лицемерным, церковь для него священна, надежда его крепка. Он счастлив, ибо верует. Нужно ли что-то еще для счастья? Только вера, но сколько среди людей тех, кто лишен ее!

II

Таков был Мануэлло.

Красивый, богатый, знатный, он веровал — случай диковинный, но возможный. Он был печален, но не мрачен, не своенравен. В его меланхолии было нечто евангельское и нежное, непохожее на острую, мучительную тоску поэтов, внушенную отчаянием и бедами. Благородство звучало в его речах, в движениях сквозила гордость, поэзия сияла во взоре, ибо родился он поэтом, сам того не зная. В детстве он любил срывать цветы, слушать, как бьется о скалы море, сладко дремать, растянувшись на песке, под ласковый, словно колыбельная, шум волны.

Потом была любовь к прелестной пятнадцатилетней девочке, но она прошла так же скоро, как любовь к морю, ракушкам и розам.

Однажды, тогда ему исполнилось девятнадцать лет, он вошел в церковь и заслушался, строгие торжественные звуки величаво поднимались к нефу. То был орган, а вслед раздался голос чистый и печальный, из глубины ему ответил другой, нежный и кроткий юный голос, словно благоухание, сплетался он с ароматом ладана. Солнце проникало сквозь золотистые витражи, окутывало все вокруг таинственным лазурным светом, пробуждая в его душе сладкие мечты о вере и любви. Вся юность его была в этих грезах, и тогда он отдал Богу страстную любовь, она прошла, как те, другие.

С тех пор он каждый день бывал в соборе, являлся утром, уходил поздно вечером, время проводил в молитве и размышлениях. О нем самом и его жизни известно было мало. Он жил уединенно и богато, с родителями, это все.

Казалось, он не знал желаний, юношеских страстей, любви к женщинам, равнодушие Мануэлло возбуждало в них стремление увлечь его, но никому он не ответил приветливым взглядом, ласковым словом. Многие девушки протягива-

ли ему после мессы святую воду, скрывая за жеманной улыбкой желание и ревность. Но ни одна из них не добилась томного вздоха, легкого пожатия руки; под тяжелым взором Мануэлло они отводили глаза, а его бледность отталкивала их, как отвращает поблекший старческий лик.

За это Мануэлло ненавидели, порочили его в гостиных и высшем свете, его печаль объясняли угрызениями нечистой совести, а безучастность высокомерным тщеславием. И в народе Мануэлло невзлюбили, его молчаливость и сдержанность казались оскорбительными. Он подавал милостыню холодно и невозмутимо, и нищий чувствовал — она исходит из кошелька, но не от сердца, это по привычке, но не от души.

Он не предавался буйному веселью с юными дворянами Сарагосы, не мчался на взмыленной андалузской кобылице по Прадо, не аплодировал пленительным танцам в театре. Он любил, по-настоящему любил свою семью, Бога и родину. Но что за дело до этого толпе, тем, у кого на деле нет больше ни Бога, ни семьи, ни родины?..

Февраль 1837

"Собачья цепь на дубе том"

Интервью с Владимиром Бошняком. Беседует Е. Калашникова.

Елена Калашникова. Что для вас перевод?

Владимир Бошняк. Согласно одной из моделей это лукоморье, где я в виде ученого кота похаживаю с прискоками вокруг дуба. Что дуб зеленый шелестами густолиственными нашепчет, то я звоном отечественной цепочки инопретворяю. Опять-таки — налево песню, направо сказку. Только я не хожу по цепи, а таскаю ее за собой, потому что ею прикован. То ли к дубу, то ли еще куда. Карма такая или приговор — кому как нравится.

Так что перевод это еще и приговор. Ибо по собственной воле заниматься делом, за которое денег не платят и никакого общественного статуса не дают, согласитесь, довольно странно. Отдаваться работе, которая не кормит, стыдно. То есть в конечном счете все последние годы мне стыдно того, что я переводчик. Потому что, когда меня спрашивают, зачем ты это делаешь, я не знаю, что ответить. Приходится говорить, что просто больше я ничего не умею.

После развала СССР платить за переводы перестали практически совсем и морального утешения тоже нет: культура рухнула, причем везде. Нынешние убеленные сединами лауреаты всех степеней пишут так, словно чуть ли не вчера закончили школу и второй месяц обучаются на литературных курсах. Какую мысль принесешь от них читающему народу?

Е. К. Многие ваши коллеги говорили мне о том же: переводить хочется, а нечего. Тексты есть, но не те, с которыми по большому счету хотелось бы работать.

В. Б. Поразительные вещи творятся. Резко деградировали даже те авторы, которые раньше писали вроде бы очень неплохо. Так что переводчик понемногу лишается последнего самоутешения. Знаете, бесплатно переводить талантливую прозу можно. Но бесплатно переводить хлам, даже проштемпелеванный и снабженный премиальной маркой, это все же какое-то извращение. Да и вред от этого проистекает вполне реальный.

Поэтому время от времени я пытаюсь уйти в бега. Вообще из этой сферы, из культуры. Как когда-то сбежал из физиков.

Из культуры я первый раз сбежал в 1992 году — сразу, как только стало ясно, что на гонорары жить больше нельзя, — то есть что профессии такой больше не существует.

Девяностые годы — это было лучшее время моей жизни. Предпринимательство! Свобода! Адреналин! Полуподпольной торговлей и частным извозом я продержался целых десять лет. Компьютер не покупал (да и не на что было), лишь изредка сдувал пыль с пишущей машинки. Потом Топоров, который был тогда главным редактором питерского "Лимбуса", все-таки соблазнил меня, и я в 2002 году снова начал переводить.

Е. К. Значит, при выборе текста самая серьезная проблема для вас помимо невысокой оплаты — это низкий уровень англоязычной прозы?

В. Б. Ну конечно. По инерции ее еще читают. Но скоро перестанут, потому что уровень катастрофически падает. Хотя и уровень читателей быстро снижается. Кто кого догонит? Кто перегонит и победит? Это на самом деле угнетает. Дрянь писать у нас тоже умеют. Зачем дрянь переводить? А главное — дрянь не надо переводить хорошо. Дрянь надо переводить дешево, а для этого хорошие переводчики не нужны.

Е. К. Кто же, по-вашему, сейчас переводит?

В. Б. Не знаю, я вообще удивляюсь, что кто-то еще переводит. Переводят, видимо, те, кому деньги не нужны. Где-то работают, чем-то другим существуют. Но есть и идиоты фрилансеры, которые по старой памяти пытаются прожить на гонорары. Хотя, кроме себя, я таких не знаю. Впрочем, я вообще практически никого не знаю. Знаю в Москве Голышева, в Питере Топорова. Всё. Альфа и омега, если хотите.

Е. К. А как вы с Виктором Петровичем Голышевым познакомились? Благодаря переводу?

В. Б. Конечно. У меня был приятель, сейчас знаменитый поэт — Игорь Иртеньев. Мы с ним были большие кореша. Он что-то делал для радио, была такая передача "С добрым утром", а редактором там работала первая жена Голышева — Сухаревич. Я тогда перевел рассказики Донливи, очень затейливые. Игорь мне и говорит: "Давай покажем их Голышеву через Сухаревич". — "Давай". Я даже не помню, какой это был год. Ориентировочно 1984-й.

Е. К. Не страшно было от мэтра критику услышать?

В. Б. А что мне было терять? Наоборот, без него все равно пропаду (я тогда работал пожарником), а так, глядишь, посоветует что-то. Вдруг да и похвалит. А он не только похвалил, но и Фолкнера дал переводить.

Е. К. Расскажите историю вашего перевода "Поселка/Деревушки" Фолкнера. С В. А. Хинкисом, переводчиком второй части романа, вы до этого были знакомы?

В. Б. Нет, потому что Хинкис умер в 1981 году, лет за пять до моего странного романа с Фолкнером. Вообще-то я думал,

что эта история известна, но, если нет, докладываю. "Деревушка" уже была переведена Хинкисом и Маркишем и вышла еще в 1960-е годы под редакцией Р. Я. Райт-Ковалевой. Этот перевод считался образцовым и должен был войти в собрание сочинений, подготовка которого забуксовала на том, что Маркиш уехал из страны.

Поскольку СССР был идеологическим государством, каждый эмигрант считался предателем и переиздавать его перевод, как бы хорош он ни был, никакой возможности не существовало. Никто из известных переводчиков пере-переводить за Маркишем не хотел — как из этических соображений, так и потому, что опасался выставиться на посмешище, сделав перевод хуже уже известного.

Голышев предложил попробовать на роль пере-переводчика меня — именно потому, что я не был знаком ни с Маркишем, ни с Хинкисом, был в этой среде новым и чужим человеком, которому по большому счету все трын-трава. Которому нужно сделать первую серьезную работу, пусть уж, ладно, хуже прежнего переводчика, но чтобы хоть ненамного. Мне предложили перевести пробные пол-листа. Я сделал, привез в Москву Голышеву.

Я, кстати, не знаю, как я должен именовать роман. В том числе и в списке публикаций. До моего вмешательства он назывался "Деревушка". В собрании сочинений его зачем-то озаглавили "Поселок" (я тут ни при чем, хотя половина романа была в моем переводе), теперь — опять "Деревушка". Меня ни разу ни о чем не спросили.

Е. К. А вы читали тот перевод Маркиша? Вы, вообще, обычно заглядываете в перевод текста, если такой уже есть?

В. Б. Ни в коем случае. Когда уже сделал, можно из любопытства посмотреть, как получилось у предшественника, но не раньше. Есть опасность заразиться его вирусами. Или невольно что-то украсть, а красть и неприятно, и пагубно.

С "Деревушкой" меня необразованность спасла. Ну не читал я до этого Фолкнера! Вообще не читал! Хотя вру. "Шум и ярость" как-то смутно припоминается — то ли в школьные, то ли в студенческие годы... То есть практически я Фолкнера тогда не знал вовсе. Поэтому ощущение его стиля, ритма и т. п. вырабатывал абсолютно с нуля, ни на какие авторитеты и образцы не оглядываясь.

Сделав отрывок из "Деревушки", я его перепечатал начисто (не указывая, чей перевод), а потом таким же манером перепечатал тот же отрывок перевода Маркиша. Положил перед Голышевым оба варианта — свой и Маркиша — и со всеми возможными в такой ситуации реверансами стал просить,

чтобы он определил, который вариант лучше. Виктор Петрович окинул меня удивленным и жалостливым взглядом, но, видимо, решив, что умалишенному лучше не перечить, согласился. Помню, он тогда сказал еще: "Ну, Володя, неужели вы думаете, что я сразу не определю, где профессиональный перевод?"

Присел к шикарному столу с зеленым сукном, стал читать. К концу то ли третьей, то ли четвертой странички (он их читал попеременно: меня — Маркиша, Маркиша — меня) отодвинул от себя перевод Маркиша, взял в руку мой и сказал: "Вот. Это переводил мастер". Когда я сказал, что этот вариант мой, Голышев слегка опешил, но и обрадовался не меньше меня.

Так что с Хинкисом, как и с Маркишем, я знаком не был. И к сожалению, и к счастью. Жаль, что Маркишу большевики под занавес своего правления успели насолить, но в итоге повсеместно возобладало мнение, что если новый перевод получился лучше старого, так какие же тут могут быть претензии?

Зато с Райт-Ковалевой я знаком был, хотя и заочно. Гораздо раньше, еще году в 1976-м, работая в Физтехе, я перевел пьесу К. Воннегута "С днем рожденья, Ванда Джун!" и пытался ее предлагать в театры и журналы. Завлитом Ленинградского театра имени Пушкина тогда была Марина Леонидовна Вивьен. Она сказала мне, что эта пьеса у них уже есть, давно лежит без движения, несмотря на то, что переведена самой Ритой Райт. После этого она зачем-то дала мне домашний адрес знаменитой переводчицы. Недолго думая, я послал Рите Яковлевне свой перевод и практически мгновенно, через десять дней получил ответ. (Ее письмо помечено 21 марта 1980 г.)

Нет, мой перевод не понравился Рите Яковлевне, но удивило меня не это. Ведь вовсе не одобрения я просил, даже не критики. Я хотел ознакомиться с ее вариантом перевода, поучиться, сопоставляя ее предположительно гениальные творческие решения со своими дилетантскими. А в залог честности намерений предоставлял свою рукопись. В письме к ней я без обиняков это излагал. (Насколько это было с моей стороны умно — другой вопрос.) Но от ее ответного письма на меня явственно повеяло простым и каким-то слишком уж человеческим испугом. Цитирую:

"Ваш перевод 'Ванды Джун' читать нелегко, а уж говорить со сцены было бы еще труднее... Много 'советизмов', много всякого словесного 'лихачества' — по-моему, пьеса не такая. Кстати, она уже зарегистрирована — в моем переводе — в Театральном управлении Министерства культуры — я ее переводила для Н. М. Шейко — он ее когда-нибудь поставит, и для Ю. П. Любимова, но ему эту пьесу НЕ ДАЛИ поставить — это

было несколько лет тому назад и ее 'сочли' ПАЦИФИСТСКОЙ. Курт — мой большой ЛИЧНЫЙ друг, был у меня в гостях дважды, и он, как будто, ВООБЩЕ не хочет, чтобы его кто-то другой переводил — его 'говорящие по-русски' друзья ему всё рассказали, прочитав мои переводы..."

Как зыбко, как тряско тут каждое слово, а особенно опора на "говорящих по-русски друзей". Как странно!

Заканчивалось письмо тем, что меня с моими неправильными "установками насчет переводов" сравнили с "нашим милым Васей Аксеновым", который "перевел 'Рэгтайм' на СВОЙ, аксеновский язык, — и погубил серьезную, строгую философскую книгу... (Мы с ним в дружбе, я ему все сказала.)"

Надо отметить, что "Рэгтайм" Доктороу был в те годы культовой книгой всей читающей молодежи СССР. Как теперь стало понятно, это был лучший роман Доктороу. Конечно же, Аксенов какие-то интонации там усилил, какие-то приглушил и что-то в результате неизбежно исказилось. Без этого перевод невозможен в принципе. Зато от его текста исходила такая эманация таланта, он был так ярок, свеж и, несмотря на обилие переводческих ляпов, вольностей и даже хулиганских выходок, давал читателю такую живую радость, что утверждать, будто Аксенов книгу загубил... — нет, я даже мысли такой не допускал и до сих пор не допускаю.

Впрочем, о ляпах Аксенова, как и о его самоуправствах, я узнал позже, когда взялся всерьез изучать этот его перевод, педантично сопоставляя с оригиналом фразу за фразой. Открылось многое: и незнание языка, и беззастенчивая спешка (в одном месте переводчик просто перелистнул случайно две страницы сразу, да и погнал себе, ничтоже сумняшеся, дальше), но книга-то получилась! Читать-то радостно! И во многом как раз благодаря лихости виртуозных джазовых импровизаций переводчика.

В общем, хотя Рита Райт меня и выругала, но то, ка́к выругала и в какую компанию при этом записала, меня развеселило и даже окрылило. Что перевод труден для чтения вслух — пустяки, перечитаю еще раз, еще десять раз, выправлю целенаправленно, но, главное, меня не с капитаном Лебядкиным сравнили, а с великим, солнечным Васей!

Стоп-стоп-стоп, не гони! — одергивал себя я. Не исключено, что сравнили-то не намеренно, просто он в это время у Риты Яковлевны на языке вертелся... Хотя сколько же можно вертеться: перевод "Рэгтайма" вышел в 1976 году, четырьмя годами раньше! Нет, такие ассоциации случайно не возникают.

Что ж, сделал я вывод, значит, мы с Аксеновым в чем-то близки. И раз мне нравится его проза, с этой близостью надо

не бороться, а развивать ее, работать в этом направлении. То есть смело нахлестывать ту птицу-тройку, которая замечательно вывозит и самое Риту Яковлевну, между прочим. Ура, да здравствует свобода, раскованность и живость языка!

Так Рита Райт помогла мне обрести учителя. Одного из. Много лет уже я посмеиваюсь, вспоминая клоунские выходки и смешные ошибки Аксенова в этом переводе, и по нему же все эти годы настраиваю раскрепощенность — как слога, так и всех мыслимых и немыслимых переводческих новаций.

А через несколько лет пьеса Воннегута у меня и в печатном виде вышла, и театры с нею взялись работать... Почему так произошло и куда канул тот перевод Риты Яковлевны, я не знаю до сих пор. Ведь она прожила еще девять лет. В ее переводе успел выйти "Малый не промах" Воннегута...

Е. К. В журнале "Иностранная литература" с вашими текстами работает К. Я. Старосельская. В интервью она говорила, что обычно в редактируемой рукописи ставит знаки вопроса, не предлагает свои варианты. А какая редактура для вас наиболее плодотворна?

В. Б. Это детали, важно, чтобы редактор понимал, о чем речь. А Ксения Яковлевна очень хорошо все понимает. Она иногда предлагает или намекает на такие вещи, которые мне бы самому в голову не пришли. Да и просто свежий глаз важен. Сам у себя порой детских ляпов не видишь.

Редактор нужен не только переводчику, но и писателю. В "Марше" Доктороу явно не было редактора, а он там необходим.

Е. К. Поэтому в переводе появились ваши примечания-поправки.

В. Б. Все эти мои комментарии — разлитие желчи. Могу про каждую страницу рассказать, что там плохо, где концы с концами не сходятся. Но лучше пусть читатели с этими частностями разбираются сами. Вранье по мелочам — это признак недобросовестности, мол, да ну, буду я возиться, думать, проверять, и так сойдет! Но еще хуже, что от романа густопсовым верноподданничеством и дурным вкусом шибает.

Е. К. Довольны ли вы своим переводом "Заводного апельсина" Э. Бёрджесса? Тем, что употребляете там латиницу? Не заглядывали потом в версии С. Хренова и Е. Синельщикова?

В. Б. Да кто ж его знает, как я перевел! Это было в другую эпоху. Наверное, неплохо — плохих переводов за мной вроде бы не числится. Да и не переиздавали бы. Сам я тот перевод в последний раз перечитывал в верстке.

Сам принцип того, чтобы жаргон, который Бёрджесс сконструировал из русских слов, передавать не всегда русски-

ми, но квазирусскими словами, записанными латиницей, я по-прежнему считаю верным. При этом к точности воспроизведения русских слов латиницей я как раз не стремился. Наоборот, иронически шифровал, задавал читателю простенькие ребусы, стараясь, чтобы слова звучали так, как будто их произносят иноязычные персонажи, которым русский язык совершенно чужд и в их устах он слегка режет ухо. Специально путал корни с суффиксами. Если память мне не изменяет, я их заставлял, скажем, слово "старикашка" сокращать до "кашка". Эту ухмылочку я почерпнул из оригинала. Там Бёрджесс — то ли нарочно, то ли по незнанию — делает похожие вещи.

И наоборот, передавать жаргон в переводе всякими англофонными "шузами" и "герлами" — это, на мой взгляд, концептуальная нелепость, потому что русский жаргон служил автору для выражения идеи, что зло идет с Востока, из СССР, из России, которая считалась империей зла. "Герлы" и "шузы" смещают точку зрения, меняют идею на противоположную.

Нынче трудно представить, но, когда я переводил "Заводной апельсин" (то есть двадцать лет назад, в конце 1980-х), не было мобильных телефонов, не было в широком употреблении компьютеров и не было такого вообще, как говорится, в заводе — писать русские слова латиницей. Общим местом это стало лет через десять. А теперь этот прием и в самом деле выглядит незатейливо, даже простовато, но ведь это жизнь в каком-то смысле пошла по пути, предсказанному мной! Не Бёрджессом, а именно мной.

В перевод Хренова я заглядывал (мельком), но не обнаружил ничего для себя полезного. Вторая фамилия мне совсем незнакома.

Е. К. Были ли чужие переводы, которыми вы восхищались?

В. Б. Да, от перевода Голышева "И поджег этот дом" Стайрона я, помнится, был в восторге. Да и другие у него переводы прекрасные. "Мост короля Людовика Святого" Уайлдера, например. Все так сразу не вспомнишь.

Е. К. Вы уже были с ним знакомы?

В. Б. Был. Я ему тогда письмо даже написал. В переводе Стайрона у него были замечательные находки в передаче скабрезностей. Но не только, разумеется. Я тогда был молодой удалец, меня подобные вещи веселили несказанно.

Е. К. С Голышевым вы, наверняка, много говорили о переводе. Возможно, из разговоров с ним вывели для себя какие-то правила?

В. Б. А как же, говорили. Мы с ним знакомы уже лет двадцать пять. Правил никаких нет — это единственное правило. Мы говорили о конкретных текстах, даже о конкретных словах: как, например, называется задняя часть коровы — можно ли ее назвать крупом или лучше сказать гузно (это по поводу Фолкнера, кстати, но не моего, а Хинкиса), а больше так, за жизнь.

Е. К. Вы нашли "своих" авторов, тех, которые вам "по руке"?

В. Б. Последняя работа, которая мне очень нравилась, — "Версия Барни" Мордехая Рихлера. И текст очень качественный, и перевел я его вроде нормально. Интересная вещь: не роман, а прямо реквием по культуре XX века.

Е. К. И премию за него получили.

В. Б. Было интересно преодолевать вкрапления неизвестных мне языков — там французский, немецкий, итальянский, черт знает что, да еще и идиш сплошной. И каламбуры на всем этом базируются, шутки. Потом мне Сергей Каледин позвонил и говорит, что все дело в еврейских корнях. У нас с Калединым у обоих есть и еврейские корни (у меня бабушка еврейка, у него, кажется, тоже). "Видимо, вы идиш с молоком бабушки впитали". Можно так сказать — "с молоком бабушки"? Но я не утверждаю, что это именно Каледин сказал. Сейчас просто на язык подвернулось.

Ничего, конечно, я не впитал... переводил с помощью словаря, книг, каких-то "левых" текстов, иногда мне будто специально что-то через Интернет Господь Бог посылал. Он это частенько делает.

Еще я был в состоянии непрерывного счастья, когда переводил "Признания Ната Тернера" У. Стайрона. Этим счастьем я обязан Топорову.

Е. К. Есть тексты, которые вам хотелось бы перевести?

В. Б. Года два назад К. Я. Старосельская дала мне еще одну книжку Рихлера. Я не стал сразу за нее хвататься, потому что она очень сложная. А я в тот момент почивал на лаврах (работая на стройке), да и подустал от сложностей. Мне хотелось немножко сменить амплуа, попереводить кого-то другого, но за два года я этого другого, этих других так наелся!

Е. К. Вам интереснее работать над книгами одного автора или нет? Например, до "Марша" Докторову вы переводили его роман "Всемирная выставка". Правда, лет двадцать прошло между этими работами.

В. Б. "Всемирную выставку" и "Марш" писали будто два разных автора. Но о том, как Докторову изменился, я уже говорил. Нет, мне всегда хочется чего-то нового.

Е. К. Устаревает ли, с вашей точки зрения, перевод? И относится ли это к хорошим текстам, как у той же Р. Я. Райт-Ковалевой?

В. Б. Устаревает. Но ее перевод "Над пропастью во ржи" не устарел, и если устареет, то лет через сто. Хорошо переведенная проза не стареет быстро, и переводить заново уже переведенную прозу — нелепейшая затея.

Е. К. А стихи вы не переводили?

В. Б. Переводил конечно. Но никогда не считал себя поэтом-переводчиком. Перевод стихов мне до сих пор видится фокусом, который то ли удастся, то ли нет. Когда в романе мне попадаются ранее не переведенные вставные стихи, я их сам перевожу. Что же мне — с четырьмя, с восемью строчками бегать, искать, кто бы выручил? Неловко. Взялся за гуж...

Е. К. Каким должен быть текст, чтобы вы захотели его перевести?

В. Б. Прежде всего он должен быть кем-то мне предложен. Потому что у меня нет каналов, по которым я мог бы добывать материал, сырье. Для переводчика с английского Америка — это ведь сырьевой придаток.

Вот замечательно все срослось с Мордехаем Рихлером, которого предложил журнал "Иностранка". А сам бы я где его взял? Мне не так много платят, чтобы ездить за книжками в Нью-Йорк и Монреаль!

Конечно, я не всякий предложенный текст берусь переводить. Желательно, чтобы книга мне понравилась, показалась интересной. Как максимум — чтобы захотелось ею поделиться. А как минимум — чтобы я понял, чего автор хочет, и мне его желание было хотя бы не противно. Иначе желчью изойдешь. В этом я вряд ли оригинален. Наверное, у многих переводчиков так. Но когда маешься без дела месяц за месяцем... Одну книжку отверг, другую... А предлагают ведь не каждый день! В конце концов с отчаяния берешь, что дают. И опять дрянь переводишь.

Однажды я взялся переводить фэнтези. Какую-то дребедень про рыцарей Круглого стола. Это было сразу после путча 1991 года. Тогда этот жанр как раз входил в моду. А я был в состоянии, близком к головокружению от успехов. Думал, я теперь такой профессионал — ух! — переведу что угодно. А на переводе бестселлера еще и разбогатею. В первый и последний раз в жизни мне даже выдали аванс!

Нет. Фэнтези переводить я не смог. Подступала, как сказал бы Лесков, "горесть, кислость и блевание". А тут как раз и обещанный гонорар из-за гиперинфляции съежился до размеров пол-литры. Думаю: вот, сижу как дурак, перевожу ка-

кую-то муть за бесплатно, а как жить-то буду? И я плюнул, решил вообще уйти из профессии.

Аванс вернул, но к тому времени он съежился уже до шкалика. Не знаю, сильно ли я подвел тогда своего редактора, Ларису Беспалову, но совесть до сих пор немножко гложет, так что, пользуясь случаем, приношу ей свои запоздалые извинения. В тот момент я думал, что сбежал совсем и с литературой навсегда простился.

Но, как видите, никуда не делся, вернулся на цепь. Приговор оставили в силе. Срок добавили. Не знаю, сколько еще его отбывать ученому коту. Вот сижу и думаю, куда бы сбежать. И, как прикованный кот, соответствующую песенку мурлычу:

[Con sforzo della malavita]
(С блатным надрывом)

Что ни дуб, то цепочка златая,
Он шепнет, ты лишь переводи;
Лукоморье, под солнышком тая,
Проторяло к свободе пути.

Цепь златая отменно довлела,
Я, ученый, вприсядку ходил...
Лукоморье, веселое дело!
Лишь хватало б таланта и сил.

Пролетели года и эпохи,
Цепь златую украл либерал...
Лукоморье, дела наши плохи:
Кот в железный ошейник попал.

Дзынь, цепочка давно уж собачья,
С дубом скован, не встать в полный рост...
Хэлл-лукоморье мое! Жизнь котячья —
Наказанье за уши и хвост...

Герта Мюллер
Herta Müller
Писатель, эмигрировала из Румынии; член Немецкой академии языка и литературы [1995]. Лауреат литературной премии *Аспекты* [1984], премии немецких критиков [1992], Европейской литературной премии *Аристейон* [1995], международной литературной премии IMPAC [Дублин 1998], премии имени Франца Кафки [1999], премии за ораторское искусство имени Цицерона [2001], Берлинской литературной премии [2005], Нобелевской премии [2009] и др.

Автор сборников малой прозы *Босоногий февраль* [*Barfüßiger Februar*, 1987; рассказ из этого сборника *Черная ось* публиковался в *ИЛ*, 2005, № 4], сборников стихов *В пучке волос живет дама* [*Im Haarknoten wohnt eine Dame*, 2000], *Бледные господа с чашками кофе в руках* [*Die blassen Herren mit den Mokkatassen*, 2005], романов *Человек – большой фазан на этом свете* [*Der Mensch ist ein großer Fasan auf der Welt*, 1986], *Лис уже тогда был охотником* [*Der Fuchs war damals schon der Jäger*, 1992], *Всердцезверь* [*Herztier*, 1994], *Сегодня я бы предпочла с собой не встречаться* [*Heute wär ich mir lieber nicht begegnet*, 1997], сборников эссе *Черт прячется в зеркале* [*Der Teufel sitzt im Spiegel*, 1991], *Голод и шелк* [*Hunger und Seide*, 1995] и др.
Публикуемые рассказы взяты из сборника *Низины* [*Niederungen*. Rotbuch Verlag, 1984].

Вислава Шимборская
Wisława Szymborska
[р. 1923]. Польская поэтесса, лауреат Нобелевской премии [1996].

Автор девяти книг стихов, в том числе *Большие числа* [*Wielka liczba*, 1976], *Люди на мосту* [*Ludzie na moście*, 1986], *Конец и начало* [*Koniec i początek*, 1993], *Минута* [*Chwila*, 2002] и др. Стихи В. Шимборской по-русски печатались в сборнике переводов А. Ахматовой *Голоса поэтов* [1965], в антологии *Польские поэты* [1978], в *ИЛ* [1967, № 2; 1974, № 7; 1978, № 8; 1994, № 11; 2000, № 8; 2003, № 5], а также вышли две ее книги *Соль* [2005] и *Избранное в переводах Асара Эппеля* [2007]. В *ИЛ* опубликованы также речь Вислявы Шимборской *Поэт и мир*, произнесенная на церемонии вручения ей Нобелевской премии [1997, № 5], фельетоны из сборника *Необязательное чтение* [1999, № 5], книга стихов *Двоеточие* [2006, № 6], фрагменты книги *Литературная почта, или как стать/не стать писателем* [2009, № 7].
Текст публикуется по изданию *Tutaj* [Kraków: Wydawnictwo Znak, 2009].

Георгий Господинов
[р. 1968]. Болгарский поэт, прозаик, литературовед. Лауреат премий *Южная весна*, *Икар* и других национальных литературных премий.

Автор сборников стихов *Лапидариум* [*Лапидариум*, 1992], *Черешня одного народа* [*Череншата на един народ*, 1996], *Письма Гаустину* [*Писма до Гаустин*, 2003], сборника малой прозы *И другие рассказы* [*И други разкази*, 2001], *пьесы D. J.* [2004]. Соавтор литературных мистификаций *Болгарская хрестоматия* [*Българска христоматия*, 1995] и *Болгарская антология* [*Българска антология*, 1998].

Владимир Владимирович Набоков [1899–1977] – русско-американский писатель, с 1919 г. – в эмиграции, где печатался под псевдонимом Сирин. После переезда в США [1940] писал по-английски.

Публикуемый роман печатается по изданию *Естествен роман* [Пловдив: Жанет-45, 1999]. Автор книг *Защита Лужина* [1930], *Камера обскура* [1933], *Приглашение на казнь* [1936], *Дар* [1937], *Николай Гоголь* [1944], *Другие берега* [1954] и др. В *ИЛ* напечатаны роман *Пнин* [1989, № 2], рассказы *Второй режиссер* [1993, № 12] и *Сестры Вейн* [1997, № 5], последняя глава из книги *Убедительное доказательство* [1999, № 12], а также его переводы из Мюссе и Рембо [1987, № 5]. В *Библиотеке "ИЛ"* опубликован роман *Лолита*.
Публикуемые письма взяты из книги *The Nabokov–Wilson Letters* [London: Weidenfeld and Nicolson, 1979].

Эдмунд Уилсон Edmund Wilson [1895–1972] – американский литературный критик, драматург, поэт, прозаик, журналист.

Автор книг *Замок Акселя* [*Axel's Castle*, 1931], *К Финляндскому вокзалу* [*To the Finland Station*, 1940], *Рана и лук* [*The Wound and the Bow*, 1941], *Воспоминания об округе Геката* [*Memoirs of Hecate County*, 1946], *Европа без Бедекера* [*Europe Without Baedeker*, 1947], *Свитки Мёртвого моря* [*The Dead Sea Scrolls*, 1955], *Краснокожие, черные, белые и смуглые* [*Red, Black, Blond and Olive*, 1956], *Американское землетрясение* [*The American Earthquake*, 1958] и др.
Публикуемые письма взяты из книги *The Nabokov–Wilson Letters* [London: Weidenfeld and Nicolson, 1979].

Николай Георгиевич Мельников [р. 1970]. Литературовед, критик, кандидат филологических наук. Лауреат премии имени А. М. Зверева [2008].

Автор ряда статей и эссе по английской и американской литературе, многочисленных рецензий и интервью, редактор-составитель книг *Классик без ретуши. Литературный миф о творчестве Набокова* [2000], *Набоков о Набокове* [2002] и др. Его рецензии и статьи неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Эудженио Монтале Eugenio Montale [1896–1981]. Итальянский поэт, прозаик, литературный критик. Пожизненный сенатор. Лауреат Нобелевской премии [1975].

Автор книг стихов *Раковины каракатиц* [*Ossi di seppia*, 1925], *Обстоятельства* [*Le occasioni*, 1939], *Буря и другое* [*La bufera e altro*, 1956], *Сатура* [*Satura*, 1971], *Тетрадь за четыре года* [*Quaderno di quattro anni*, 1977], сборника рассказов *Динарская бабочка* [*La farfalla di Dinard*, 1956], книги эссе *Аутo-да-фэ* [*Auto da fé*, 1966], сборника очерков *Вдали от дома* [*Fuori di casa*, 1969], книги критических статей *О поэзии* [*Sulla poesia*, 1976]. В *ИЛ* неоднократно публиковались стихи Монтале, а также рассказы из сборника *Динарская бабочка*.
Текст публикуется по изданию *Прозы и рассказы* [*Prose e racconti*. Milano: Mondadori, 1995].

Гюстав Флобер Gustave Flaubert [1821–1880]. Французский писатель.

Автор романов *Мадам Бовари* [*Madame Bovary*, 1856], *Саламбо* [*Salammbô*, 1862], *Воспитание чувств* [*L'Éducation sentimentale*, 1869], повестей *Простое сердце* [*Un cœure simple*, 1877], *Иродиада* [*Herodias*, 1877] и др.

Владимир Борисович Бошняк
[р. 1949]. Переводчик с английского. Лауреат премии *Иностранка* [2005, 2007].

В его переводах публиковались романы У. Фолкнера, Э. Л. Доктороу, Р. Чандлера, Э. Бёрджесса, У. Перси, У. Стайрона, Ф. Рота, пьесы В. Аллена и К. Воннегута, рассказы У. Сарояна, Т. Вулфа, О. Хаксли, Дж. Леннона, Дж. П. Донливи и др. В *ИЛ* в его переводе напечатана вторая часть романа Тома Вулфа *Костры амбиций* [1991, № 11], рассказ Дж. П. Донливи *Франц Ф.* [1992, № 8–9], романы Т. Моррисон *Любовь* [2005, № 9] и *Жалость* [2009, № 8], М. Рихлера *Версия Барни* [2007, № 8–10], Э. Л. Доктороу *Марш* [2009, № 1–2].

Елена Львовна Калашникова
Журналист, филолог. Ведущая рубрики *Интервью с переводчиком* [2001–2008] в сетевом *Русском журнале*. Обладатель специального приза *ИЛ* [2008].

Автор книги *По-русски с любовью. Беседы с переводчиками* [НЛО, 2008].

Переводчики

Марк Абрамович Белорусец
[р. 1943]. Переводчик с немецкого. Лауреат премии Андрея Белого [2008].

В его переводах опубликованы поэтические сборники *Стихотворения* П. Целана [1998], *Попытка чтения* Ю. Шуттинга [2000], воспоминания М. Шпербера *Напрасное предостережение* [2002], а также произведения Г. Айха, Г. Тракля, Р. Музиля, Г. Мюллер, Б. Кольфа, Э. Аксман и др. Составитель [вместе с Т. Баскаковой] и переводчик книги *Пауль Целан. Стихотворения. Проза. Письма* [2008]. В *ИЛ* в его переводах напечатаны стихи П. Целана [2005, № 4], эссе *Приспособленье тонких улиц* и рассказ *Большая черная ось* Г. Мюллер [2005, № 4], эссе *Крылатый народ* К. Хензель [2009, № 10] и *Стихи, проза, письма* Г. Крефтнер [2009, № 12].

Асар Исаевич Эппель
[р. 1935]. Прозаик и переводчик с польского. Лауреат премии *Иноли*ттл [1998], премии имени Ю. Казакова за лучший рассказ года [2003], премии польского ПЕН-клуба и Гринцане-Кавур [Италия, 2005].

Автор книг рассказов *Травяная улица* [1994], *Шампиньон моей жизни* [1996], *Дробленый сатана* [2002]. В *ИЛ* напечатаны его переводы поэм *Ниобея* К. И. Галчинского [1971, № 7], *Totentanz in Polen* С. Гроховяка [1985, № 11], *Фрэнсис Бэкон, или Диего Веласкес в кресле дантиста* Т. Ружевича [1998, № 7], *Римский триптих* Иоанна Павла II [2003, № 10], рассказов Ю. Тувима [1975, № 1], повести *Коричные лавки* [1990, № 12] и рассказа *Комета* [1998, № 12] Б. Шульца, эссе *Серебряный ярлык* [2005, № 10], а также книги *Двоеточие* В. Шимборской [2006, № 6].

Мария Ширяева
Литературовед, переводчик с болгарского.

Ее переводы Ст. Стратиева, Й. Радичкова, В. Паскова, И. Давидкова, П. Чухова, Г. Господинова и многих других поэтов и прозаиков, а также статьи публиковались в периодических изданиях и сборниках рассказов и поэтических антологиях.
В *ИЛ* публикуется впервые.

Александр Яковлевич Ливергант
[р. 1947]. Литературовед, переводчик с английского, кандидат искусствоведения. Лауреат премий *Литературная мысль* [1997] и *Мастер* [2008], обладатель диплома *зоИЛ* [2002].

В его переводе издавались романы Дж. Остин, Дж. К. Джерома, И. Во, Т. Фишера, Р. Чандлера, Д. Хэммета, У. Тревора, П. Остера, И. Б. Зингера, повести и рассказы Г. Миллера, Дж. Апдайка, Дж. Тербера, С. Моэма, П. Г. Вудхауса, В. Аллена, эссе, статьи и очерки С. Джонсона, О. Голдсмита, У. Хэзлитта, У. Б. Йейтса, Дж. Конрада, Б. Шоу, Дж. Б. Пристли, Г. К. Честертона, Г. Грина, а также письма Дж. Свифта, Л. Стерна, Т. Дж. Смоллетта и Д. Китса, дневники С. Пипса, путевые очерки Т. Дж. Смоллетта, Г. Грина и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Евгений Михайлович Солонович
[р. 1933]. Переводчик с итальянского. Профессор Литературного института имени А. М. Горького, почетный доктор Сиенского университета [Италия]. Лауреат Государственной премии Италии в области художественного перевода [1996], премии *Иллюминатор* [2001], командор ордена *Звезды Итальянской Солидарности*.

Переводил лирику Данте, поэтов Возрождения, римские сонеты Джузеппе Джоакино Белли, стихи Умберто Сабы, Джузеппе Унгаретти, Эудженио Монтале, Марио Луци и других классиков итальянской поэзии XX в., прозу Л. Шаши, А. Камиллери и др. Неоднократно печатался в *ИЛ*.

Галина Ивановна Модина
Переводчик с французского. Кандидат филологических наук, преподаватель Дальневосточного государственного университета.

В ее переводах опубликован автобиографический цикл ранней прозы Флобера.
В *ИЛ* публикуется впервые.

В оформлении обложки использован фрагмент картины американского художника Чарлза Демута [1883—1935] *Я видел цифру 5 в золоте* [1928].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая") ;
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в редакции;
в киоске "Новой газеты" (Страстной бульвар, д. 4);
в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино (Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине клуба "Проект-О.Г.И." (Потаповский пер., д. 8/12, стр. 2, вход со двора; м. Чистые пруды, Китай-город);
в книжном магазине "У Максима" (МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й Гуманитарный корпус; м. Университет);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3);
в книжном магазине "dodo-space" (Рождественский бульвар, д. 10 / 17).

Электронный дайджест журнала:
http://magazines.russ.ru/inostran
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 18.01.2010
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 2904.
Тираж 6000 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов ОАО "Типография "Новости", 105005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.

Редакция журнала "Иностранная литература"
благодарит
посольство Польской республики в России
и
Польский культурный центр в Москве
за помощь в издании этого номера.

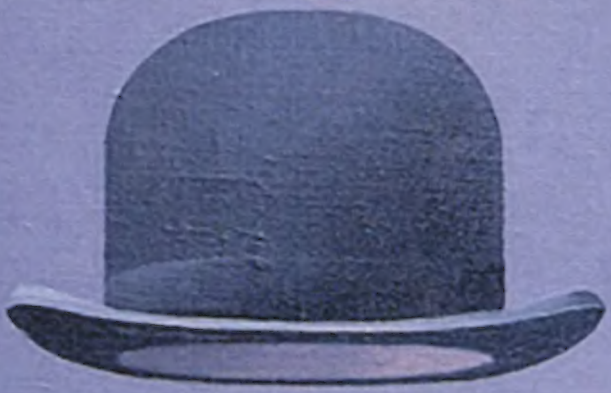
С получением премии *Мастер* [2009]
поздравляем
Елену Баевскую
(за перевод романа МАРСЕЛЯ ПРУСТА *Комбре*)
и
Григория Кружкова
(за двухтомник *Избранные переводы*)

---

[2] 2010

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД: ТОМАС БЕРНХАРД / "ФОРМЕРИЙКИ" ЖАНА ТАРДЬЁ \ ФРАГМЕНТЫ КНИГИ ДИРКА БОГАРДА "ОСОБАЯ ДРУЖБА" В РУБРИКЕ "ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА"

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Узнай завтрашних классиков!

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала "Иностранная литература" :
г.Москва, ул.Пятницкая, д.41

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2010, №1, 1-288